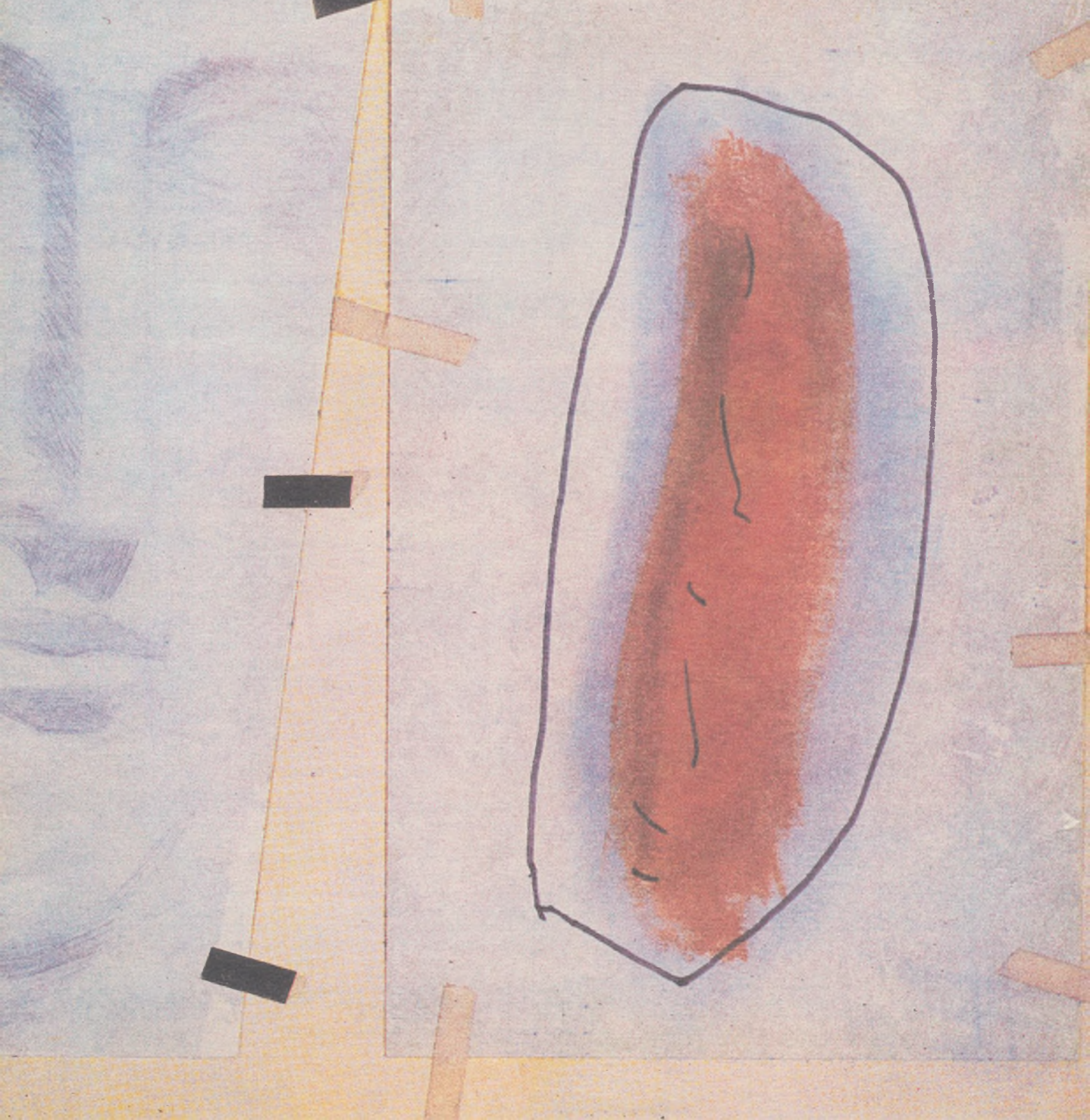


1990 № 9 (45)
СЕНТЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЕЗІЯ ДРАМАТУРГІЯ ПУБЛІЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИЛИЯ КРУГЛИКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (1)
Андрейс Ирбе. «День был жаркий, ночь светла» (7)
Елизавета Мнацаканова. «Детство отрочество одиночество . . . » (12)
Дмитрий Спивак. «Матрицы: пятая проза?» (15)
Юлия Кисина. «Записки на гербовой ленте» (20)
Андрей Левкин. «Четыре поперечных, или Открытое Письмо Лене» (23)

КУЛЬТУРА

- Улдис Тиронс. Интервью с Сергеем Аверинцевым (32)
Театр «Карусель». «L'amour, la Mort» (36)
«Ассамблея неприрученной моды» (40)
Юрис Стренга. «Don't Worry! Be Happy!» (42)
Юрий Анненков. «Из воспоминаний» (47)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Борис Гройс. «Россия как подсознание Запада» (52)
Юрий Дружников. «Вознесение Павлика Морозова» (57)
Бруно Коппитерс. «Пацифистские секты, большевики и право на отказ от воинской службы» (63)

ЛИТЕРАТУРА

- Зиновий Зиник. «Русская служба» (69)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Я ЗОВУ—ОТЗОВИТЕСЬ!

Я злился на себя за то, что не сумел твердо сказать «нет». «Нет, ни в чем я не буду участвовать, и все!» И точка. И молчание. Ни слова больше. Всего-то твердо и громко произнести одно предложение, а я, размазня, не сумел. Вместо этого нес какую-то чепуху и, пытаюсь оправдать себя, все глубже увязал в черт знает каких аргументах.

«Болван бесхарактерный. Горошина, которую гоняют по столу полированные ноготочки», — откуда пришло такое сравнение, я и сам не знал.

Значит, я просто притворялся независимым и самостоятельным, пытаюсь обмануть себя и других. Самостоятельность моя лопнула как мыльный пузырь, как только Мара и Индра проявили настойчивость. Пумс! И следа не осталось.

— Ну? Идем мы или нет?!

И вот уже весь класс был против меня.

— Правда, Арманд, кончай ломаться!

— Не трать время!

Мартыньш, наклонив голову, щелкал шариковой ручкой.

Я понял, что ничего не сумею им доказать. Раз решил — надо было сказать как отрезать. Как доказать, что я прав? Одному, двум я бы еще смог... А вот всем или по крайней мере большинству не удастся. Они и вправду подумают, что я кривляюсь.

«Ведь это мероприятие никому не нужно. И меньше всего мне», — хотел крикнуть я.

Произнес:

— Ведь это...

— Никаких «ведь», — перебила меня Индра. — Явишь-ся!

Могу поспорить, она хотела еще раз при всех продемонстрировать свое влияние на меня. И надо отдать должное — она добилась того, чего хотела. Игнорировать вызов и продолжать спор было бессмысленно.

Точку поставила Мара.

— Коллектив помог тебе в трудную минуту, а ты коллективу помочь не хочешь. Это нечестно, Арманд.

Я молчал. Ничего не скажешь — высоко взяла. Кажется, именно это называется демагогией. Я понял, что ничего другого не остается, как согласиться. Еще через минуту и отступить будет поздно.

— Значит, в половине пятого. Придешь? — спросила она.

— Да, — процедил я сквозь зубы.

Класс облегченно вздохнул. С грохотом все вскочили с мест и гурьбой вывалились из класса.

Я вышел на улицу, размышляя, чем бы заняться в эти два с половиной часа. Злился на себя ужасно. И хоть согласие выбили из меня буквально силой, я тем не менее согласился, отрезав для себя все пути отступления, так что в половине пятого надо быть в школе как штык, раз дал слово. Черт побери, что это со мной, что из каждого пустяка я делаю проблему, не могу, как любой нормальный человек, не реагировать на мелочи. Могу поспорить — кое-кто из тех, кто выслушал эту новость и никак не отреагировал — не возражал, не протестовал, спокойно опоздает или вообще не придет. И совесть их мучить не будет. К сожалению, если уж я пообещал, не сдержав слово ни за что не смогу. А надо бы! Особенно, когда яснее ясного, что моя пунктуальность мне самому

во вред, и наоборот — если не сдержу слово, поступлю честно по отношению и к самому себе, и к другим.

От нечего делать зашел в телефонную будку, чтобы позвонить Рудите. Долго никто не отвечал. Я решил, что она еще не пришла, как вдруг раздался слабый голос:

— Алло!

— Чо! Это я.

— Ты, Арманд? — переспросила она, словно с неба упала, словно и так не ясно.

— Да. Как делишки?

— Лучше не спрашивай. Осточертело все. Так противно, ты и не представляешь.

— Что случилось? — спросил я скорее ради приличия, так как привык уже к ее капризам и неожиданной смене настроения. — Эй, что случилось?

— Ничего, — чуть слышно ответила Рудите. — Ничего не случилось, но мне страшно противно.

Попробуй тут разберись.

— Ты заболела? — Голос в трубке показался мне охрипшим.

— Да нет, просто немного простудилась.

— Похоже.

На минуту воцарилась тишина.

— Ты где?

— В центре.

— Ты не мог бы ко мне приехать?

— Что?

— Приезжай — слышишь?

Я-то слышал, но жутко не хотелось тащиться в такую даль — аж в Иманту.

— У меня всего два часа. В половине пятого надо быть в школе. Выдумали какую-то идиотскую репетицию. Я обещал.

— Арманд, приезжай! Я должна тебе что-то очень важное сказать.

— А по телефону нельзя?

Рудите тяжело вздохнула.

— Приедь! Ну я прошу тебя — приедь!

Честное слово, дико не хотелось тащиться в такую даль. Черт знает, какая муха ее укусила.

Я попытался еще раз отвертеться:

— Пойми, у меня всего два часа. Я не успею.

— Но мне надо тебе сказать что-то очень важное.

Приезжай, Арманд! Сейчас же! Это очень-очень важно!

Нет, серьезно, эта преувеличенная эмоциональность иногда здорово действует на нервы. И так день прошел бездарно. А тут еще она требует, чтобы я черт знает зачем мчался через весь город.

— Не валяй дурака! Что случилось? Говори!

— Так ты приедешь, да? Я тебя жду. Ты приедешь? — Рудите, как заведенная, повторяла одно и то же.

— Приеду, — недовольно сказал я, вешая трубку. Времени было в обрез, и если я решил ехать, тянуть было нельзя.

«Интересно, что опять ей взбрело в голову? — подумал я. — Не девчонка, а ходячая греческая трагедия».

Погода в тот день была на редкость мерзкая. Дул холодный, резкий ветер. Серые грязные облака неслись прямо над крышами домов. Моросил мелкий дождь. Пока я добирался до Иманты, насквозь промок, замерз как

цуцик. К счастью, Рудите напоила меня горячим чаем. Она охрипла и непрерывно пила какой-то отвар из трав. Налила и мне в большую синюю чашку. Я сидел возле кровати и чувствовал, как постепенно согреваюсь. Рудите, как была в желто-коричневом домашнем платье, забралась под одеяло.

Я рассказал, что Мартыньш собирается бросать школу, что нас уже двое и есть шанс, что нам это удастся.

— Ты об этом уже рассказывал, — сказала она.

Не помню, чтоб я об этом ей рассказывал.

А Рудите продолжала:

— В последние дни от тебя только и слышишь: «Мартыньш да Мартыньш». Я и Мартыньш, Мартыньш и я. Ты что, в этого Мартыньша влюбился, что ли?

Похоже, ей снова приспичило поругаться. Уж не для того ли я тащился сюда, чтобы с ней ругаться? Что это с ней опять? Непонятно. Когда у Рудите было плохое настроение, она цеплялась буквально за каждое слово. Что ни скажи, все не так. Говорить надо было осторожно, все вокруг да около, иначе она то и дело взрывалась.

— Мартыньш хороший парень.

— И это я уже слышала.

Могу поспорить, этого она не слышала.

— Да, Мартыньш хороший парень, — повторил я.

— Послушай, если тебе не о чем больше говорить, лучше молчи!

— Ладно. Буду молчать. Давай помолчим, — согласился я и принялся за чай.

По мне, так хоть до утра можно так сидеть. Но из опыта знал, что до утра сидеть не понадобится. Ей надоест. Уж очень она была нетерпеливой, импульсивной. Особенно, когда ей хотелось ссориться. Так и случилось. Вначале она лежала, поджав губы, ни дать ни взять мумия, потом приподнялась, опершись на локти, повернулась на бок, налила себе чай и как бы между прочим заметила:

— В этой четверти я по двум предметам не буду аттестована. По физике и математике.

Так вот в чем дело!

— Исправить нельзя?

— Можно попробовать, но смысла большого нету.

— Почему?

— Потому что не хочется.

— Ну уж, извини, сама виновата.

— Ах, какой умник! Сама виновата, сама виновата, — передразнила она.

— А кто же? — спросил я спокойно.

— Ясно, что сама, — сказала она и неожиданно захлопала носом. — Если бы ты знал, как мне все надоело! До смерти надоело, — бормотала она сквозь слезы. — Миленький мой Арманд, если бы ты знал... Но ты ничего не знаешь. Тебе этого не понять, Юркус!

Тут уж я растерялся. Вот чего не ожидал. Меня не столько поразили ее слова, сколько интонация, с какой она их произнесла.

— Я больше не выдержу. Честное слово, я с собой что-нибудь сделаю. Понимаешь, нет сил.

Рудите вцепилась в подушку и давай ее рвать.

— Ты что говоришь? Не надо, — сказал я тихо, пытаюсь ее успокоить, но почему-то мои слова прозвучали холодно и безразлично.

— Ты думаешь, я не знаю, что отец с матерью живут вместе только ради меня? Я для них обуза, кандалы, которые им придется носить всю жизнь. Я больше им не нужна. И сомневаюсь, была ли нужна им вообще когда-нибудь. Раньше предки все это пытались скрывать, а теперь все ясно — гробишь нашу жизнь, откуда ты такая взялась?! Родные отец и мать! Смешно, а? Они мне опротивели, а я им.

— Ты преувеличиваешь, Рудите, — пытался я возразить, но она не слышала и знай себе молила свое.

— Ведь я не виновата в том, что родилась на свет?

— Не виновата.

— А мне пытаются внушить это, и никому, никому я не нужна. Поэтому-то они и не интересуются мной. Куда хочу, туда и иду. Могу вообще не приходить домой. Чем реже

попадаюсь им на глаза, тем лучше. Они тогда спокойно могут думать о себе, им не надо обо мне беспокоиться. Никому я не нужна. И ты, Юркус, тоже хорош! Чуть не час пришлось тебя упрашивать, чтобы приехал. На самом деле я тебе ничуть не нужна. Да и почему, собственно, я должна быть тебе нужна? Кончай... кончай притворяться! Любишь ты притворяться, чтоб сказали про тебя: ах, какой хороший! Но признайся, когда я попросила тебя приехать, тебе ужасно не хотелось тащиться в такую даль. А что со мной, тебя не очень-то и волнует. Это мои проблемы. Вот видишь! И тебе я не нужна. Никому, никому...

— Ты это о чем?

— Самое ужасное — мне кажется, я все на свете знаю, все пережила. Вот поэтому мне все и противно. Все опостыло. Я вчера вечером это поняла. Честное слово! Вокруг одна ложь, обман и притворство. Все повторяется. Сплошная грязь. Противно!

— Что ты говоришь? Не волнуйся так! Все обойдется, — услышал я свой голос.

Звучало все довольно жутковато. Будто я стою на сцене и пытаюсь успокоить не Рудите, которая лежит вот здесь, под одеялом, а каких-то чужих людей, сидящих в огромном зале. Несколько тысяч совершенно незнакомых, нарядно одетых людей, лиц которых я не видел и которые к тому же не верили ни одному моему слову, потому что я и сам им не верил.

— Ах, Арманд, Арманд! Ничего ты не понимаешь! — сквозь слезы проговорила девушка.

За окном бесился ветер, стекла звенели. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! Я, как дурак, посмотрел на часы. К счастью, Рудите этого не заметила. До репетиции оставалось полтора часа.

— За что бы зацепиться, за что бы зацепиться?! — продолжала она. — Все непрочно, все рушится, стоит только прикоснуться. Раньше я гордилась, что хожу по лезвию ножа. Теперь гордиться нечем. Я падаю, падаю, падаю. Как во сне. И не за что зацепиться.

— Только не говори больше, что хочешь умереть.

— Именно это я и хочу сказать.

— Перестань! Все это глупости, Рудите! Все это пройдет. Не говори глупости. — На сей раз в голосе моем было что-то человеческое. — Ты заболела, вот тебе и кажется. Пройдет, — добавил я.

Сообразил, что ведь она говорит правду. Я же и в самом деле не хотел тащиться к черту на кулички — из центра в Иманту.

— Ничего не кажется, — сказала она и схватила меня за руку. — Иди ко мне, сядь рядом!

Я пересел со стула на кровать.

— Нет, не так. По-настоящему рядом! Под одеяло. Близко-близко. Чтобы я чувствовала, что ты рядом, что нигде не исчезнешь. Что, по крайней мере, сию минуту не исчезнешь. И не надо ни о чем думать.

Ветер бился в стекла. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь!

— Я ненормальная, Арманд, но я хочу... Хочу чувствовать тебя рядом, потому что тогда я забываю, как одинока.

Тикали настенные часы. В комнате пахло травами, и Рудите ждала, что я ей отвечу.

И я ответил:

— Не имеет смысла. Мне скоро уходить.

При этом я многозначительно посмотрел на часы. До репетиции оставалось час двадцать. Меня ждали в школе. Я не имел права обмануть Индру и всех остальных (больше всего, конечно, Индру), потому что она была человеком долга, ну и я, под ее влиянием, конечно, тоже стал человеком долга — что бы ни стряслось, а слово надо держать.

В глазах Рудите застыла немая просьба.

— Нет! — сказал я.

— Арманд...

— Нет, — повторил я. — Надо идти, а то опоздаю.

— Не уходи!

— Не могу.

— Не уходи!

— Меня будут ждать.
— Все равно, не уходи! Пусть ждут! Я прошу тебя — останься! Понимаешь — я прошу тебя. Останься, иди ко мне.

— Извини, но не пойти я не могу. Не могу! Ребята соберутся, будут ждать.

— Ну и пусть ждут!

Так могло продолжаться до бесконечности. Если уж она что вбила себе в голову, ее не переубедишь.

— Я прошу тебя, Арманд. Миленький, я очень, очень тебя прошу! Останься со мной, не бросай меня!

— Не могу, Рудите. В другой раз.

— Опять в другой раз.

— Я же сказал, что мне надо быть на этой растреклятой репетиции, и не пойти я не могу.

— А может, другого раза и не будет?

— Будет! Куда он денется!

— Не будет!

— Будет!

— Не будет! — упрямо повторила она.

Потом, обняв меня за шею, сдавила так, что у меня перехватило дыхание.

— Никуда я тебя не пущу, никуда не пойдешь, потому что я тебя никуда не пущу.

Она мяла меня и душила, а я сидел в неудобной и достаточной идиотской позе, вцепившись руками в край кровати, иначе просто бы свалился прямо на нее.

— Скажи, что ты меня любишь, — шептала она. — Скажи, что я у тебя единственная на всем белом свете, самая любимая. Скажи, Юркусик! Миленький мой, скажи, что ты меня любишь! Ничего, что в самом деле не любишь. Будь человеком — скажи. Соври один-единственный разик. Трудно тебе, что ли?

Ее дыхание обжигало мне ухо. Я почувствовал, как на шею упала горячая капля, потом вторая, а третья стекла по моей щеке. Рудите снова плакала.

— Ты сильный. Ты можешь соврать. Будь человеком, скажи, что ты меня любишь. Ври, ври, не бойся, потому что ты сильный. Я хочу, чтобы меня любили. Хоть чуть-чуть, хоть один человек.

Хотел ей ответить, что мне и врать не надо, что я правда ее люблю, но тут почему-то подумал о бабушке. Вспомнил бабушку, которая говорила, что мы сами и только сами отвечаем за каждую связанную ниточку. Я, маленький мальчик, сижу на полу и держу на коленях огромный спутанный моток ниток. «Сами, только сами», — сказала бабушка.

Как раз вовремя... Немая просьба в заплаканных глазах Рудите.

Люблю ли я ее? А может быть, пытаюсь распутать узлы и связать порванные нити, я только еще больше все запутал? Хотел хорошего, а получилось наоборот. И не знаю, что теперь делать, не знаю, как все распутать. Собственное бессилие пугало точно так же, как ответственность, которую я собирался взвалить на себя, сказав Рудите эти несколько пустячных слов. Люблю ли я ее, а если люблю, то что меняется? О, многое. И прежде всего, я не имею права бросать ее в такую минуту.

Девушка смотрела на меня заплаканными глазами. С трудом я улыбнулся. Улыбка получилась вымученная. Ни слова не произнес. Молчал, словно воды в рот набрал.

— Вот видишь, даже этого ты не можешь сделать, — сказала она, отпуская меня. — Даже соврать не можешь и остаться со мной не можешь.

— Не могу, — сказал я в который уж раз.

— Ясно, что не можешь. Ты тоже прохожий. И у тебя нет времени. Как и у других. Ты ничуть не лучше.

— Я же не виноват, что они назначили эту дурацкую репетицию именно на сегодня, — пробовал я возразить.

Она притворилась, что не слышит.

— Всем некогда. Каждый думает только о себе. Все люди — просто прохожие. И ты, Арманд Юркус, тоже прохожий.

— Можно подумать, что ты сейчас очень о других думаешь. Может быть, думаешь о тех, кто меня будет ждать?

— Никак не могу понять, почему дурацкая репетиция для тебя важнее, чем я.

— Кончай! Ты нарочно не хочешь понять. Дело не в репетиции. Это мой долг. Я должен идти, хочу того или нет.

— Нет, дело не в репетиции. Что-то там еще такое. Ах, я дура! Идиотка! Давно надо было догадаться!

— Прекрати! Сейчас же прекрати!

— И как это я раньше не догадалась? Не известно еще, на какую такую репетицию ты идешь. Я умоляю его, на колени падаю, а у него, видите ли, репетиция. Актер выискался! Ха-ха-ха! Репетиция в любимой школе...

— Ну ты и эгоистка! Только о себе думаешь.

— А ты? Ты не эгоист? Ты, можно подумать, сейчас не о себе заботишься? Умник нашелся!

— Пойми же, мне надо быть там обязательно.

— Все равно, по отношению ко мне — ты эгоист. Такой же эгоист, как и все.

— Но и ты не лучше.

— У тебя учусь.

— Нашлась ученица!

— Нашелся принципиальный! Народный артист! Умрешь со смеху!

— Психичка!

— Эгоист!

— Сама эгоистка! — рявкнул я.

Вот так, не прошло и часа, а мы уже смертельно поругались.

Рудите сказала:

— Да, я эгоистка.

— Да, ты эгоистка, — подтвердил я.

— Хочешь знать, почему? Потому что ничего другого не остается. Потому что я одна, одна, одна. Все время одна. Никакие мамочки-папочки, дяденьки-тетеньки, никакие добрые юркусы и не подумают обо мне, если я сама о себе не подумаю.

— Не повторяй мои слова.

Я почувствовал себя задетым. Совсем недавно я говорил ей чуть не то же самое.

— Видишь, как — тебе, значит, можно, а мне нельзя, тебя это касается, меня нет.

— Я не говорил. Что это касается только меня.

— Значит, и меня тоже. Ты смотри, какая я у тебя примерная ученица, уважаемый господин народный артист. Ну, хорошо, иди! Сию же минуту! Немедленно! Что ты ждешь? Убирайся!

В ее последних словах слышалась какая-то угроза, но это я сообразил уже в автобусе, когда многоэтажные дома Иманты остались позади.

В тот момент, когда Рудите выкрикивала эти слова, я, индюк надутый, спокойно поднялся и ушел. И казался себе бог весть каким героем.

«А что остается, если тебя гонят? — подумал я, исполненный гордости. — Аривидерчи, истеричная барышня!»

Но очень скоро мое самодовольство растаяло, как черный дым за желтым «Икарусом». Сидя в автобусе, я снова и снова слышал ее крик: «Убирайся!», и в голосе ее была какая-то скрытая угроза.

Горячее дыхание обжигало уши. Девушка просила, чтобы я сказал, что люблю ее. Я припомнил весь разговор. Слово за словом, фразу за фразой. Она — мне, я — ей. Я — она, она — я. Что-то было в нашем разговоре серьезное. Притом не столько в словах, сколько в тоне, не столько в том, что говорилось, сколько в том, что осталось невысказанным. В том, как Рудите смотрела на меня, как умоляла, как кричала. А я, болван, взял и уехал. И чем дальше я ехал, тем сильнее нарастало мое беспокойство и дурное предчувствие, от которого я уже не мог отделаться. Я стал нервничать, злиться.

«Болван, осел», — ругал я себя, вцепившись в поручни сиденья.

Надо возвращаться. А то еще произойдет несчастье. Она человек непредсказуемый. Поди знай, что взбредет ей в голову. Где-то внутри непрерывно трезвонил звонок, предупреждавший об опасности.

«Ладно, опоздаю минут на десять, пятнадцать, пусть на полчаса. Ничего страшного не случится. А Рудите способна на все, — думал я, выходя из автобуса и переходя через улицу. — Возможно, это просто моя большая фантазия, но ведь Рудите способна на что угодно. Вернуться, вернуться, вернуться. И надо было Индре засунуть меня в этот проклятый спектакль! Остальные тоже хороши! Знают же, что я ухожу, а им хоть бы что. Хотя что им — им же только домой побыстрей. Сам виноват. Только я. Ну наконец . . . Наконец-то автобус».

Минуты через три я уже ехал в Иманту. От нетерпения я все время ерзал на сиденье. Автобус тащился со скоростью черепахи, так что хотелось выскочить и бежать.

«Сейчас . . . сейчас приедем, — пытался я успокаивать себя. — Еще три остановки, еще две, еще одна . . . На следующей».

— Ясно, что выхожу, — бросил я нервной гражданке, которая толкала меня в спину своей набитой до отказа хозяйственной сумкой. — Не останусь же я в этом проклятом автобусе.

Предчувствие непоправимой беды, внутреннее беспокойство лишило меня всякого разума. Возле дверей в квартиру Рудите я нажал на кнопку звонка. Нажал раз, второй, третий . . . Из-за дверей не доносилось ни звука, словно бы никто звонков не слышал.

«Не может быть! Не могла же она больная куда-то уйти. Что-то случилось. Что? Что? Жалкий идиот! Неужто я опоздал? Нет, нет. Не надо преувеличивать. Все выяснится», — старался я внушить себе.

Я звонил целую вечность, пока не сообразил нажать на ручку. Дверь была открыта. За мной ее так никто и не закрыл.

Спотыкаясь, я влетел в комнату. Рудите лежала на кровати, натянув одеяло до подбородка. Я было облегченно вздохнул, но тут заметил, что лежит она в какой-то неестественной позе. Левая рука болтается вдоль кровати. Правая сложена на животе. Волосы растрепаны и почему-то стали темнее, чем были.

— Рудите! — крикнул я. — Рудите!

Она не шевельнулась.

Вдруг на полу возле кровати я заметил что-то блестящее. Это оказались пластинки из серебряной фольги, в которых обычно упакованы таблетки. В одной из них оставалось еще четыре зеленых шарика.

Внезапно я все понял. Так вот в чем дело! Вот чего я добился, и все из-за этого дурацкого чувства долга, из-за моего характера, которым я так гордился и о который разбились все просьбы Рудите и, возможно, последняя ее надежда. Надежда на меня. От этой мысли меня бросило в жар. Вот почему она просила, чтобы я не уходил, вот почему. Но я был слеп и глух. Я не смог поддержать девушку в ее одиночестве. Я сам был одинок. Сам в отчаянии боролся за себя. И сражаясь за себя, занятый собой, я оказался глух и слеп по отношению к ней. Мы не слышали друг друга, хотя оба отчаянно зывали о помощи. Не слышали друг друга потому, что оба успели очерстветь душой. Может быть, именно потому, что я ушел . . .

— Рудите! — крикнул я снова.

Я плохо соображал и что было дальше почти не помню. В памяти остались какие-то разрозненные действия, хаотичные поступки. Я вижу себя сквозь туман.

Вижу, как лихорадочно кручу телефонный диск. Вызываю «скорую». Несвязно бормочу что-то в телефонную трубку. Что таблетки, что она выпила какие-то таблетки. Спросили, сколько пострадавшей лет. Я почему-то ответил, что пятнадцать. Положил трубку и сел возле Рудите. Смотрел на нее, не сводя глаз. Как загнипнотизированный я смотрел на руку, лежавшую на животе. Казалось, рука шевелится. Значит, она дышит. Значит, пока еще жива. И тут же мне казалось, что рука лежит неподвижно. Застыла, закованела, прибита гвоздями. Значит, она не дышит. А раз не дышит, значит, умерла. Я страшно боялся прикоснуться к ее лицу. А что если оно уже холодное? Белое как снег и холодное как лед. Вспомнилась почему-то сказка о Белоснежке. Наконец собрался с духом и, пребы-

вая в каком-то трансе, дотронулся до ее лба. Не понимаю, почему до лба, но главное — лоб был теплый.

«Значит, она жива, значит, не умерла, — тихо повторял я. — И не умрет. Не умрет хотя бы потому, что не имеет права умереть».

Время тянулось страшно медленно. «Скорая» не ехала. Казалось, что прошел по меньшей мере час. Когда же я посмотрел на часы, выяснилось, что стрелка почти не сдвинулась с места.

Зазвонил телефон. Женский голос спросил, как лучше подъехать к дому. Объяснил, как мог.

Наконец в комнате появились врач и медсестра.

— Девочке повезло, — сказал врач, сверля меня глазами.

Сказал, что я одноклассник, пришел навестить больную, а двери были открыты, вот и вошел. Похоже, те, в белых халатах, мне не поверили. Уж очень я был встревожен.

— Девочке повезло. Ах, как ей повезло! — повторил врач.

Сестричка или фельдшер, кто их там разберет, без конца причитала — такая молоденькая, такая девочка!

В дверях показался санитар с носилками. Молча они вынесли Рудите. Я тоже ушел. Оставил на кухонном столе записку родителям Рудите, что дочь их увезли в больницу, и захлопнул за собой дверь.

34.

Да, Рудите увезли в больницу. Я захлопнул за собой дверь. И на этом месте можно было бы поставить точку, потому что история, которую я хотел вам рассказать, подошла к концу.

Завершились события, которые лавиной обрушились на меня за последние три недели. Я потерял Индру. Нашел Рудите. Мартыньш потерял отца. Таливалдис потерял себя. И Рудите я чуть не потерял. Чуть не потерял навсегда.

Почему?

Вот он, вопрос, который не дает мне покоя.

Впрочем, если я хочу быть честным до конца, если хочу быть честным, то рассказ мой конца не имеет. Он бесконечен. Заканчиваются одни события, начинаются другие. События цепляются за события, переплетаются, как переплетаются человеческие жизни. И рождаются бесконечные вопросы, на которые нужно найти ответ. Мы спасались от одиночества. Каждый как умел. Но ведь от себя не убежишь. Мы звали на помощь и хотели, чтобы нас услышали, но сами-то оказались глухими. Больше всего на свете хотели, чтобы нас любили, а сами любить не умели.

Прошло время, и я это понял. Я понял это гораздо позже, а тогда мы были слепыми и глухими, и потому все время друг друга теряли.

Души черствеют. Вот как я думал.

Слишком часто ведет нас не голос сердца, а долг во имя самого долга, эгоизм или что-нибудь похуже. Возможно, события обрушились лавиной именно поэтому.

Когда Рудите увезли, я отчетливо, ясно, как никогда, понял — нити, которые называются жизнью, рвутся в тот миг, когда мы остаемся в одиночестве, когда теряем веру в людей, когда нет рядом никого, кому можно было бы довериться. Нельзя допускать, чтобы нити эти рвались. Надо оберегать их, защищать и хранить.

И еще я понял, что самая большая награда, настоящий Большой Приз — это сама жизнь, такая разная, порой такая трудная, но такая интересная. Жизнь, которая дана каждому, дана просто так — даром, и более высокой награды на свете не бывает, просто не может быть.

Понял, какими детскими, наивными казались мои уверения в том, что я человек взрослый и самостоятельный. Какой я к черту взрослый? Во всяком случае до того момента, когда Рудите положили на носилки и унесли, я взрослым не был.

Повзрослел ли я после этого? Не знаю. На этот вопрос ответить не могу. Пусть судят другие.

Но ведь что должно было произойти, чтобы я, наконец,

все понял! Понял по-настоящему. Наверно запрограммировал эти истины в каждой своей клеточке.

Так вот. Рудите увезли в больницу. Я захлопнул за собой дверь. Но этим все не кончилось. Всякий конец в то же время начало. Начало чего-то нового. Поэтому обязательно расскажу, как ходил к Рудите в больницу. Как меня не пускали. Как она стояла у окна третьего этажа, и мы говорили без слов. Разговаривали без слов и понимали друг друга лучше, чем раньше.

35.

То, о чем я вам сейчас расскажу, произошло дней через пять.

Серое четырехэтажное здание пряталось за высокими пышными липами. Отделение, куда привезли Рудите, находилось на третьем этаже.

Выяснилось, что я пришел в неурочное время. На лестнице, как назло, дорогу мне преградила атлетического телосложения дама (по виду медсестра, санитарка или уборщица) и принялась изображать из себя жуткую начальницу. Она стояла двумя ступеньками выше, белый с серыми разводами халат обтягивал мощную фигуру, двойной подбородок колыхался от упоения, пока она честила меня — разве я, мол, не знаю, что днем в больницу нельзя. Разве не знаю, что посторонним нельзя здесь находиться. Разве не знаю, что это больница, а в больницу можно приходить только в приемные часы? Что я здесь потерял? Куда собрался идти? К кому? Зачем? Вопросы так и сыпались из нее, ответы не интересовали. Да я и не пытался на них отвечать.

Не преувеличиваю — орала она минут десять. Если в отделении и был тяжелобольной, то от шума уже успел умереть раз сто подряд, не меньше. К счастью, в конце концов у нее что-то случилось с горлом, и она принялась жутко кашлять. После чего, к моему удивлению, заговорила совершенно нормально:

— Ну, что ж вы молчите? Ответьте что-нибудь!

Так, мол, и так, говорю, хочу повидать Рудите.

— Девчонку эту, что таблеток наглоталась? — спросила она.

— Да, — я кивнул головой.

— Не понимаю, что с вами, с молодыми, творится. Посмотреть, так все вроде нормально, а они вон какие глупости вытворяют. Жить надо. Надо жить, а они безобразники вон что творят, — принялась она философствовать. — Чего не понимаю, того не понимаю. Теперь болеть будет, долго. И потом еще скажется. А уж желудок болеть будет. По докторам ходить начнет, лекарства глотать, чтобы вернуть потерянное, а вернуть-то нельзя... В молодости здоровье подорвешь, всю жизнь мучиться будешь. Я уж и не говорю, чем все могло кончиться. Протянула бы девка ноги, вот тогда бы знала. А родителям-то каково? Чего не понимаю, того не понимаю.

Она говорила со мной так, словно бы я выпил эти проклятые таблетки. Потом, вспомнив о чем-то, помрачнела и строго посмотрела на меня сверху вниз.

— Постой, постой, фрукт ты такой, — перешла вдруг на «ты» медсестра, санитарка, уборщица или черт знает, кем она там была. — Постой! Травятся-то от несчастной любви! Уж не из-за тебя ли эта бедная девочка отравилась? Обманул девчонку и в кусты? А?

— Не так все было, — ответил я спокойно, но не понял, поверила она мне или нет.

Похоже, не совсем, потому что в ответ было сказано:

— Смотри мне! Не обманывай! Очень уж подозрительно себя ведешь. Хотя, раз явился, может, и правду говоришь? Может, одумался, а? Что скажешь?

Я ничего не сказал. Что было, то было. Женщина в белом с серыми разводами халате права. Я действительно многое понял. Правда, не совсем то, о чем она думала. У каждого свое понятие об истине.

— Смотри у меня! — сурово повторила дама атлетического телосложения.

— Я же сказал, напрасно вы меня подозреваете.

— Ладно, — смилостивилась она, спустившись на одну ступеньку. — Но наверх пустить я все равно тебя не могу.

— А как же мне повидать Рудите? — наивно спросил я.

— А кто ты ей будешь?

Я молчал. Действительно, кто я ей?

— Если близкий ей человек, можно...

Поспешно я подтвердил, что уважаемая не ошибается, я ей близкий человек. Ближе самого ближнего. Она ведь понимает... видит меня насквозь...

— Муж? — спросила она в лоб.

— Нет, не муж, — смутившись ответил я и почувствовал, что краснею.

Черт возьми, этого еще не хватало.

Медсестра, санитарка или черт ее знает кто в первый раз кисло улыбнулась.

— Ну что с тобой делать? Можно, конечно, сходить наверх и сказать, что пришел ни то ни се, но очень близкий человек. Если девчонка захочет, подойдет к окну. Помашете друг дружке ручкой.

— Спасибо.

Хотел было добавить «и на том», но вовремя сообразил, что дама еще обидится и никуда не пойдет.

— Беги вниз, стой возле скамейки и жди, — скомандовала она, поднимаясь по лестнице.

— Спасибо! — сказал я, сбегая.

В дверях столкнулся с врачом, который подозрительно оглядел меня. Похоже — лечащий врач Рудите. В белоснежном накрахмаленном халате, под которым виднелась фирменная рубашка, весь напомаженный и надушенный, он скорее напоминал неудачливого актера. Если бы болел я, такого врача и близко бы не подпустил, разговаривал бы на расстоянии. Мне этот субъект, который действительно оказался лечащим врачом Рудите, не внушал доверия.

«Шут гороховый», — подумал я.

Пока я огибал здание, Рудите успела подойти к окну и стояла, прижавшись носишком к стеклу. Я видел, что она рада моего приходу.

Я стоял внизу и глупо улыбался.

Рудите махнула мне рукой. На ней был толстый грязно-серый больничный халат не по росту. Я махнул в ответ.

В первый раз я видел ее в такой идиотской одежде, зато волосы были гладко причесаны. Выражение лица совсем детское. Была она бледнее, чем обычно.

— Как себя чувствуешь? — спросил я одними губами.

Она неопределенно пожала плечами.

— Лучше?

Она кивнула.

— Как вообще дела?

— Терпеть можно, — ответила она и добавила еще что-то, что могло означать, что ей надоело в больнице, хочется поскорей домой, в общем, что обычно говорят, когда находятся в больнице.

— Потерпи, — сказал я, потому что именно так обычно говорили те, кто находился на воле.

— Да, потерплю, — согласно кивнула она.

Ветер шуршал последними трепетавшими на ветках листьями.

«Скоро и они опадут. Начнется зима», — подумал я.

— А как твои дела? — понял я ее вопрос.

Чуть подумав, старательно зашевелил губами:

— Скорее хорошо, чем плохо.

— Все в порядке?

— Почти.

— И в школе?

Я видел, как старательно она выговаривает слово «школа».

Хотелось рассказать, что все решилось, что исход для нас с Мартыньшем будет благоприятный. За день до того я как раз был у Лаймы Янсоне. А она начатые дела доводила до конца.

— А у Мартыньша? — задала Рудите очередной вопрос. — Как дела у него?

— Завтра вдвоем идем на заседание комиссии.

— Что? — не разобрала Рудите.
— Ко-мис-сии, — повторил я по слогам, кивая головой на каждом слоге.
— Когда?
— Завтра.

Потом мы некоторое время молчали. Молчали и улыбались, глядя друг на друга.

— Замечательно, — сказала она, и мы снова замолчали. В эту минуту Рудите была мне гораздо ближе, чем раньше. Странно. Впервые в жизни я испытывал подобное чувство.

Над головой шуршали последние осенние листья. Я снова подумал, что скоро и они опадут и придет зима, а за ней весна, а потом лето и снова осень. И от того, что так будет вечно, мне почему-то стало грустно.

А вслух я сказал:
— Я тебя люблю, Рудите.
— Я тебя тоже, Арманд, — ответила она беззвучно.
— Ты моя единственная.
— Ты мой единственный.
— Не могу даже выразить, как я тебя люблю, — шепотом я выговаривал каждый слог.

— Я тоже . . . Очень, очень, — ответила она губами. Припомнились события последних дней. Как будто не я в них участвовал, а наблюдал за собой со стороны, был единственным зрителем в темном кинозале, где над дверьми горит красная лампочка с надписью «Выход».

«А может быть я и в самом деле чаще стоял в стороне, думая о себе, чем делая то, что мне надлежало делать? И поэтому все именно так и произошло, — мелькнула вдруг мысль. — Поэтому Индра меня бросила. Таливалдис убил отца Мартыньша. Рудите пыталась покончить с собой. Только потому, что я все время стоял в стороне». Так подумал я, стоя под столетними липами, на ветках которой качались последние желтые листья.

И тогда я понял, почему не удалось сохранить целыми нити, которые грозили вот-вот порваться, и так трудно было соединить порвавшиеся. Глядя со стороны, этого не сделаешь. Хочешь того или нет, но надо действовать, ведь и сам ты одна из этих перепутанных нитей. Факт. От этого не уйдешь. Путь к пониманию ведет через себя, через самого себя.

Кажется, это я уже говорил?
Борьба за человечность начинается с борьбы в себе самом.

Я поднял вверх два пальца в виде латинской буквы «в».
Viktoria. Победа.

Этот гениальный жест придумал старый толстый Черчилль. Возможно, это было самое гениальное из того, что он сделал в своей жизни.

— Мы победим, Рудите!
И Рудите подняла два пальца в виде буквы «V».
Мы победим!

Над головой столетние липы шуршали последними листьями.

— Рудите, ты слышишь меня — мы победим!
— Да, мы победим, Арманд.
— Я тебе обещаю!
— Обязательно.

36.

На следующий день на заседании комиссии по делам несовершеннолетних нам с Мартыньшем официально разрешили перейти в вечернюю школу и устраиваться на работу.

В первые месяцы дела наши шли не столь блестяще, как

мы себе представляли. По-настоящему просыпался я только в переполненном троллейбусе, а бесконечные когда-то вечера стали коротенькими-коротенькими.

— И куда время уходит? — удивлялся Мартыньш, я тоже не мог понять, куда. В первые дни мы обломали все ногти, потом уж поумнели. Потом три недели проучились на курсах повышения квалификации. Нас перевели на четвертый участок, работа там была интереснее и заработать можно было больше. Даже Мартыньш прекратил ворчать и по утрам вполне бодро шагал на работу.

Вечернюю школу закончили нормально. В аттестате у меня были две четверки, остальные пятерки.

В августе Мартыньш поступил на вечернее отделение в политехнический, а я решил, что после армии попытаюсь поступить в университет на юридический. Почему после армии? Потому что сначала надо во всем как следует разобраться. Часто вспоминал я старшего лейтенанта милиции со смешной фамилией — Кроткалнс. В конце концов мне предстояло еще кое-что уладить, ибо война, которую я объявил обокравшей меня компании, не закончилась. В общем, время покажет, а пока я решил, что буду поступать на юридический. Посмотрим, что получится.

Бывшие одноклассники разлетелись кто куда. Слышал, что Дидзис поступил в Институт физкультуры, Райво — в Институт инженеров гражданской авиации. Эджус не выдержал конкурса. Индра уехала поступать в Ленинград. Мара Арая осталась в школе пионервожатой. А почти отличница Элина сразу же после выпускного вечера вышла замуж.

Летом мы с Рудите чуть не поженились. Потом решили, что лучше подождать, пока я не вернусь из армии. О дальнейшей учебе Рудите и слышать не хотела и пошла работать на конфетную фабрику «Лайма».

Вечерами, когда она возвращается, от нее пахнет чем-то горьким-горьким.

Я спрашиваю:

— Чем от тебя пахнет?

Она отвечает:

— Шоколадом.

Что еще?

Сегодня, когда я все это пишу, 23 октября 1985 года. По случайному совпадению — опять среда. С того сентябрьского утра прошло чуть больше года.

Завтра иду на призывной пункт. В семь ноль ноль надо быть в военкомате.

Рудите с ногами забралась на диван, читает книгу. На столе сегодняшние газеты. Они пишут о том, что происходит и происходило на свете. Каждый день в мире что-нибудь происходит.

А внешне как будто ничего не изменилось, хотя на самом деле изменилось многое. Время бежит. Жизнь продолжается. Происходят события, неотвратимые, закономерные, взаимосвязанные. И повернуть вспять, начать все сначала, сделать вид, что ничего не случилось, нельзя. Ничто на свете не кончается. Все только начинается . . . начинается и продолжается. Вечно.

Вот и все, о чем хотелось мне вам рассказать.

Будьте счастливы!

До свидания!

Март—ноябрь 1985 г.



Перевела
ЖАННА ЭЗИТ

Мы обитаем на льдинах.

Как это может быть, когда лето?

Или мы на двух осколках зеркала. Каждый на своем. Вокруг нас свет, вихри отражений.

Протяни руки — и все будет. До сих пор ничего не было. Флаги, дипломы, гербы, деньги — это ничто. Все будет в наших руках, если мы протянем их над трещиной.

Протягиваем.

Между пальцами застревают бодяк, цветет лиловым цветом — и пчелы улетают. В трещинах зеркал растет крапива, бодяк; чертополох покачивается и бросает в небо

алые и фиолетовые солнца. Кувыркнись; сыплется пепел, в кислые ягоды превратились цветы черемухи, тевтонские мечи, плакаты, стенограммы речей трех диктаторов и двадцати президентов, иконы, кресты — героев и церкви, декларации, хартии, бывшие полковники, пропагандистские листки, семилетние планы, искусственные спутники, мартышка, которая видела черное небо.

Дайте ж нам однажды встретиться!

Нам не нужно черное небо!

День был жаркий, ночь — светла.

Лилые солнца чертополоха, вцепившись в стекла разбитых зеркал, немо окружают нас метелью лживых вещей.

ДЕНЬ БЫЛ ЖАРКИЙ, НОЧЬ СВЕТЛА

Он не мог оторвать глаз от божьей коровки, которая ползала по травинке. Иногда пыталась взлететь, но это, может быть, было просто так, в шутку. Из щели в стене выпорхнула какая-то птица, покружила над головой и опять куда-то пропала. Чета бодяка повесила головы — сушь и жара, воздух пересоший, и синее безжалостное небо превратило большак в сплошную пыль.

Макс уснул. Одну ногу он согнул под прямым углом, вторую вытянул поверх первой, руками защитил глаза. Рубашка на груди растегнута, она несомненно была когда-то белой — в мелкий фиолетовый цветочек. Теперь же ботаника выцвела, а белое походило на дорожную пыль. Пиджак он подsunул под голову вместо подушки.

Да знал ли он хоть, что такое подушка? — подумал Клас, когда ему надоело разглядывать божью коровку и он переключился на Макса и подушку.

Пару дней назад Макс сделался странным. Ничего особенного он не делал, но вот эта его неразговорчивость... Он все молчал.

Да.

Нет.

Может быть.

Ах вот как!

Да, это было все — или почти все, что услышал Клас от Макса за последние сорок восемь часов, хотя они прошли вместе почти сто километров — в конце концов это не так уж мало. К тому же по этой жаре, которая навалилась на землю, как проклятие. Было заметно, что этим уже недовольны и придорожные травы. Полевицы стали как сено, хотя корнями все еще держались в земле, бодяк повесил лиловые головы и уже не казался грозным, напротив — жалко было смотреть — такое гордое растение! Не говоря уже о купыре — от него мало что осталось, мелкие цветочки осыпались. Класу казалось всегда, что купырь — это цветок целомудрия прежнего времени — такой утонченный, чистый и прозрачный — совсем как целомудрие. Да, именно так — прозрачный.

Божья коровка наконец расправила крылья и улетела. Эх, держал бы я ее на ладони, знал бы, куда идти — подумал Клас. А теперь — что же, теперь — поздно! И Макс все спит, и, может быть, это лучше, ведь уснувшего молчалика легче терпеть, чем идущего. Но что с ним случилось?

Клас тоже вот — идет, сам не зная куда. С Максом он просто так соединился, после того, как они вместе пили молоко на одном хуторе. Потом оказалось, что Макс прожил там дня два-три. После чего ему пришлось уйти. Постепенно Клас догадался о причине. Макс был сильный мужик, а на хуторе — хозяйская дочка и работница. На безрыбье и рак рыба, однако эти, и та, и другая, не походили на раков, они были б лакомый кусочек и при богатом улове. Так, по крайней мере, можно было понять по рассказам Макса. Какого яблока он вкусил, добиться от него не удалось, но Клас подозревал, что и того, и другого.

Они напились молока из бидона, вытащенного из род-

ника. Затем Макс огляделся и, никого не увидев, сказал: «Я тоже пойду».

Этим все и решилось.

На дороге их ожидали зной, пыль и пот — они тащились по превратившейся в пыль земле, разулись и шли, частенько сваливаясь где-нибудь в тени. Клас не особенно интересовался, куда держит путь Макс — ему больше хотелось знать, куда ведет его собственная дорога. Но с того дня, как ему посчастливилось избежать совсем плохого конца, ему хотелось только идти и идти, и видеть весь свет, пока он еще есть. Представьте только: оказаться в такой ужасной ситуации, когда на тебя уставились с мрачной серьезностью дула четырех автоматов! Клас вспотел при одном воспоминании. Четыре — был бы хоть один! Но нет на земле никакого порядка — и хотя у Класа не было никакой причины быть убитым, эти четыре дула глядели на него так неотступно, что он вмиг кувыркнулся с обочины и плюхнулся прямо на берег реки, где росли ежевика и лозина — и очень скоро убрался оттуда на хорошее расстояние. При этом воспоминании замаячил навязчивый вопрос, стреляли в него или нет. Он не мог вспомнить. Он так страшно перепугался, что и не подумал слушать, стреляют или не стреляют. Зато он до сих пор чувствовал, как остро вцеплялись в одежду и в кожу сушья прибрежных кустов; на щеке до сих пор не зажила царапина.

А потом было новое горе — какая-то девушка. Она подошла к нему и спросила, не отец ли он ей. Вот безумие! Отец! Ей могло быть лет двадцать, а Класу всего лишь под тридцать. Но было ясно, что она не в своем уме. Она все улыбалась и говорила:

«Если ты мой отец, то погаси огонь! Тогда я буду тебе невеста. И какая!...»

Она шла за ним, глядя на него голодными глазами. Класу припомнился один деревенский мудрец, который сказал — они тогда пили вино, прохладное, только что из погреба:

«Хмель входит в нас, но закваска того хмеля, который пробуждает вино, заложена миллионы лет назад. Той самой змеей. От яблочного вина та закваска».

Клас оглянулся на безумную и вспомнил про яблочное вино. Но это вино испортилось. Другое дело то — в Эдеме. То вино было наверняка прозрачным, бодрящим яблочным напитком.

Клас шел себе дальше, задумавшись. И вдруг услышал за спиной бормотание безумной:

«Я вижу, что ты меня не хочешь. Я слишком легкая, и ты не хочешь меня пригвоздить к земле. Раз так, то я полечу в облака!»

Когда Клас через какой-то миг оглянулся, ее уже не было. Ему стало жаль ее. И себя тоже. Если б он сказал, что он ее отец, она бы стала его невестой. На секунду Клас остановился, подумал, не пойти ли обратно поискать ее. Земля была пуста, разорена — лучшее вино достать нигде. Он вдруг почувствовал себя таким одиноким. Но тут же

стиснул зубы и зашагал дальше. Несколько раз он пожалел, что так ушел. Хутора по большей части были пустые — в этой округе никто не хотел жить. Однажды он так наткнулся даже на расстеленную постель, улегся и заснул — и тут, да, именно в тот раз ему вдруг так сильно захотелось, чтобы рядом был какой-нибудь человек. И перед глазами встала, как живая, безумная девушка, и он хотел, чтоб она и на самом деле вошла — пусть бы такая же сумасшедшая, как на дороге. Но теперь уже не было никого.

Примерно через неделю он встретил Макса; и вот они идут вместе уже наверно дней десять. Сначала он был говорлив. Много рассказывал, но Класу тогда ничего не хотелось слушать. Его угнетала старая тревога — и догадка о делах Макса на заброшенном хуторе, где еще убирали сено, ничего не меняла.

Но тут Макс вдруг умолк.

Они тогда миновали какой-то столб, который означал границу какой-то области. Он был нетронутый, если не считать птиц, которые на нем сидели. Макс так долго на него смотрел, подошел вплотную, погладил — и замолчал. Он говорил только свои «да» и «нет».

Людей опять не было. Хутора были опустевшие. То тут, то там попадалась какая-то заблудшая корова. Одну они хотели поймать, и Макс тоже гнался, как чокнутый, но напрасно — животное скоро удалилось. Они щипали щавель — но он совсем не насыщал. Но Класу казалось, что не голод причина молчания Макса. Они зашли в какой-то дом, Клас поспешно бросился к шкафам и кладовкам, а Макс сидел во дворе на скамейке и даже пальцем не двинул. Когда Клас положил подле него свежеспеченные блины — он обнаружил муку, жир, а воды было сколько хочешь, — Макс их сожрал со свойственным человеку аппетитом, сказал спасибо и опять замолчал.

Сегодня жара была совершенно невыносимая, и они свалились прямо у дороги, в тени под каким-то деревом. Шагах в двадцати от них был разрушенный дом, в развалинах поселились птицы и наверно свили гнезда. Макс какое-то время сидел и смотрел застывшими глазами на лощину, которая раскинулась на запад по ту сторону дороги. Так он сидел долго, потом вдруг сорвал пиджак, свернул и повалился на него. Вскоре он заснул. Класу не хотелось спать, хотя полуденный покой, тишина и жара к этому располагали.

Он сидел и пытался о чем-нибудь думать, но из этого ничего не получалось. На мгновение пришла на ум безумная девушка, но и эта картина вскоре утекла, как упавшая на сухой песок капля.

И вот уже Макс проспал около часу. Клас осторожно вытащил из кармана штанов часы и вертел их в руках. Он их взял в каком-то доме. Они шли. Только одного Клас не знал — правильно ли они показывают время. Но это не имело никакого значения. Он не был привязан ни к какому порядку, ни к какому времени — значит, было совершенно все равно, который час. То, что серебряная стрелка шла, означало всего лишь, что время не остановилось. Но это было видно и по закатам и восходам, они сменяли друг друга, как прежде.

Тени уже становились длиннее, и Клас несколько нетерпеливо посмотрел на Макса. Спит себе и спит, будто пришел домой! — думал он. Но попытаться разбудить спутника ему казалось непросительным, ибо: Куда же нам торопиться! В мешке, который Клас бросил чуть поодаль, была провизия по крайней мере на два дня. Они могли остаться и здесь.

Вдруг — в ту минуту, когда Макс всхрипнул во сне и распрямил согнутую ногу — где-то вдалеке раздались выстрелы, и Клас ясно услышал, как над ними просвистел рой пуль. Он приник к земле и лежа дернул за рукав Макса:

«Проснись! Стреляют!»

Но Макс уже проснулся и отвечал на удивление спокойно:

«Так они тут делают. Наверно, что-то заметили. Не волнуйся!»

«Как? — поразился Клас. — Ты что-то знаешь?»

«Ну, конечно, Клас, — полушепотом ответил Макс. — Разве ты не знаешь, куда мы шли?»

Клас об этом не думал.

Он попробовал поднять голову, но в этот момент над ними опять просвистело несколько залпов. — Черт побери, — Клас подумал впервые темпераментно, вот так бывает, когда не думаешь, куда ноги несут. Макс наверно знал.

«Макс, — стараясь говорить спокойно, даже весело, спросил он. — Макс, скажи, куда мы забрели!»

«В пограничную зону, — коротко ответил товарищ. — Собственно говоря — мы находимся на ничьей земле.»

«И ты шел сюда?»

«Да — а разве ты нет? . . .» — Макс удивленно смотрел на Класа.

«Макс — я совсем не думал, куда иду. Я просто шел. Разве у тебя была какая-то цель?»

«Цель — да, — вздохнул Макс. — К ней я никогда не доберусь, оттуда стреляют.»

«Черт, куда ж тебя несет?!» — разозлился Клас.

«Я хотел посмотреть», — сказал Макс совсем тихо. Он развернул свой пиджак и вытащил из внутреннего кармана старый бинокль.

«Ты истинно настоящий турист», — с издевкой сказал Клас, в нем нарастал гнев. Вокруг все стихло, он порадовался, что в поисках тени они повалились как бы в углубление; но тут же вспомнил, что это Макс его нашел, а он просто следовал за ним. Значит . . . у Макса было намерение.

«Что ты собираешься делать с этой штукой?» — спросил Клас, ткнув длинным, грязным ногтем в бинокль Макса.

«Я же сказал — посмотреть.»

«Ты, по-моему, спятил», — констатировал Клас — и ему стало нехорошо, что он так сильно выразился. Все, правда, было опять спокойно, однако с другой стороны Клас теперь — да, только теперь — заметил, что он, так тут лежа, ничего не видит из углубления. И в его воображении снова вдруг расцвели черными цветами однажды уже увиденные четыре дула.

«Клас, — прошептал Макс, наклонившись в его сторону и глядя прямо ему в лицо. — Клас — а ты разве нет? Разве ты не спятил?»

Клас вспотел. Глаза у Макса были темные.

«Ну — немножко», — он изменил тон и притворился дружелюбным. Подумалось о странном молчании Макса и о том, что он так запросто пошел с ним после того, как они попили молока.

Макс наклонился еще ближе:

«Клас, ты лжешь. Ты не спятил, ты только притворяешься!»

Вот же горел!

«Успокойся, Макс», — сказал Клас и почувствовал, как в глаза стекают струйки пота.

«Ну да, — вздохнул Макс, — ты не спятил. Жаль, я думал — все время думал, что спятил. Но меня уже одолевали сомнения. Теперь ясно — ты не сможешь войти в мое царствие. Разве что — если я тебя таким сделаю. Ну, — он увидел, что Клас отпрянул, — не так уж страшно. Один ловкий удар по голове в нужное место — и ты облачишься в королевские одежды. Точно как я. Эх, где была моя голова, как я раньше не заметил, что у тебя нет того пурпура, который покрывает мое тело.»

Клас пытался осторожно подползти поближе к краю углубления. Он помнил свой прыжок на берег и надеялся, что и сейчас окажется не менее ловок.

«Не уползай! — зашипел Макс. — Имей в виду — тебя застрелят. Я же говорю — мы на ничьей земле. Тут может случиться все что угодно!»

Клас утихомирился. Это правда. Но что если как-нибудь исхитриться?

Макс вытянул руку и, ухватив Класа за плечо, рванул назад. Клас напрягся и попробовал вырваться, но хватка у Макса была железная. Он ожидал удара, на глаза набегали слезы.

«Макс, не бей, — умолял он. — Я и так сумасшедший.»



«Ты не сумасшедший, а то ты знал бы, куда идешь», — спокойно ответил товарищ и немного приотпустил Класа. Из его глаз все не исчезал темный блеск. И вдруг он спросил решительно, пристально глядя в зрачки Класа: «Что ты сделал с моей сестрой?»

«Твоей сестрой?! Я же не знаком... я даже не знаю, что у тебя есть сестра».

«А эти царапины, вон, — и Макс провел пальцем по исцарапанному лицу Класа. — Откуда они? Ангелы поцарапали?»

«Макс, Макс, — заговорил Клас умоляюще, — я расцарапался, убегая от преследователей».

«Ну, вот видишь, — Макс отпустил его. — Вот видишь — а ты пытался лгать. Ты пытался меня уверить, что ты спятил — но ты убегаешь. Какой сумасшедший убегаешь? Он идет прямо, с поднятой головой — не наклоняется даже тогда, когда золотая бахрома в почетных воротах задевает груди».

«А ты? — спросил вдруг Клас. — Мне кажется, Макс, ты дурака валяешь. Где же ты идешь с поднятой головой? Мне даже кажется, ты сам дал деру с того хутора. И ты болтал что-то о хозяйской дочке и работнице. Разве ты не бежал от них?»

«Куда я иду, туда и дойду — и уж ты со мной не пойдешь. В конце концов — ты бродяга, а это больше, чем сумасшедший. Я сумасшедший — я сбежал из заведения для умалишенных — знай это, — Макс говорил взахлеб, — не важно, кто меня туда засадил — и почему. Теперь все надо подчитывать перевернутыми эквациями...»

«Эк... вациями?!»

«Да, ну конечно, ты же не знаешь, что это такое. Спокойно! Ша! Все равно, если тебя посадили в сумасшедший дом, то ты сумасшедший — очень просто, верно? Другое дело, когда спрашивают, а кто не сумасшедший. Этого никто наверняка не знает. Такой у нас теперь порядок».

Клас ничего уже не понимал. Он и бежать больше не пытался. Оперевшись о край углубления, он старался казаться как можно незаметнее. Он только следил за каждым движением Макса, чтобы в нужный момент метнуться прочь — теперь, когда он освободился от безжалостной хватки сотоварища, в нем опять проснулась надежда на спасение. Только бы не перестараться. Клас заметил, что приближается вечер, они тут дискутировали о безумии довольно долго, и тени сделались значительно длиннее.

«Я пришел только посмотреть», — внезапно проговорил Макс, и на сей раз его голос был совершенно спокоен, почти нежен — казалось, он говорит в каком-то счастливом сне. «Ну да, — продолжал он, — ты же не понимаешь, ты наверно бродишь по дорогам просто так, бесцельно — я только не знаю, почему. Но это, может быть, все равно. Есть такие люди. А у меня есть цель, только я не могу к ней добраться. Я на нее хочу только посмотреть — и уже одно это — достаточная причина, чтоб было ясно, что я сумасшедший. И еще одна — в том доме, где мы встретились, я не мог избавиться от желания все сравнить с землей. Каждый вечер — я же там пробыл всего четыре дня, если я тебе еще этого не рассказывал — я смотрел на этих людей, которые собирали клевер на зиму коровам, и мне хотелось свести их всех вместе и поджечь... Вот так — да, но перед тем», — он провел ладонью по горлу.

Клас чувствовал, что опять покрывается потом. Теперь ему окончательно стало ясно, что товарищ на самом деле спятил. Но он старался казаться как можно спокойнее и совсем тихо спросил:

«Почему?»

«Да разве я знаю?» — ответил Макс.

Клас не получил большей ясности. И снова спросил:

«Макс, что же ты намерен делать? Соберись с мыслями, чтобы ответить толком! В конце концов — мы шли вместе довольно долго. Ей-богу, мне было все равно, куда идти, потому я и не представлял, что у тебя есть какая-то цель — и, насколько я понимаю, ты сейчас — по крайней мере — близок к ней. Я признаю, я не очень-то ориентируюсь в этих местах. Но одно я тепеь понимаю, что мы очутились в той разрушенной войной зоне, которую не восстанавли-

вают, и которую пересекает новая пограничная линия. Что мы тут находимся уже довольно долго, это я заметил — брошенные дома... Но я все время думал, что и ты здесь бродишь, чтобы таким образом сохранить себе жизнь — и свободу, ведь ты же знаешь, что последней нет ни на той, ни на другой стороне — только в разрушенных зонах, куда никто не хочет возвращаться. И если остерегаться патруля — а я все время это делал — то здесь ты свободен как птица. Но теперь я замечаю, что вот уже несколько дней ты ведешь меня прямо к границе. Правда, здесь свободы еще больше, потому что людей нет совсем, а в брошенных домах есть кое-что съестное. Но теперь мы засели в этой яме и не смеем высунуть голову, потому что могут начать обстрел. И кто знает — может, кто-нибудь придет за нами. По крайней мере я не вижу во всем этом никакого смысла...»

«Смысл есть — если ты безумен, — ответил Макс и улыбнулся. — Ну — не бойся! Я не буду бить тебя по голове, она ведь пустая. Но я и не отпущу тебя — тебе придется пойти со мной — посмотреть».

«Что посмотреть?»

Макс схватил Класа за руку и притянул к краю углубления, где чах поникший бодяк. «Погляди сюда! — приказал он. — Там по ту сторону такое довольно высокое здание. Школа — была раньше. Оттуда виден мой дом. Триста метров по ту сторону границы. Я хочу на него посмотреть. Кто знает — может, там еще есть кто-нибудь из наших. Мы должны пробраться в школу ночью и потом весь следующий день будем сидеть на чердаке и смотреть. Следующей ночью пойдем обратно. Если будем живы. И если мне не захочется с тобой что-нибудь сделать!»

«Почему я должен идти?» — противился Клас.

«Почему? Я могу заскучать — сидя целый день под раскаленной жестяной крышей. Тогда мы сможем поговорить. О жизни... Это будет приятно, граница там всего в пятидесяти метрах от школы».

Клас начал лихорадочно думать, как выскользнуть из западни.

«Не вздумай удрать, — спокойно сказал Макс, — тогда тут же и останешься. Если же пойдешь со мной, то, может быть, вернешься».

«А ты?»

«Да — может быть, я тоже. Хотя мне хотелось бы перейти».

«Границу?»

«Ну — почему нет, я сумасшедший. Для меня нет границ».

Выхода не было. Они продолжали сидеть, и постепенно на дерево опустились вечерние сумерки. Они были приятны. Прохлада стекала как будто с потемневшего неба, от земли она не могла исходить — земля была перегрета. Дерево потихоньку шелестело, и когда солнце зашло, Класа стал одолевать сон. Макс выспался, Клас сидел в жару и наблюдал за божьей коровкой.

Примерно через час из-за карниза разрушенной стены выплыл огромный, желтый месяц. Обычная сумеречность летней ночи смешалась с бледными лучами небесного светила — настоящей темноты не было. Наконец Макс схватил Класа за руку и сказал:

«Пойдем! То есть — поползем по траве. Слишком светло, чтобы вставать во весь рост».

Класу ничего не оставалось, как только подчиниться. Между прочим он заметил, что в руках у Макса мелькнул большой нож. Блестящий и острый при лунном свете.

Они пересекли покрытый травами склон и дорогу без всякой помехи. Дальше, по направлению к зданию школы, которое лежало тут же на склоне на полкилометра ниже, можно было пробраться вдоль кустов и деревьев. Наконец они очутились у покрытого гравием двора. Старый, может быть, даже пересохший фонтан в пустом бассейне со статуей отбрасывал длинную тень, лунный свет отражался в великолепных стеклах двери.

«Идем!» — шептал Макс и тянул Класа прямо через двор. У Класа душа ушла в пятки, но делать нечего — он следовал за Максом. Ему казалось, что гравий громко

шуршит под ногами; в каждом из кустов, огораживающих двор, Клас видел обращенное к нему дуло винтовки. Наконец они достигли двери. Макс толкнул ее ногой, и дверь с громким скрипом открылась. Спина у Класа покрылась холодным потом.

Они вошли в сумрачное помещение, пахущее пустотой и заброшенностью. На противоположной стене, в четырехугольнике падающего в окно лунного света была черная доска с приколотыми к ней какими-то бумажками. В углу прихожей два опрокинутых стула, и пол казался грязным — покрытым высохшим в жару слоем слякоти.

«Пойдем наверх!» — сказал Макс, и его голос, хоть и не громкий, совсем не казался шепотом. «Я тебе покажу, где я сидел и учил таблицу умножения».

Клас последовал. Он теперь только то и делал, что приказывал Макс, раскрыть рот у него сил не было. Поднявшись на второй этаж, они шли по коридору, и расшатанные половицы скрипели как сумасшедшие. Клас про себя прощался с жизнью. Это казалось несомненным — их заметят, и дело с концом. Однако ничего не случилось.

«Тут, — сказал Макс, и в его голосе послышалась бархатистая нежность, — тут я тебе кое-что покажу. Кое-что, ради чего я шел сюда». Они были в конце коридора, где был крутой поворот, ведущий к небольшому балкону. И тут Клас не выдержал:

«Не пойдем на балкон! Хватит! Если нас еще не заметят, то хоть в самый огонь не полезем!»

«Неужто ты в самом деле надеешься уйти отсюда живым?!» — с издевкой спросил Макс, и в его руках блеснуло лезвие ножа.

«Но ты обещал . . .»

«Не глупи. Отсюда мы никуда не пойдем. Будем сидеть, пока не умрем — так близко от дома. Ты мне поможешь скоротать время. Знаешь, — Макс вдруг остановился и посмотрел в сумерках на Класа, — если я умру первый, ты мне глаза не закрывай. Я хочу поглядеть на свой дом еще и после смерти. А как мне поступить с тобой?» — спросил он.

«Отпусти меня», — молил Клас.

«Ты же не знаешь дороги. Я тебя сюда привел, потому что уже бывал здесь. Я знаю тропинку. Весь сад за школой заминирован».

«Господи!» — выдохнул Клас.

«Не поможет!» — сказал Макс.

«Макс, — еще раз попытался Клас, — проводи меня обратно, а потом оставайся здесь. Я тебя понимаю . . .»

«Как ты можешь понять, если ты ничего не знаешь! Пойдем, я тебе покажу, расскажу. Завтра тоже день, и послезавтра . . . Если я умру первый, ты сможешь уйти. Но захочешь ли?»

«Макс, я прошу . . .»

«Не глупи, пойдем! — и Макс потащил Класа к балкону, медленно, медленно он открыл белую дверь. — Смотри!»

С балкона тянуло неприятным запахом, и в одном из углов его Клас разглядел несколько бесформенных теней, похожих на брошенные мешки.

«Макс, что это?» — в отчаянии прошептал Клас.

«Это мои, те, что были на этой стороне. Человек не должен уходить из своего дома, он должен оставаться — по крайней мере — вблизи от него. Я их сюда принес, хоть они и не хотели. Когда не пошли живыми, я их этим, — и Макс приставил нож к груди Класа. — Чик — и потом притащил сюда. Сестру не мог найти — что ж, пусть остается — на развод! Я пришел и останусь. — Милый друг, — он говорил как во сне, — ты ведь останешься? Да? Это не больно — только чуть-чуть . . .»

«Но . . .» — Клас еле владел собой, ему было теперь ясно, что с его попутчиком. Он старался говорить спокойно: «Макс, но я ведь должен помочь тебе скоротать время. Ты сам сказал, что тебе будет скучно».

«Да, это верно. Как я мог забыть!» — Макс провел лбу второй ладонью. — Но обещай тогда одно — что останешься и после этого! Ты побежишь обратно, наскочишь на мину и погибнешь. Здесь ты будешь жить вечно. Чу! Слышишь?»

«Что?»

«Марта зовет . . .»

«Марта?»

«Ну да — малышка Марта. — Ах да, ты же ничего не знаешь. Пойдем!» — и он потащил Класа назад по скрипящему, ноющему полу коридора. Открыл какую-то дверь, за которой в ночном полумраке как таинственные птицы замерли в два ряда школьные парты. Перед ними, на кафедре, был графин, только пустой. Учительский стул исчез.

«Здесь, — он указал на предпоследнюю парту. — Мне было тогда шестнадцать лет, а ей четырнадцать. Мы сначала даже не знали, что это так чудесно . . .»

«Но кто тебя звал?» — говорил Клас, он вовсе не слушал, что рассказывает Макс. Единственной мыслью было оттянуть вопросами время.

«Марта. Я же сказал».

«Но ее же тут нет!»

«Не болтай, бесстыдник!» — взревел вдруг Макс и набросился на Класа.

Одним прыжком Клас перемахнул через порог, захлопнул дверь — Макс со всей силы врезался в старые доски. Клас держал ручку, сжав обеими руками. Потом нащупал пальцами прохладный, кругловатый ключ. Клас повернул ключ. Раз, другой. Дверь была заперта.

С минуту Клас стоял, как парализованный. За дверью кричал Макс, но тут же его крики затихли, и Клас услышал полуспуганный шепот:

«Марта, я больше так не буду!»

Клас повернулся и бросился бежать. Он чуть не пролетел мимо лестницы, потом бросился назад и одним махом спустился, перепрыгивая через три ступени.

Выскочив во двор, Клас на секунду остановился. В доме все было тихо. Странное чувство охватило Класа — непонятное, безудержное любопытство. Он кошачьей походкой подкрался к живой изгороди, раздвинул увядшие от долгой сухости ветви акации, сделал еще полшага — и перед ним открылось ровное поле, в противоположном конце которого сиял в лунном свете белый, побеленный известью дом. Все там было тихо; и даже отсюда видно, что хутор пустой и заброшенный, двери висели на петлях; и оконные стекла выпалились — сами по себе или разбитые чьей-то рукой. Там искать было нечего, там все, конечно, было пустынно и тихо, разграблено до последней крохи.

Медленно отпустив ветви куста, Клас опять прислушался. Тишина. На секунду ему пришло в голову, что это жестоко — бросить здесь Макса, но вспомнив нож в его руке и жестокую хватку, с какой он держал Класа все это время там, на вершине холма — Клас отбросил мысль еще раз открыть стеклянную дверь здания школы. Он пересек двор — и, стараясь припомнить, как они шли сюда, стал прокрадываться под сенью деревьев назад по направлению к дороге.

Несколькими прыжками он преодолел пропылившуюся полосу и одним махом скакнул в углубление под деревом. В лунной тени тут все стемнело, и руки Класа отчаянно старались нашарить брошенный узелок с провизией. Он заметил, что пальцы дрожат. Нашарив грубую ткань мешка, он выпрямился и торопливо, прячась за ствол дерева, отправился к разрушенной стене.

На ярком свете, который проливалось небесное светило, взгляд Класа внезапно уперся в какую-то фигуру, стоящую там, опершись одной рукой о стену, а другую простирая навстречу оборванному бродяге. И тут же Клас узнал свою знакомую — сумасшедшую девушку, о которой думал, скитаясь один по пустым дорогам столь же опустошенной округи, сожалея, что хотя бы ее нет рядом.

«Макс, — шептала безумица, — теперь ты можешь . . . Теперь я уже не буду плакать . . .»

В таком ужасе Клас еще никогда в своей жизни не убегал.

Перевела
ИРИНА ЦЫГАЛЬСКАЯ

ЕЛИЗАВЕТА МНАЦАКАНОВА (НЕЦКОВА)

ДЕТСТВО ОТРОЧЕСТВО ОДИНОЧЕСТВО ЮНОСТЬ ЮДОЛЬ СВЕЖЕСТЬ СМЕРТЬ ОПИСАНИЕ ОДНОЙ ЖИЗНИ БЕЗ СМЕРТИ

Двенадцать маленьких воспоминаний

ВОСПОМИНАНИЕ № 1

И он вспомнил дерево, клен, в лучах долгого солнца и на углу полузабытой в слезах улицы.

ВОСПОМИНАНИЕ № 2

И он вспомнил дерево: клен в лучах длинного солнца на углу позабытой, в слезах, улицы.

ВОСПОМИНАНИЕ № 3

И он вспомнил: дерево клен в лугах дальнего солнца, в лучах дольного света, в свечах длинного солнца.

ВОСПОМИНАНИЕ № 4

На углу полузарытой в следах улицы он помнил дерево клен. На углу дальнего света в лугах солнца.

ВОСПОМИНАНИЕ № 5

На углу улицы он помнил дерево клен. Он помнил его долго, длинно, вечно. Он помнил его из окна: манило, кивало, смеялось, радовало. Из окна детской. Он помнил в слезах дальнего солнца. Он помнил, помнил, поманил, манил длинно, вечно.
Сквозь листву зеленело, сквозило.

ВОСПОМИНАНИЕ № 6

Сквозь листву сквозило, виднелось длинно, виднелось долго: сквозь листву. Он помнил долго, длинно, дивно, давно помнил, далеко, все дальше. Из окна. Окно детства, все дальше, все дольше. Горит окно, горит солнцем на солнце, в лучах долгого солнца, в слезах дольнего солнца. В следах: тень в лучах желтого солнца, следы тени в лучах, вечерюют следы на тротуаре в лучах. Длинно в лучах вечерюют, вечно. Ах, мама, мама, милая, мертвая мама, какая милая! какая мертвая! как длинно в лучах, как долго в лучах помню, манил вечно! И тень, тень долгая, мертвая, длинная тень вечерюет в лучах. Твоя, мама, тень, бесконечная долгая мертвая длинная тень в тени долгого мертвого дерева. Мертвует долго, вечно.

ВОСПОМИНАНИЕ № 7

Долгая та была жизнь, долгая без смерти. И дерево на углу стояло длинно, стояло долго, кивало, радовало. Дерево клен, долгое дерево без смерти.

ВОСПОМИНАНИЕ № 8

А когда-то была у него и любовь в жизни когда-то. Когда-то долго, однажды. Была у него и любовь однажды. Долго это было, длинно, давно, однажды. Зимой была та любовь, зимой длинно. И солнце горело. Вечерним светом вечным горело солнце на окне, на стекле, на окне стекла, на стекле окна горело.

На солнце стекла зажигалось, алело, гасло безмолвно. Была и любовь.

ВОСПОМИНАНИЕ № 9

Из окна детства комнаты помнил долго давно дивно помнил дерево клен: клонило дерево, клонило, выпрямляло, стояло, помнило. Манило дерево, помнило. И он помнил дерево, в лучах, в лугах дольнего дивного солнца. Цвело дерево, цвели, веселились дети в лугах. Чьи дети? Он забыл. Не помнил.

ВОСПОМИНАНИЕ № 10

И свечи горели когда-то. Золотым огнем вечного солнца. На окне детства сияли, гасли безмолвно. И любовь. Ведь была и любовь у него в детстве однажды. Зимним солнцем горело окно, алело дальше, все дальше. Долгая любовь та была, вечерняя, вечная. И окно вечерним вечным светом пламенело, жгло. Вечным светом.

ВОСПОМИНАНИЕ № 11

Долгая та была жизнь, жизнь долгая: без смерти. И дерево бесконечное дерево без смерти: на углу солнца. Так и простояли оба без смерти. И тень. Тень длинная, вечерняя, вечная. Тень в тени дерева. И обе тени в тени траура, тротуар в тени. Ах, мама, длинная, долгая твоя тень на трауре, долго лежит, долго бежит, выпрямляется. Выпрямляется дерево, дерево на солнце, горит, зеленеет, дрожит. И след. На тротуаре. Траурный след. И в слезах позабытой улицы. Позабытой кем-то улицы в слезах.

ВОСПОМИНАНИЕ № 12

Долгий то был свет: длинное солнце. Вечерюет тени в тени бесконечно. И бегут, бегут бесконечно: тень длинная, долгая, бесконечна та тень. В тени безвозвратной.

И он вспомнил дерево клен или кедр кипарис или куст или дерево на углу забываемой кем-то улицы.

Вена 24—26 марта 1978

расколотым надвое герепом
суженным

тебе улыбаюсь тебе улыбаюсь

тебе тебя тобой тобой
улыбаюсь

расколотым надвое надвое суженным
тебя тобой тебе тобой тобой тебя
улыбаюсь тобой удивляюсь тобой
удивляюсь

мы прекращаем
нас продолжает

любовь нас

расколотым надвое надвое суженным
тебя тебе тобой тобой тобой тебе тебе тебе тебе тебе
продолжаю тебе тебе тобой провожаю

тебе тобой тобой улыбаюсь тобой тебе

любовь продолжается

мы прекращаемся
тебе улыбаюсь тебе упование

расколотым надвое
надвое надвое

любовь продолжается

мы прекращаемся

я прекращается ты прекращаемся
любовь продолжается любовь продолжается

ты пре кра щается ты пре
сны и я пре кра шны

щается лю пре
дось кра щается

ищется пре щается
ищется пре щается

расколотым надвое герепом суженным
тебе улыбаюсь тебе улыбаюсь

тебе тебя тобой тобой

улыбаюсь

удивляюсь тебе удивляюсь тебе
удивляюсь

мы прекращаем
нас продолжает

любовь нас

расколотым надвое герепом

надвое

тебя тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе

продолжаю провожаю

тебя тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе тебе
улыбаюсь удивляюсь

тебя

расколотым надвое герепом

тебе улыбаюсь тебе улыбаюсь

тебе

тебя

тобой

улыбаюсь

тобой

тебе улыбаюсь тебе удивляюсь

мы прекращаем

нас продолжает

любовь

нас

расколотым надвое герепом
надвое

тебя тебе тебе тебе тебе

продолжаю провожаю

тебе тебе тебе тебе тебе

улыбаюсь удивляюсь

тебя

суженный
судорожно
судорожно
безудержно
бережно
безбрежно
безоружно
судорожно
суженный
суженный
осужденный
осужденный
о суженный
о суженный
безудержно
безудержно
безоружно
безоружная
суженный
безудержно
безудержно
безудержно
суженный
суженный
суженный
о суженный
осужденная
суженный
осужденный
о суженный
осужденная

E.M.

ДМИТРИЙ СПИВАК

МАТРИЦЫ: ПЯТАЯ ПРОЗА?

ФИЛОЛОГИЯ ИЗМЕНЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

Обычным днем 18... года с американским джентльменом по имени Джеймс случилось невероятное происшествие. Среди повседневных дел, в течение краткого момента, в его душе произошло нечто вроде землетрясения. Впустую потраченные годы, бессмысленность нынешней жизни, предчувствие приближающегося конца, о которых он раньше не думал, представились ему воочию. Перед внутренним взором несчастного разверзлась бездна, одного взгляда в которую хватило, чтобы разбить его личность вдребезги. На то, чтобы хоть как-то собрать осколки и восстановить прежний образ жизни, нашему герою понадобилось несколько лет. Оба его сына росли, зная, что может произойти с самым уравновешенным джентльменом; но происшествие напоминало им о себе и непосредственно, легонькими толчками — то ночным кошмаром, то странным перепадом настроения.

Само же переживание не было исключительным. Оно случается достаточно часто. Исключительным было время. Есть основания полагать, что старый порядок вещей — не столько в сознании, сколько в подсознании общества, и даже в еще более глубоких и темных местах — наконец распался, а составляющие его элементы стали располагаться в новом порядке. Процессы такого рода фундаментальны, а потому проходят неспешно. Нам, уже явственно ощущающим на своих лицах холодное дыхание *gerum novarum*, еще трудно соотносить их с ростками нового среди окружающих нас традиционных форм. Сотню же лет назад это было еще труднее, и для предупреждения о том, что начались причудливые сдвиги, визионерам приходилось конструировать гротескные формы, наподобие бала Лембков, или — позже — Замка, интересующего одного землемера.

Семья Джеймсов и интересна своей, так сказать, парадигматичностью. В ней были опробованы наиболее целесообразные способы освоения нового духовного опыта. Отец пришел к выводу, что на мгновение попал в когти дьявола, и склонился к традиционной религиозности в ее оккультном варианте, созданном трудами Эммануила Сведенборга.

Младший сын склонился к искусству: его наполненная смутными сумеречными переживаниями повесть «Поворот винта» справедливо считается шедевром. Конечно, мы говорим о классике американской литературы Генри Джеймсе.

Что же касается старшего брата, то он обратился к наукам. Поскольку то, чему его научили, не объясняло ни как происходят катаклизмы в подсознании, ни того, что с ними делать, пришлось придумать совсем новую науку. Так проблематика измененных состояний сознания была введена великим американским психологом Уильямом Джеймсом. В его базовом определении еще сквозит непосредственное переживание, как это часто бывает у основателей: «наше нормальное бодрствующее сознание, разумное сознание, как мы его называем — это не более чем один особый тип сознания, в то время как повсюду вокруг него, отделенные от него тончайшей преградой, лежат потенциальные, совсем другие формы сознания. Мы можем прожить жизнь и не подозревая об их существовании; но стоит применить уместный стимул, и они появятся во мгновение ока и во всей полноте, — определенные типы умонастроения, которые, возможно, где-то могут быть применены и приспособлены».

Не следует думать, что Джеймс был первым. Еще за столетие до него звуки нового порядка, пошедшего в рост, расслышал венский целитель Франц Месмер. Он даже наметил общие контуры теории магнетического флюида, пульсации которого и влияют на наше сознание. Чтобы попасть с ними в тон, он придумал стеклянную лютню, звуками которой сопровождал лечение.

Месмера призвать к порядку было сравнительно просто. Достаточно было приговора Парижского университета, аттестовавшего состояния, с которыми он пытался работать, как «опасные катаклизмы способности воображения». С Джеймсом было несколько сложнее. Его взглядам на сознание было отведено место скорее на периферии традиционной науки. Это дало впечатление, что покой восстановлен.

А затем тронулась лавина. Психоактивные вещества вошли в ежедневный быт большинства людей (начиная с обычного

снотворного). Наркомания и токсикомания сформировали образ жизни значительной части молодежи. За несколько последних десятилетий только на западный рынок было выброшено более 38.000 методов самоусовершенствования — каждый со своей психотехникой.

Все названные факторы — и связанные с ними десятки других — уже явно указывают на то, что в недрах коллективного подсознания заработало нечто вроде вулкана. То, что измененные состояния сознания приобрели геополитическую роль — лишь самый заметный и отнюдь не самый значительный результат его появления.

Впрочем, у традиционной науки все это не вызвало беспокойства. Было написано много книг и статей, разъяснявших, что у сознания есть одна норма, которая имеет место быть всегда. Все же прочее — отклонение от нормы, патология. Поэтому одни измененные состояния сознания нужно лечить, другие — вызывать с лечебной целью, а остальные желательно запретить. Ученым пошла навстречу, что обогатило медицину междисциплинарными разделами, а законодательство — новыми статьями.

Исследователи нетрадиционного направления придерживаются по этим вопросам противоположного мнения. Их общий дух хорошо выражают слова Джеймса, приведенные нами выше. Конкретные же приемы автору удобнее рассмотреть по данным собственных исследований, проведение и публикации которых он посвятил последние десять лет.

В этом исследовании изучалось то, как более 2 тысяч человек проходили измененные состояния сознания. По происхождению состояния были естественно возникшими (обычно при жизни и труде в необычных условиях, например, в горах, в море, на полюсе); искусственно вызванными (в основном при приеме психоактивных веществ, к примеру, при операционном наркозе); и наконец, промежуточными (преимущественно при занятиях психотехниками, например, гипнозом или йогой). Основное внимание (по сравнению с физиологией и психологией) уделялось записи речи. Ведь, по тонкому замечанию одного из классиков лингвистики, язык и сознание представляют как бы две стороны одного листа бумаги.

Главной тенденцией у большинства наблюдавшихся было то, что по мере изменения сознания язык тоже менялся, довольно живо, но отнюдь не хаотически. Напротив, на каждом крупном измененном состоянии люди как будто предпочитали определенные слова и грамматические формы. Когда заметок такого рода накопилось достаточно много, получилось как бы по разговорнику для каждого крупного измененного состояния. Если использовать такой разговорник для беседы с людьми, находящимися как раз в этом состоянии, то качество общения улучшается на глазах.

Не следует, впрочем, думать, что в таких разговорниках было что-то экзотическое. Это был тот же русский язык, в общем понятный (как нам понятна речь очень усталого, или, скажем, подвыпившего человека). Но логика, лежащая в его основе, была существенно сдвинута, и выражалось это в десятках тонких перестроений, вроде изменений в употреблении падежей, глагольных времен, в структуре предложений. Составить по данным разговорников серию грамматик было уже делом техники. Но это означало, что под поверхностью русского языка скрываются другие — «русский-I», «русский-II», «русский-III»... — каждый из которых в определенный момент выныривает на поверхность, чтобы взять на себя мышление и общение. Следовательно, при самых сложных нагрузках сознание не деградирует, а гибко манипулирует разными логиками — своеобразными, однако нормальными для данных условий.

Но это — лишь самая общая схема. Ведь глубинных «русских языков» все-таки конечное число, а вариаций, возникающих от того, какова конкретная причина возникновения измененного сознания, темперамент, пол, возраст, и десятки других факторов, большинство которых нам пока неизвестны, — бесконечно много. Если обозначить каждый глубинный «язык» чем-то вроде костяшки домино, то любой процесс изменения сознания можно представить определенной последовательностью этих костяшек. И таких партий в до-

мино, которые каждый из нас играет со своим сознанием, необозримо много. В собранном нами материале есть самые причудливые цепочки: одни обходятся узким набором постоянно повторяемых костяшек, другие на каждом ходу вводят новую костяшку, третьи образуют замысловатые циклы... И за каждой стоят переживания конкретного человека.

Сравнивая цепочки, мы заметили, что многие их отрезки совпадают. Более того, целые группы цепочек представляют собой вариации одной и той же партии. На бумаге она выглядит как цепочка костяшек, во многих местах разветвляющаяся на целый пучок вариантов, но в ключевых точках — особенно в дебюте и эндшпиле — единой.

Поскольку между такими «большими» партиями тоже обнаруживаются схождения, объединение можно продолжить и на них. В результате все цепочки объединяются в схему, очень напоминающую карту дорог в пересеченной местности.

Но ведь дороги прокладываются в зависимости от рельефа. Скажем, в степи они могут идти как угодно, в горах — по немногим перевалам, а в озере их быть не может. Так, может быть, и человеческое сознание представляет собой нечто вроде поля с довольно сложным рельефом? Тогда сознание отдельного человека можно сравнить с каплей, стряхнутой на это поле в момент рождения. Она может на всю жизнь остаться в той же точке — и человек будет считать, что есть лишь одна норма, либо она может пропутешествовать под воздействием множества факторов по всему полю — и человек будет переживать то творческие кризисы, то внезапные озарения — тем острее, чем больше этот путь отклонится от неаезженной колеи.

Положительно, в этой идее что-то есть. В ее пользу говорят наблюдения над речью людей, придерживающихся особо своеобразного образа жизни (скажем, пожилых горцев), либо адептов архаичных психотехник (к примеру, некоторых школ суфизма). При изменении сознания их путь часто проходит по тем зонам поля сознания, где он теоретически вполне возможен, но у обследованных нами обычных городских жителей почему-то не наблюдался. Тогда сознание всех людей едино в потенци, но на практике каждая крупная традиционная культура регламентирует обращение с ним на свой лад. Такой вывод весьма правдоподобен.

Значительно менее объяснимы некоторые процессы, зарегистрированные нами в наиболее труднодоступных зонах поля сознания. Немногочисленные люди, добравшиеся до них, обычно жаловались на какие-то сбои ритма мышления и общее ощущение подавленности, а наши тесты как бы зашкаливали, регистрируя то разрывы, то немотивированные «перескоки» в цепочках данных. Возникает впечатление, что в этих зонах происходят спонтанные преобразования самого рельефа, возникают трещины и провалы. Если в самой глубине общественного сознания происходят такие массивные сдвиги, то это может объяснять возникновение ряда кризисных, внешне не связанных между собой, процессов в нашем образе жизни, и заслуживает серьезного внимания. По-видимому, весьма целесообразной была бы подготовка специалистов, которые спускались бы к этим слоям с целью их внимательного обследования, а в дальнейшем, может быть, и починки. Людей, склонных к такого рода деятельности, можно было бы набрать среди публики типа самодетельных йогов. Они рождены для, в принципе, редкого дела — работы со своим сознанием. Но, поскольку их способности обществу не нужны, они занимаются этим без толку, на свой страх и риск, и в итоге обычно портят здоровье. Не считая вероятным скорое разветвление этих работ, мы полагаем необходимым подготавливать для них предпосылки. А это — прежде всего накопление знаний о том, возникали ли такие проблемы у культур прошлого, и как они их решали.

... «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир». Да, Блок был прав. В его спокойных словах

из Пушкинской речи 1921 года отражается первое чувство визионера, покинувшего узкую скорлупу привычного сознания и вышедшего на широкие просторы духа. Следующее чувство, которое часто появлялось у людей, проделавших этот путь — ощущение слабости нашего бедного языка, не предназначенного для разговора с этой стихией, или хотя бы о ней.

Это второе ощущение ошибочно. По общему мнению ученых мужей древности, которых нельзя упрекнуть в недооценке сложности предмета, говорить о нем можно много и с пользой. Другое дело — что говорить следовало до известного предела — далее начиналась область сложной и тонкой деятельности, которую греки условно называли учением о безмолвии. При упоминании о нем загорались глаза таких тонких ценителей, как Прокл или Ямвлих. Но они же были бы очень удивлены, если бы мы обратились к безмолвию, не исчерпав возможности речи.

Для этой цели мы предложили особую дисциплину — филологию измененных состояний сознания, введением в проблематику которой послужили несложные наблюдения, о которых говорилось выше. По-видимому, реконструированное по их данным поле сознания представляет собой нечто большее, чем научную фикцию. Иначе прогнозы протекания изменений сознания у конкретных людей, вынесенные на основании его структуры, не оправдывались бы. Между тем, по мнению независимых наблюдателей, они сбывались с удивительной вероятностью. В языке же, как мы помним, поле сознания отражается в виде ряда «глубинных языков».

Следовательно, в первую очередь нашего внимания заслуживают тексты, состоящие из ряда слоев, каждый из которых построен по особенным, только ему присущим правилам.

Задача может представиться схоластической или даже утопичной. Но это не так. Наша культура располагает такими «многослойными» текстами; только в силу ее небрежения, они вытеснены на самую периферию. Как правило, это — тексты, связанные со сном. Некоторую пищу для размышлений предоставляют даже простенькие колыбельные. Ведь их основная задача — перевести слушателя в измененное состояние сна, или проще говоря, убаюкать его. В гораздо более систематичном виде послонные структуры употребляются в аутобреннинге.

Сам метод общеизвестен, и, пожалуй, клонится к закату. Что же касается текста, который проходит при его освоении, то он до сих пор не привлекал особого интереса филологов. Между тем, при кажущейся простоте, он весьма любопытен. ¹Руки тяжелеют и теплеют. ²Ноги тяжелеют и теплеют. ³Живот теплеет. ⁴Руки тяжелые, теплые. ⁵Ноги тяжелые, теплые. ⁶Живот теплый. ⁷Руки . . . тяжесть . . . тепло. ⁸Ноги . . . тяжесть . . . тепло. ⁹Живот . . . тепло». Вот, собственно, и все. Цифры, конечно, читать не нужно: мы их ввели для удобства. Пользуясь ими, мы можем дать наглядную схему текста:

123

456

789

По мере освоения метода мы проходим эту схему строка за строкой, учась вызывать у себя соответствующие ощущения. Но виртуозы этого дела могут заставить зазвучать всю схему сразу (так опытный дирижер, просматривая партитуру, сразу слышит голоса всех инструментов). Главный секрет этой схемы можно заметить, просмотрев любой столбец сверху вниз: в каждой строке говорится то же самое, что и в соседней, но с другой грамматикой.

Иначе говоря, каждая строка составлена по законам некоторого «глубинного языка». Поэтому систематические занятия по схеме и воздействуют на сознание. Конечно, приведенный нами текст — не более чем пример, на практике количество и строк, и столбцов может существенно варьироваться. Главное — что до тех пор, пока ведется систематическая работа с «глубинными языками», текст всегда распадается на слоги, и поэтому может быть записан в виде таблицы. Но раз эти языки повторяют строение поля сознания, то и структура этой таблицы прямо его отражает (конечно, с преимущественным вниманием к тем зонам поля, с ко-

торыми ведется работа). Располагая таблицами такого рода, принятыми определенной культурой, мы можем только путем их грамматического разбора, не нуждаясь в непосредственном наблюдении, установить строение создавшего эту культуру поля сознания.

Для таких текстов мы предлагаем особый термин — «матричные», и предлагаем считать их особым родом словесности. Дело в своеобразии их структуры. И в поэзии, и в прозе наберется немало текстов, так же густо пронизанных параллелизмами. Дело в их функции — в том, что матричные тексты снимают с речи заклятие произвольности. Ведь если в повседневном состоянии мы скажем или прочтем в книге: «Я засыпаю», то мы сотрясем воздух, получим эстетическое либо познавательное впечатление, но не заснем. Напротив, если в состоянии, измененном прохождением матричного текста, мы внушим себе: «Я засыпаю», то именно это и произойдет. Матричный текст не рассказывает о некотором отрезке реальности, а прямо повторяет всеми своими изгибами ее строение. При правильном чтении мы попадаем в резонанс с этим отрезком реальности и изменяем его. Собственно, текст не читается, он исполняется, сбывается, может быть — творится (в смысле старого выражения «творить молитву»).

Для современной филологии такой предмет непривычен. Тем не менее, он имеет свою, весьма долгую и почтенную историю. Не случайно на первых страницах курсов истории языкознания мы традиционно знакомимся с диалогом Платона «Кратил». Главное, что хочет установить ведущий диалог Сократ, — произвольно ли связан язык с реальностью, или между ними существуют прочные связи. Проблематику диалога часто сводят к теории звукоподражания. Между тем, она значительно более тонка, а вывод, к которому приходит Сократ, совсем нетривиален. Он склоняется к тому, что в словаре и грамматике существуют некие оттиски реалити, что различие их — всамделишное, хотя и трудное, ремесло, и что владеющий им муж, употребляя язык, будет разбирать самую сущность вещей.

Одним из плодотворных направлений разработки этого круга идей стала теория теургии. Устанавливая ее в трактате «О египетских мистериях», Ямвлих указывает, что весь мир пронизан мощными силовыми потоками (энергиями). Если построить речь строго по их пропорциям, «подражая природе вселенной и демиургии богов», она усилится настолько, что способна будет управлять протеканием природных явлений — повелевать демонами.

На отечественной почве взгляды такого рода претерпели собственное длительное развитие. В последний раз их разработка оживилась в начале нашего века, в так называемом учении имеславия, пользовавшемся поддержкой таких серьезных теоретиков, как П. Флоренский. По мысли его приверженцев, язык наш неоднороден, в нем есть слова и способы их произнесения, в которых погусторнее присутствует непосредственно. Правильно употребляющий их человек сливается в буквальном смысле слова с их божественным денотатом.

Наш беглый обзор фрагментарен. Историку философии не составило бы труда дополнить его очевидными именами и теориями. Менее очевидно то, что теории оказали прямое воздействие на литературную практику. Примером возьмем древнерусское «плетение словес» — чтобы читатель мог попробовать тексты в собственной медитации, не опасаясь ошибок переводчика. Матрицы используются здесь экономно, но всегда с исключительным художественным эффектом. Автор спокойно плетет житие, мысль движется тяжело и ровно, наконец, он подходит к месту, где нужно сказать о «несказуемом», внедрить его как образец в сердце читателя. Текст начинает набухать, топчется на месте — и вдруг разламывается на слитки матрицы: «. . . ¹место то было прежде лес, ²чаща, ³пустыни, ⁴идеже живяху зайци, лисици, волци, ⁵иногда же и медведи посещаху, ⁶другоици же и бесы обретахуса, ⁷туда же ныне церковь поставлена бысть, ⁸и монастырь велик възгражен бысть, ⁹и инок множество съвокупися, ¹⁰и славословие и в церкви, ¹¹и в келиах, ¹²и молитва непрестающа . . .» (орфография здесь и далее упрощена).

Схема этого текста из Епифания Премудрого, конечно:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

Просматривая матрицу по строкам, сверху вниз, мы видим стройное движение от дикости к культуре (поддержанное изменением грамматики, особенно сказуемого). По строкам, слева направо, мы переходим от повседневного — к необыкновенному. А в целом эти четыре тройки укореняют в сознании читателя образец правильного действия, внесения порядка в мир, разобранный на примере основания монастыря.

Посмотрим, как эту тему разрабатывает другой мастер «плетения словес» — митрополит Киприан: «... ¹и исходит убо от обители, ²и обходит округи места пустыннаа, ³и обретает место безмолвно на реце нарицаемыа Райта; ⁴и ту жилище себе водружает, ⁵и труды многы подъямет, ⁶и болезни к болезнем (усилия к усилиям — Д. С.) прилагает, ⁷и поты проливает, ⁸и церковь воздвизает во имя спаса нашего Иисуса Христа, ⁹и келии воставляет в пребывание преходящей к нему братии».

Схема текста: 1 2 3 Как видим, она чуть труднее, но
4 8 9

5 6 7 разбор по строкам и столбцам проясняет для нас неявные смыслы. К примеру, очевидный параллелизм предложений позволяет предположить: автор усложнил текст, чтобы центральное для него понятие (фраза 8) пришлась бы в центр матрицы.

В матричном тексте происходит как бы обновление языка. Играет все — предлоги, приставки, окончания. Рассмотрим еще одну обработку темы Епифанием: «¹Обходиста по лесом многа места ²и последи приидоста на едином месте пустыни, в чащах леса, имуща и воду. ³Обышедша же место то и възлюбиста е, паче же богу наставляющу их. ⁴И сътвориша молитву, начаста своима рукама лес сеци, и на раму своею бервьна изнесоша на место. ⁵Прежде же себе сътвориста одрину и хизину ⁶и покрыста ю, ⁷потом же келию едину създаста, ⁸и обложиста церквицу малу, ⁹и срубиста ю».

Очевидно, схема: 123 Другие разложения текста не обла-
456

789 дают такой цельностью и гармонией. Но чтобы его открыть, мы должны в каждую клетку поместить ровно по одной глагольной форме на «-ста». Дело в том, что передаваемое ими двойственное число ко времени написания текста исчезло из разговорной речи. Это сделало их яркими, бросающимися в глаза. Естественно, что автор предпочел опереться на них, чем на менее заметные формы.

Лежащая в основе текстов матрица делает мысль упорядоченной, но не примитивной. Неограниченные возможности их усложнения по горизонтали и вертикали — так сказать, мелодии и гармонии — способны передать самые тонкие оттенки мысли. А ведь матрицы еще и сцепляются, и прорастают в другие размерности, превращаясь из плоскости в «матричный куб», в «ленту Мёбиуса», в другие, уже не представимые наглядно формы. Носителю современной культуры уже трудно себе представить, какой утонченной была соответствующая им медитация. Для нас, привыкших к тому, что наука не имеет отношения к нравственности, легче оценить другое. У матричных текстов нет этой червоточины, поскольку познание в них гармонизировано с глубинными токами бытия, и поэтому нравственно.

Матрицы существовали и в других культурах. В истории переоткрытия этого рода словесности, которая когда-нибудь будет написана, почетное место займет работа ленинградского китайиста В. С. Спирина. Не располагая никакой предварительной информацией, он просто читал основополагающие для китайской традиции труды Конфуция и Лао-цзы. Обнаружив, что ему что-то мешает при их обычном, «линейном», чтении, ученый стал разрезать текст, подставлять одинаково построенные отрывки друг под друга, и читать их сверху вниз, слева направо, а потом и вглубь. Разумеется, что тексты сильно укорачивались, но приобретали кристальную четкость. Перелистывая страницы книги «Построение древнекитайских текстов» (1976), мы можем убедиться, что перед нами действительно матричные тексты.

Позднее матрицы были выделены и в текстах индийских упанишад, и в латинских трактатах викторинской традиции. Поспешим оговориться, что общим в них является не более чем сам принцип матричного развертывания, — поскольку он опирается на такую базовую закономерность, как слоистость сознания. Все остальное различается довольно сильно. В этом можно убедиться, просмотрев переводы текстов с более подробными комментариями, приведенными в нашей книге «Язык при измененных состояниях сознания» (1989). А нас интересует более практическая проблема. В самом деле, прочитав только что матричные тексты, читатель почувствовал, что это — странная литература, но никакого изменения сознания у него не произошло.

В чем же дело? В том, что до сих пор мы говорили о внутренних механизмах, о языке, а сейчас должны перейти к внешнему — к речи. Это — предмет совершенно особой теории — риторики измененных состояний сознания, и первое понятие, которое она вводит, — тип чтения. В самом деле, читать эти тексты так, как мы привыкли в нашей культуре, бесполезно. То, что мы поняли текст, и даже начертили матрицу — еще ничего не значит. Его нужно разучить наизусть и повторять часто, постоянно, сосредоточенно, совмещая строки матрицы с ритмами дыхания.

По поводу этого типа чтения древние имеют много что сказать. Достаточно указать на теорию «джапа», определяющую тип чтения в традиционной индийской культуре. Русские также давно знали, что нужно «не токмо написанное чести, но и творити я», пользоваться себя текстами. Доказательством правильности текста в этой системе служит не то, что мы с ним согласны, но что нам с ним хорошо жить, что он у нас на устах. Матрицы как бы перелистываются в сознании читателя, структурируя весь опыт, который он получил или получит. Читатель становится ходячим текстом, продолжает его в новых ситуациях, незаметно становится и автором. Точнее, после того, как кристаллик матрицы, брошенный в душу, разросся, читатель и автор сливаются в единое целое. Как знают литературоведы, такие тип чтения и тип авторства весьма архаичны. Но, может быть, для преодоления теперешнего духовного кризиса стоит возвратиться к некоторым очень старым моделям.

Архаичные средства просты, но сильны. Так и матрицы: укрепившись в словесности, они разрастаются на смежные области культуры. Так, появившись в латинском средневековье, они заразили матричностью музыку, придав существенный импульс возникновению полифонии. В славянском средневековье это влияние направилось в другую сторону — на изобразительные искусства, повлияв на выработку знаменитого плетеного орнамента. Сам Епифаний Премудрый не считал за потерю времени и труда выполнить эту «зримую партитуру», чтобы поместить ее перед началом своего плетеного текста. Высказано предположение, что эта «плетенка» могла играть роль путеводителя по сложной структуре текста.

Как видим, в первом случае матрицы распространились на область искусств, связанных со слухом, а во втором — искусств, связанных со зрением. В этом нет ничего удивительного. Смежные с речью знаковые системы способны и сами по себе вызывать измененные состояния сознания. Для музыки это положение не нуждается в особых доказательствах (вспомним о тех же рок-концертах), в изобразительных искусствах это доказано для некоторых сочетаний цветов, но прежде всего — для орнамента. Если внимательно разглядывать некоторые его типы, происходит изменение сознания. К примеру, в возникшем несколько десятилетий назад «аблационном автогипнозе» для этой цели используется фигура из ряда концентрических кругов с точкой посередине.

То, что каждая культура здесь выбирает свое, лишний раз свидетельствует, что поле сознания в каждом случае устроено немного по-другому. Это — перспективное направление теории.

Для практики отсюда тоже есть важный вывод. Если под языковую матрицу подложить еще одну — звуковую или зрительную — то их способность изменять сознание сложит-

ся, а может, и умножится. Настолько, что для достижения вполне глубоких измененных состояний достаточно будет просто внимательно слушать и смотреть, не прибегая к активной регуляции дыхания и собственному чтению. Как это делать — зависит от типа слушателя (зрителя).

Если у него больше развито слуховое восприятие, то лучше положить матричный текст на музыку. Только чтобы внимание не отвлекалось на фиоритуру, чтение должно балансировать на границе пения, все же не переходя в него. Особо полезными здесь могут быть такие жанры, как речитатив и мелодекламация. В наши дни они недооценены и полузабыты. Не так было в старину, когда они применялись для исполнения максимально почитавшихся сакральных текстов. Некоторое представление об этом может дать так называемое «наречное» чтение, сохранившееся в православной литургии. Если верить реконструкциям историков, это своеобразное «живое ископаемое» сохранило некоторые черты фонации элевсинских мистерий и текстов Геркалита.

Для тех, у кого больше развито зрительное восприятие, матричный текст придется компоновать в единое целое с изображением (на манер хотя бы старых китайских картин). Чтобы живописные эффекты не отвлекали внимание, придется ограничиться скромной гаммой и строгими элементами или арабесками. Кстати, в той мере, в какой это можно передать движениями тела, на помощь может прийти еще одна группа недооцененных современностью жанров — пантомима и мелопластика. Балансируя на грани танца, но не переходя в него, они способны произвести гипнотическое впечатление.

Разумеется, возможны и другие системы — прежде всего, запахов. Сейчас они совсем не развиты (как слабый отблеск былой утонченности сохранилось разве что каждое фирма в церквях), но при некоторой поддержке они вполне способны занять прочное место в культуре. Тогда матричный текст сопровождался бы чем-то вроде «симфонии запахов». Поначалу аудитория состояла бы преимущественно из женщин, в силу того, что их восприятие наиболее подготовлено к этому, благодаря пользованию духами.

Как видим, все складывается логично. Единственную трудность может представлять лишь предварительный отбор зрителей по типам восприятия. Но ведь нас никто не заставляет этого делать. Кто мешает объединить музыкальный, речевой, образительный и другие ряды в одно целое, и этим заведомо удовлетворить любой вкус? Так мы приходим к синтезу искусств, близкому к театру. Попробуем представить себе его.

... На затемненной сцене в изощренной пластике передвигаются актеры. Затягивающие взгляд узоры их костюмов, и, возможно, масок повторяют изгибы декораций. Под едва намеченную, гипнотичную музыку они выпевают свои реплики, заботливо интонируя каждый слог, сверкая неожиданными тембрами, снова и снова возвращаясь к ключевым словам темы, идущей к кульминации.

Разумеется, такая игра предъявляет особые требования к актерской технике. Ближайшей параллелью может служить традиционный восточный театр, или система Гордона Крэга. Не все драматические актеры окажутся готовы к такой игре. Поэтому на первых порах ее можно будет ограничить тренингом актера, оставив большую сцену за идеально приспособленным к ней театром кукол.

Задачи режиссера также изменятся. Уже написать целую пьесу в матричной технике — задача сложная. Что же касается ее согласования с партитурами двигательного, звукового и других рядов, то оно представляет чрезвычайные трудности. Предложить здесь режиссерские находки можно будет нечасто, но зато и цениться они будут на вес золота.

Как видим, мы пришли к концепции зрелища, мало похожего на современный театр. Может быть, стоит ввести понятие театра измененных состояний сознания? По нашему мнению, нет, потому что по сути мы просто вернулись своим путем к очень архаичным моделям театра. Зритель, который придет в него, не будет искать ни новизны, ни развлечения. Но ведь такая публика — плод нового времени, а начиналось все с людей, благоговейно наполнявших амфитеатр греческого театра в ожидании катарсиса. Сознаем, что и мы еще не потеряли надежду сходить в него, благо в современном

театральном процессе есть достаточно студий, которые придут к этому результату — конечно, если дать им волю...

Если нам будет позволено совершенно не относящаяся к делу ассоциация, мы вспомнили бы забавный рассказ из ранней каббалистической литературы. Группа адептов собралась в ветхом домике на окраине селения, чтобы предаться благочестивому созерцанию. То ли учитель был в ударе, то ли сочетание светил благоприятствовало, но упряжающиеся вспарили до таких состояний сознания, о которых и не мечтали. Столпившиеся вокруг поселяне с открытыми ртами наблюдали, как домик ходил ходуном под напором коллективной энергии собравшихся, как крыша приподымалась, чтобы выпустить столб дыма и пламени, и наконец, к полному удовольствию зрителей, как время от времени из хижины выбежал какой-нибудь ученик из тех, что послабже, валился кулем на землю, а отлежавшись, закрывался рукавом от нетерпимого жара и лез обратно в дом — медитировать. Впрочем, вернемся к матричным текстам.

В заключение осталось подчеркнуть, что они охватывают хотя и широкий, но все же ограниченный круг состояний сознания. За его пределами остается достаточно много состояний, требующих совсем других форм организации текста. В духе времени здесь было бы вспомнить об инсайте или оргазме. Не приходится отрицать, что им присущи весьма специфические средства коммуникации, свои «языки». Однако не менее перспективным, хотя и не привлечшим особого внимания исследователей, является изучение другой группы состояний, известных под нечетким названием «скука». По нашим данным, ее структура и типы принимают непосредственное участие в поддержании поля сознания, а также довольно существенно различаются в разных типах культуры. В оценке возможного значения скуки как культурологической единицы мы присоединяемся к незаслуженно обойденной вниманием научной общественности работе Е. В. Завадской (1980).

Задачи принципиально другого уровня возникают при необходимости работы с «силой тяжести», удерживающей индивидуальное сознание на поле сознания. Тексты, которые приходится здесь составлять, весьма экзотичны; некоторое представление о них может дать теория мантр в индийской филологии. Исключительные трудности представляет прежде всего задача непротиворечивого описания; определенную методологическую поддержку здесь оказывают матричные тексты, но уже в другом аспекте. Дело в том, что при корректном задании матрицы снимается «парадокс самоотнесенности». Точнее, он снимается в форме, присущей линейному разрывыванию, и проявляется в другой форме. В наличии этого затора и состоит своеобразие гносеологической ситуации, правильное использование которой существенно улучшает язык описания.

Наши выводы очевидны. Филология измененных состояний сознания охватывает широкий круг содержательных и необычных текстов; умение пользоваться ими — дело техники; настало время вернуть их в круг знаний культурного человека; двери к внутренней свободе всегда открыты; в каждом поколении находятся люди, решившие войти. Впрочем, если бы им попала в руки эта статья, они посоветовали бы оставить квази-научный тон и лучше рассказать какую-нибудь цветастую аллегория, вроде старой герметической притчи о том, как молодой человек, отбившись от компании непутевых друзей, решает обследовать зачарованный сад. Блуждая по нему, он не находит ничего особенного, кроме причудливых статуэток, как будто напоминающих ему события собственной жизни. Настают сумерки; усталый и разочарованный, он по какому-то наитию раздвигает кусты жасмина и видит за ними стол, за которым беседует большое общество, замечает свободное место и подсаживается, как будто незамеченный. Понуро он думает о том, как жизнь не удалась, затем боковым зрением замечает, что руки соседа — большие, усталые — ему знакомы, поднимает голову, видит давно ушедшего учителя, смотрящего на него с одобрением и гордостью, а дальше — все больше и больше лиц, приветливо обращенных к нему, и в конце стола, в теряющейся в золотистом сумраке дали — ласково улыбающиеся лица Пифагора и Зороастра.

ЮЛИЯ КИСИНА

ЗАПИСКИ НА ГЕРБОВОЙ ЛЕНТЕ

В пятнистом ателье, где на кожаных подушках лежит мой дядя-японец, а за окном то вспыхивает, то умирает волосяной мяч над сеткой водяных лилий, я подхожу к портрету бога моего и, озадаченный произношением, снова пускаюсь в пляс неизвестных мне английских гимнов. В такие минуты, когда раскованное подсознание дарит мне нечаянно услышанное, я теряюсь, ухожу в свое прошлое, и говорю на всяких, возможных разуму языках...

ДЕТСТВО ДЬЯВОЛА

По снеговой дорожке мне несут рождественские подарки, и я уже знаю что: тройку восковых кукол, бузинные шарики, из которых расцветают кораблики и пагоды, новую матросочку и еще целую дюжину мелочей, — все это проносят на ледяном подносе мимо моего окна, потом с мороза вносят в дом. Гувернантка отдувается, передает матери драгоценный пакет, и мать уносит все это, чтобы подарить мне на завтрашнее рождество. Но я-то все знаю до мельчайших подробностей, вижу каждый узелок бархатной ленты, и ни мать, и никто не подозревает о том, что я — ясновидящий!!! Раскинувшись на низком диванчике, мой азиатский дядя выдувает ноздрями приятный дым далекорастущей травы, и дым неопределенными пятнами тает в воздухе, постепенно наполняя его пеленой тех испарений, которые детям строго запрещены. Голова моя клонится вбок, и я вижу, как постепенно дядя становится полупрозрачным и повисает между диваном и камином. В зеркале вырастают какие-то круглые, вращающиеся вазы, но тут входит мать и возмущенным восклицанием прерывает все наши приятные иллюзии. Ах, мама, знали бы, как было хорошо, сидели бы вы в спальне у себя и чистили бы ногти!

Когда я впервые пошел в гимназию, я показал своим одноклассникам выученный с дядей фокус — построение фигур из папиросного дыма. Тогда-то слава ко мне и пришла. Классный надзиратель выпускает из ноздрей дым на боковой лестнице. Мой товарищ по парте просвечивает все это лампой, а я — легким прикосновением пальцев заставляю дым повиноваться: застыть в воздухе, не растворяться и стать податливым как пластилин. Первое произведение мое — был дымовой верблюд, который зашагал над нашими головами прямохонько в кабинет директора. Больше я в гимназии не появился.

Весной две ласточки унесли меня в страну Алжир, где на горе посвящений два черноголовых ястреба посвятили меня в таинства послушания. А в мае, посидев над учеными кни-

гами и головоломками, я решил сам составить головоломку и изобрел игру под названием шахматы. В июне я изобрел шахматы с удвоенными полями и прибавил принцип одновременности происходящего, то есть лишил игроков времени. Играя в эту мою игру номер два, мыслители заболели странной болезнью: их возраст раскалывался на две образующие — туда и обратно, и в организме происходила путаница развивающихся и прекращенных мною болезней, и тело умирало от бессилия вести двойную игру.

В конце лета я вернулся к маме, разгадав уже черты ее будущей январской смерти. Мать была хороша собой. Она не выносила запаха пионов. Отец утверждал, что пионы не имеют запаха. Основываясь на незавершенности этих споров, мать приказала построить оранжерею. Когда оранжерея была выстроена, я населил ее птицами.

В день похорон матери я страстно влюбился. Это было единственное в жизни не предвиденное мной обстоятельство. Когда мать опускали в могилу — мысли и зрелище, к которому я уже давно привык в моем воображении — к краю могилы подошло прехорошенькое существо — чья-то дочь. Тут я забылся и на месяц утратил мои неординарные свойства. Хорошенькая головка с трепетом заглянула в разверзтую пропасть, и слеза, умилившая меня, упала вслед за мамой. Девочка, вдруг увидев меня сквозь мутное чувство чужого горя, испугалась и спряталась за своего отца, который, быстро наклонившись, шепнул ей, потом разогнулся, как гуттаперчевая палочка под шелковой тканью, и принял общее выражение лица. Я посмотрел на отца, чтобы сравнить его скорбь со скорбью остальных, но не узнал его в толпе, потому что скорбь была неразделима. В этот момент вдоль дорожки кладбища прокатилась маленькая желтая дыня. Поп начал молитву. Девочкино платье совсем скрылось в черной толпе. Позднее я узнал, что это была моя двоюродная сестра.

Второй раз я увидел девочку в дельфиньем цирке. Я стал

Мирная обстановка



Рисунок РЕНАТЫ БОГУСТОВОЙ

представлять, как она вырастает и перестает быть такой хорошенькой. Странная мысль пришла мне в голову. Я пожелал, чтобы она навсегда осталась такой же. Законы природы, повинуюсь моему произвольному желанию, замедлили ее рост. С тех пор она не выросла ни на сантиметр, и уже в четырнадцать лет считалась несчастной карлицей, хотя была все такой же хорошенькой. Родители, возненавидевшие ее за позор, пригласили попечителя детей, потерявших нормальность. Он-то и пригласил бедняжку в передвижной театр блох.

Будучи еще зеленоватым юнцом и уже отказавшись от скучных сидений за одинаково написанными нотами, я вдруг страстно захотел сыграть одно произведение Бетховена, слышанное мною на благотворительном вечере. Две ночи подряд я истязал инструмент, в надежде услышать драгоценные взрывы нот. На третью ночь я изобрел быстрейший способ научиться играть: надо было страстно подражать движениям пианиста — извивам и наклонам тела, гримасам гармонических мук лица, а главное — пальцы. Я сделал их такими же танцующе-расслабленными и круглыми, пока они не касаются клавиши, и в момент соприкосновения подушечек с холодком черно-белой кости. Еще раньше, глядя на эти борющиеся зубы маленьких, высоких, как шоколадные тарталетки, и плашмя лежащих нижней террасой белых, я думал, что подобно шахматным войскам, они ведут скрытую и хитрую игру. Теперь же я понял, что черные и белые пребывают в полном согласии и поддерживают друг друга, как петли на вязаном шарфе. Так я освоил этот таинственный инструмент, быть может, не до конца, но к утру воздух разразило страстным замыслом услышанного и воспроизведенного.

К моему тринадцатилетию отец подарил мне аэроплан и кентавра. Все это стояло в выстроенном за ночь ангаре, неподалеку от усадьбы, и таинственно сияло! Кентавр был приятной наружности полуконь, сзади напоминающий ахалтекинца, а спереди моего младшего брата, из чего я заключил, что это создание является грешком моего отца. Впрочем, кентавр был гораздо приятней моего брата и не ныл, когда я заявлял мою исключительную волю съесть что-то чрезвычайно запретное в одиночку. Кентавра звали Оскар, и был он покладист и верен. На долгие годы Оскар стал моим ближайшим другом. Особенно нравилось мне в нем то, что он романтически влюблялся в молодых девушек, катал их на своей спине и целовал в апельсиновых рощах, а потом, бережно вернув родителям, несся в конюшню и уестествлял первую попавшуюся кобылу. Аэроплан также пригодился мне. Я завлекал туда моих детских недругов под предлогом приятно покататься по воздуху, и под пыткой головокружения брал с них многочисленные обещания, которые они, спустившись на землю, частенько не выполняли.

Второй раз я влюбился в манекен, который стоял для примерки платьев в мастерской женского портного. Тут-то я и испытал первые влечения тела. Манекен был сделан из дерева и обит мягкой голубой фланелью. У него была великолепная круглая голова, крепкая шея, но, к сожалению, не было ни рук, ни ног, — он стоял на металлическом шесте и завершался основанием, похожим на основание шахматной фигуры. Похитив его из мастерской, я решил, что руки мне вовсе не пригодятся в моих телесных изысканиях, но ноги просто необходимы. Ноги я сделал из материнских колгот, набил их конским волосом из выпотрошенного греческого мяча, и хотя они были немного коротковаты, но все равно мой уродец обрел нижние конечности. Мне нравилось, что у него нет лица, и что он не может наблюдать за моими выражениями сладости и упоения, скрытыми ото всех. Бывало, летними ночами в жаркой постели мы страстно боролись, раскидав одеяла, и звуки страдания привязанной к ночному столику кошки Муры я воспринимал как стоны наслаждения моего возлюбленного. Однажды отец застукал меня с моим другом в постели, и я, притворившись, что играю в театр больших форм, разыграл ему финальную сцену из одной забытой Шекспировской пьесы. Отец, что-то все-таки заподозрив, молча ушел на свою половину.

Как-то летним вечером я узнал в себе дьявола. Гувёрнант

читал нам странную немецкую книжку о троллях, карлах и маленьких дьяволах, которые ютятся в прогнивших корнях. Мой брат был изрядно напуган рассказанным. Я же в полном возбуждении выбежал в сад. Светила молодая луна. Я бежал по дорожкам, волоча по земле длинную материнскую шаль, и заглядывал под самые мрачные кусты — маленьких человечков, увы, нигде не было. Тогда меня осенило; я подумал, что встреча с потусторонним должна быть не настолько примитивна, как представляют себе германские крестьяне. Все еще возбужденный и раздосадованный, я поплелся в детскую. В темноте стояли многочисленные игрушки, но из всех я схватил в руки моих восковых человечков. Вдруг мне показалось, что на бледных щечках одного из них проступил слабый румянец. Действительно, человечек открыл глаза и произнес мое имя. Мы разговорились. Чудесная кукла поведала мне о моих сверхъестественных способностях. Оказывается, я мог разгадывать чужие сны. Да и не только разгадывать: я мог видеть чужие сны, как вы видите теперь эти строки! Так, однажды переезжая на поезде из города на дачу, я наблюдал сон моей спутницы. Ей снилось, как двое противников, уж не знаю который из них был ее любовник, встретившись случайно на охоте, сцепились и целятся друг в друга из карабинов. И вот один из них уже почти опустил палец на курок... и! В этот момент поезд резко останавливается. Спутница просыпается от толчка. И я спрашиваю: «Ну, что, выстрелил?!» Бедняжка вскакивает, указывая на меня пенсионеру, сидящему напротив, и кричит: «Дьявол! Маленький дьявол!» А тут происходит еще более странная вещь! Видели вы когда-нибудь человека, который, сидя на толчке, внезапно вспоминает название только что прочитанной книги, которое случайно выпало у него из памяти. Что же он делает, этот, сидящий на толчке? Конечно же, хлопает себя по лбу! Все это мгновенно, с акробатической точностью проделывает пенсионер, и только что раздавшийся выстрел прихлопнул его рукой. Он тяжело валится мне под ноги, и остаток жизни немедленно освобождает его тучное тело.

Однажды перед пасхой я услышал стук в двери детской. Зашел румяный Оскар и, стуча копытами, предложил мне съездить на ярмарку. Я, конечно же, охотно согласился. Мы испросили соизволения у отца. Когда мы вошли к нему в кабинет, отец занимался таким не мужским делом, как заворачивание яиц в китайские шелковые лоскуты — таким образом, после варки яйца перенимают окраску лоскутов. И так, папочка готовился к пасхе и чтобы поскорее от меня отвязаться, отпустил вместе с Оскаром на все четыре стороны. И мы помчались на ярмарку.

Первое, что мы увидели, — было объявление о параде мертвецов. И, действительно, свезенные с окраинного кладбища мертвецы представляли собой весьма любопытное зрелище. Надо сказать, что вид у них не вполне приличный, но некоторые из них, врожденным своим обаянием все же внушили мне симпатию. Некоторые из них, совсем старинные бряцаньем колец и орденов сошли бы лишь для нумизмата. Но один из них англичанин, был довольно мне интересен. Конечно же, стали немедленно искать переводчика. Языка я не знаю, но врожденный мой дар понимать не самый язык, но его мысли, позволил мне довольно гладко перелгать его для толпы. Англичанин рассказал, что убит он был в Битве народов и что видел самого Наполеона, с которым теперь изредка перестукивается под землей. А также рассказал о скитаниях своих в гробу и о своем молодом друге — подземном мальчике, которого он выгучил английскому языку в некотором течении вечности. Конечно, англичане сентиментальны, особенно старинные англичане!

Итак, детство мое подходило к концу, и я знал это! Оно было наполнено малыми и значительными событиями — всех не упомянешь да и не опишешь на короткой гербовой ленте. Просто самые занимательные истории, способные позабавить случайного читателя, я вспомнил вполне. Вот еще одна окончательная история, которая характеризует завершение детских лет.

Я уже совсем почти взрослый. Ночу черную визитку, как у отца, делаю деньги из воздуха, и дал себе слово никогда не служить.

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Четыре Поперечных, или Открытое Письмо Лене

Ведь если что, то мы можем оказаться расставшимися. Что значит расстаться с Вами, а также — с Вашими ногами-руками, лицом, разговорчиками, чепухой, со взглядом в фас и глазами в профиль и пр., с жилочками на руках и ногах, с тем-сем, пятым-десятым — что уж говорить об именах, адресах и прочих анкетных данных — все это мало сказать: неприятно.

Надо предпринять что-то упреждающее. Предупредить, спасти и сильно сохранить: хоть пусть отчасти; вшить под кожу.

Представим себе Блошинный рынок: несколько га лавочек со всем, в принципе, что очутилось на поверхности земли за последние века три: сами лавочки и навесы, горы ключей, стеклянные подвески для люстр, рассортированные по калибру и прозрачности; кубометры мебели; россыпи пуговиц всех возможных форм, цветов, оттенков и фактур; лавки с ношеным, бзу армейским обмундированием всех бывших и нынешних армий — со свисающими с потолков гроздьями противогазов, горами парашютов, кипами раненых шинелей, окровавленных рядовых свитерков, короба башмаков, похожих на искореженные финики; какие-то мебели, мебели; штатенники африканских масок; прилавки с каскетами от на младенца до на Кинг-Конга; ножи; телефонные аппараты эпохи Великой Фр. революции; индусские закутки, пахнущие одновременно всеми сортами продающегося там дыма: жасминовым, мускатным, розовым, сандаловым, лотосовым, пачулевым, сосновым; старинные картинки, стеклянные шары; прошловечные игрушки; церковная утварь; квадратные километры штанов; лампадки; музыкальные штучки; японская лавочка со всем для ниндзя — балахон, сапоги варежкой: с оттопыренным большим пальцем, накладные когти, мечи, что-то вроде орал и всякая метательная дрянь; болванчики фарфоровые, бронзовые, лакированные; бутылки, бутылочки, броши, брошечки, колесики, висюльки, гвозди, уголки, манекены из чугуна дерева, стеклянноруавынные горы очков; подпольные типографии; вандомские колонны; куклы-марионетки с дичайшими носами; громадные стеклянные рыбы; трубки; вороха каких-то завитушек, кучи закорючек, штабеля торчков, плоскости, засыпанные точками-запятаями, разноцветные загвоздочки, отмеряют кои покупателю столовой ложкой по столько-то фр. за ложку; несколько волшебных садиков; километры ремней; шестерни; паровые двигатели внутреннего сгорания; переносная церковь; рижский понтонный мост; четырехсот сорок восемь типов ножей для разрезывания бумаги; бронзовые солдатики; алюминиевые генералы; астрономические приспособления; утюги; каменные монеты; январь, плюс четырнадцать, солнечно. Тутешний — то есть, тамошний бог выпал на землю, вьелся во все эти штучки — измельчился, но зато его можно держать в руках. Это, конечно, дело его вкуса — как ему вести себя тут или там, и это наши проблемы, что у нас разнообразие мира в руках не поддержишь, и время на ощупь не различить; плотность же их разнообразия велика настолько, что, кажется, исключает возможность просто угадать новые версии нашего личного существования, и это не разрешает отнестись к задаче взаимного опознания спустя рукава. Если мы и находимся в равновесии с этим осязаемым миром, то лишь за счет, слава богу — имеющему, видимо, у нас именно такие формы своих манифестаций — развитой способности индивидуальных безумий, требуемое разнообразие нам и представляющих. Безумие, однако, порождая умственные, а также куда более сложные невидимые вещи, веером исходит из его источника: распускается, как павлиний хвост: таким образом, попытки уговориться о встрече в одном, самом, на наш взгляд, приятном либо удобном для встречи — из порожденных в совместном безумии миров, удачными не будут — за возможной потерей гвозди-

ка, скрепляющего веер. Нас самих, иначе говоря, — сколь мало бы мы ни были привязаны к данным формам жизни. Впрочем, это еще что.

Впрочем, следует обратиться к внешней стороне этой проблемы, то есть к тому, что и породило все эти меркантильные и, на первый взгляд, малодушные рассуждения. Проблемой здесь является внезапный конец света в отдельно взятой — возможность чего, видимо, оспаривать не станет никто: отсутствие географической непрерывности мира давно доказано практически, что, отчасти, позволяет вести речь, лишенную строгой логической последовательности. И решительно бездоказательную — какие доказательства для того, что по ту сторону? Не логические, конечно. Практика и только практика.

Не будем здесь рассуждать, дальше мы теперь от него, нежеле лет пять назад или же, напротив, приблизились. Видимо — чуть дальше, хотя и кажется, что гораздо ближе. Не будем рассуждать политически, будем уважать наши чувства: он может произойти хоть завтра. Итак, задача ясна: конец света, полнейший коллапс и тарарам, все опрокидываются куда-то себе за спину, в смежную сферу, и там надо взаимоотношиться, учитывая вероятную при этом частичную, а то и полную потерю памяти. (Здесь пока учитывается лишь конец света, со свойственной ему внезапностью, а не смерть обыденная — до той еще лет тридцать—сорок: еще придумается что-нибудь более точное и аккуратное, предлагаемый же вариант вполне пожарен.) Ну что, прокатимся по тому свету а la Карамзин по европам.

Так вот, Ленинград. Урла, заполнившая улицы, стоящая чуть ли не за всеми прилавками; осыпающиеся дома, ветшающие деревья, проваливающаяся брусчатка во дворах на Васильевском — начиная с лета 89 года все стало происходить очень интенсивно. Не надо, впрочем, рассматривать этот текст как попытку улизнуть — никто никуда не улизнет, это, наконец, пошло и неинтересно — в таких делах только глупый да ленивый кайфа не словит, но надо же и договориться где встретиться наутро, если уж ночь проводить не вместе. Вопрос этот — пояснять, думаю, не требуется — технологический per se.

Понятно, что о самой встрече уговариваться не нужно: что снимает весьма изрядное количество сложностей — как чисто топографического характера, так и сложностей нового, возможно решительно бестелесого бытия, которое пока представляется порядочной мерзостью, но что поделаешь, жить-то там все равно придется, может быть и ничего, еще и понравится. О встрече, во всяком случае, заботиться не надо — уж что-то, а стечения обстоятельств нам и здесь устраивают с большим к нам вниманием, и из всех — мыслимых прекратиться в следующий раз — процессов прекращение этого наименее вероятно. Доверенность к провидению — доверенность к той невидимой руке, которая движет и миры и атомы, которая бережет и червя и человека, — должна быть основанием нашего спокойствия. Встречу, короче, нам обеспечат.

Переходя к науке опознанья, отметим, что занятия ею весьма, оказывается, привычны для пишущих; причем именно ее технологической, а вовсе не мечтательной составляющей. Вспомним, хотя бы, классическое «явись, возлюбленной тень», с вариантами возможного облика закливаемой. То же, но более детализированно, осуществляется в ахматовской безгеройной поэме, где, конечно, просто описывается методика подманивания умерших — видимо, эффективная, другое дело, что случай там все же легкий: человек находится в своем привычном состоянии и — в окружении не только ему знакомых вещей: все это служит остальным прекрасными ориентирами: они спархивают к ней, как птички на ладонь с крошками.

Не надо пенять на то, что искусство оказывается родом сопромата: дело-то серьезное, и заранее назначать место встречи глупо: и этика, и эстетика, и все на свете (не так-то уж тут много всего, кстати) служат сличению, как набор шаблонов, пересекающихся в единственной точке; связка ключей, лишь вместе отпирающих дверь; что-то вроде служебных и координатных, почти аэродромных огней.

Но это вовсе не важно, это нервное, бесчисленные узелочки на платке: не забыть, не забыть, еще раз не забыть, и это тоже не забыть — забыто только зачем не забывать. Все это чуточку маскарад: сладкое время, когда маски в конце-концов — если уж и не знал заранее кто себе что сшил — снимаются, а человек всегда обязательно внутри дома: маленькая умелая оторопь, как чуть-чуть заблудиться — и не сверяться по карте с названием улицы.

Но речь должна идти не о поисках, но об узнавании. Основанием дальнейшему служит именно то, что происходит лишь то, что происходит должно. Встречу нам устроят, об этом пусть голова болит не у нас.

А вот остальное — уже наша забота. То есть, например, суметь там войти в прежнюю память: либо до встречи, либо в ее момент, либо чуть позже. Иначе, разумеется, зачем она произошла, когда к нам отношения иметь не будет. Это получится все другая история.

Начнем с конца света.

Итак, конец света. Выключатель, ночь, улица, фонарь на стадионе, пекарня рядом, пара тамошних собак заходятся в таяканы, гавкают громко, куда-то далеко, очень громко, во Флоренцию. Ночь, комната, постель, гудение водопроводных труб, черные, золотые и белые вспышки, висящие в закрытых глазах. Ночь, фонарь на стадионе, поезд, тяжело дрожит дно комнаты, железная дорога за стадионом тащится в сторону Ленинграда.

Конец света начинается отсюда. Это не о том, что там он уже начался однажды; он начинается там еще раз.

О рассыпающихся домах, проваливающихся дворах и об урле речь уже шла. Опустим состояние городского транспорта и внешний вид идущих навстречу: все, в сущности, в пределах нормы. Норма, впрочем, понижается, оставаясь нормой, — жизнь оседает, сохраняя свое название: некий, например, дом между Репина и 2-й линией Васильевского был какое-то время фабрикой, что-то там делали со ртутью; дом отчего-то то ли сгорел, не то взорвался; останки здания аккуратно изъяли, возник пустыр, пустой ящик. Начали отселять жильцов соседних домов — ртуть, все же. Теперь отселять прекратили, дома заселяют вновь — минимум стал меньше, теперь тут уже можно опять жить. И так, пока город не погрязнет окончательно в каком-то, вряд ли брютловском, катаклизме.

То есть, видимо, не взрыв, но всхлип; он будет оседать в болота; медленный треск зданий, постепенно, есть время что-то делать, для митингов и погромов. Треск зданий, длительная и ноющая паника, демонстрации, военное положение, с крыши Дома книги строчит пулеметчик, бежит солдат, поет ура матрос. Нам деться особо некуда, мотаемся из стороны в сторону, и на перекрестке нас благополучно затанцует народ. (Народ: какая-нибудь пэтэушная давалка, к тридцати годам постарела, сделалась серой мышкой, обернувшись оренбургским платком, сделалась народом.) Мало приятного, похоже, оказаться задавленным народом. Тем более странно будет видеть, как люди, состав чьей крови серьезно укреплен алкоголем и глупостью, уничтожают Вас — в чьей крови растворены сапфиры. Странноватая нелепость. В общем, конец света или не конец, а мы становимся трупами, и вышеназванная проблема встает перед нами во весь рост. Итак — отъезд.

И мы оказываемся в труднопредставимом отсюда пространстве. (Что до возможности наклеить описанные события самим описанием, то сейчас же проведем дезинфекцию: нет, ничего подобного оно не вызовет.)

Итак, мы оказались в труднопредставимом пространстве. Обтрусим всякие человеколюбивые сказочки про толпу встречающих: известное время мы будем болтаться в форме зрения и слуха где-то на уровне крыш, все созерцая и морщась оттого, что нас еще не зарыли; когда же тела кинут в яму и засыплют, нам станет приятно, мы облегченно вздохнем и успокоимся, после чего и начнутся всяческие приключения; это мы как бы прошли тамошню и миновали паспортный контроль.

В общем, это род эмиграции, когда может отшибить память, и уж скорее всего исчезнут внешний вид и все накопления. Тамашние ландшафты вряд ли будут потакать прежнему опыту, хотя, в общем, отчего бы им с нами и не совпасть, хотя и не следует так уж рассчитывать на то, что непосредственно сразу после мы обнаружим друг друга проснувшимися наутро в большой белой комнате дома на углу Фобур Сент-Оноре с видом на Триумфальную арку или, что еще лучше, в той параллельной России, с которой в семнадцатом году известная неприятность не произошла, что было бы, конечно, совершенно замечательно, но и на Фобур с Вашими замашками и обликом Вы уместны вполне. В общем, не надо рассчитывать, что все окажется более-менее как прежде, да еще и помнишь, что надо стать в дверях и хлопнуть правой рукой два раза по правому косяку, два раза по левому и еще раз по правому и — привет — вспомнил и все остальное. Да и просто на антропоморфное развитие событий рассчитывать не приходится.

Мы окажемся в таинственном месте и, неизбежно сохранив нашу высочайшую духовность, окажемся неведомо кем. Даже непонятно чем. Вах! шумом камнепада, сандаловой палочкой, дымом от нее, камушком, умнемся в какие-нибудь разноцветные горошинки — вот только непонятно, во что перейдут голубенькие жилки на внутренней стороне Ваших бедер? — что, безусловно, имеет отношение не столько даже к телу, сколько к Вашей духовной составляющей. В такой вот изгиб дыма сандаловой палочки майским солнечным утром в комнате с окнами на фонтан Сен-Мишель? Поэтически рассуждая, я должен бы сказать, что тут же Вас и узнаю, все это чудо какая прелесть, но надо помнить и об урле, с которой вся эта история и затеялась: тут уж особо не до нежности. Впрочем, почему?

Что же, как бы рассчитывая на халяву, хлопнем правой рукой по косяку два раза, по левому два раза и опять по правому. И ничего, никакого тебе гештальта, никакой прошлый опыт не выступил на лбу, не вспомнилось ничего. При том, конечно, что прошлая жизнь все же как-то просвечивает, а иначе как объяснить столь мои буржуазные повадки: шлялись мы с Паршиковым, подыскивали ему часы, так если какие-либо кажутся мне правильными, так стоят 4 тыс. фр. фр. и больше. Станные вкусы для человека из коммуналки и хрущевки. Вот, на это подобные рассуждения и тянут — на светскую шутку.

В общем, Лена, мы с Вами окажемся в загадочном месте, с пустыми карманами, без памяти и облика. То есть понятно, что какие-то принадлежности очередной жизни нам выдадут — свойственные, разумеется, тамошнему загадочному месту. Сохранится, все же, чуть-чуть из собственного нам и здесь. Но с этим мы начнем разбираться позже, пока же в целях дидактических, а также желая чистоты эксперименту на время обнулимся полностью.

Мы ведь с Вами здесь могли бы выкручиваться и без нашей службы и работы, устроив небольшую школу, обучающую разным таким предметам: учили бы буратинок снимать в год три урожая с закопанных денежек, правильно одеваться, встречать невзгоды жизни, пить не закусывая и внутренне не хмелея, а также — жить (в общих чертах). Учили бы их замечать любое чье-то присутствие, распознавать человека, его не видя и с ним не говоря. Всего-то инвентаря — пустая комната, и пусть для начала сидят там по одному в темноте и во все уши слушают пустоту. А за чаем развлекали бы их историями о том, как в позапрошлый раз мы вместе ходили с табором, пока вы не сбежали от меня с каким-то случайным фламенкистом Пако, что ли — из Кордовы.

Но дело с места не трогается, мы все еще в каком-то пустоватом месте, ежели там что и есть, то обрушилось до наимпримитивнейших пиктограмм: вверх, вниз, вправо, влево, по кругу, внутрь, наружу — кои не в состоянии пристойно описать даже половой акт.

Мы с Вами поврозь спустились ниже кольцецов и усонгих: что за напасть — не видишь, не слышишь, ни гу-гу, ни скрипа половицы, тихо.

Ночная кухня, с расставленной в ней раскладушкой, голая лампочка, ешь хлеб, запивая водой из-под крана, светящаяся спиралька свешивается из лампочки — единственное украшение, щелкаешь выключателем — за окном громоздятся горы ясеневских огней, шлеп-шлепают вода из крана, крошки хлеба разбежались по простыне, успев зачерстветь.

Это как хайтек на автостанции: в какой-то ветреный ап-

рельский денек — солнце, быстрая тень облака от пивного ларька через красный Икарус в сторону ольшаника вдоль придорожной канавы, по одной из отходящих дорог. До осени далеко, земля просохла, можно спать и не под крышей; сама же изощренность технологии состоит здесь в таких лишь пустяках, как наличие денег, отсутствие багажа, приблизительное знание расходящихся маршрутов, в безразличии куда ехать и в том, что скучно в дороге не будет, потому что скучно уже не бывает.

Это не тот вариант, когда человек вдруг оставляет службу, частично распродает имущество, покупает хабз свитерок, прочные штаны, кирзачи, ватник за двадцать четыре рубля серого цвета и, спрятав куда-то ключи от квартиры, отправляется на вокзал и засыпает в зале ожидания. Ему там спойно. До отправления его поезда всегда тридцать пять минут. Пахнет буфетом и парикмахерской.

Здесь же никаких побегов: просто — автостанция, очередная движущаяся прямо тень со стороны пивного ларька к ольшанику, собаки, валяющиеся на круглой клумбе в центре заасфальтированной площади почти в самом центре Европы, крошки на простыне — рельефная карта страны с сухими населенными пунктами. Красный, остывающий червячок лампочки.

Тихо, темно. Ниже кольцецов и усоногих. За подкладкой, за кулисами. С изнутри. Можно войти к кому угодно, а не войти — так поглядеть в случайную дырочку, а нет дырочки — так ее проковырять и поглядеть: как там кто нынче? Там, в общем, все так же. Здесь, за подкладкой, интереснее. Они налипают со всех сторон, будто очутился в банке с разноцветной икрой. С ними обходиться просто, здесь все в двух видах: отдельный — такие были раньше, или теперь тоже? — стеклянный шарик-полуфабрикат и второй: шарик вспыхивает в единственно существующий; маленький можно вертеть в пальцах, а к хрустальной сфере большого ты приклеен, вплавлен в нее, являясь для тех, кто внутри, небом и почти начальником, треугольным оком. Ты захотел куда — ты окружил это собой. Так подумав о городе входил в город.

Разноцветные светящиеся икринки, пасхальные яйца от Фаберже. У каждого — свой цвет, свой дым, у каждого свои гимн, центр и папа римский, каждое — пространство круглое и бесконечное, в каждом из которых свой манер, в каждом из них свой прикид и свой флаг, свои право, лево, вверх, вниз, по кругу, внутрь — свои, хотя и похожие. А знакомых из них чуть ли не половина.

Первое, на что кидают перемещенных лиц, это инспекционные работы. При этом удачно совмещается наличие остаточного — здесь затухающего — опыта прежней жизни людей сторожьего, швейцарьего возраста, в котором большинство перемещается за подкладку, с требованиями здешней службы. Осуществление инспекций — это что-то вроде промежуточного ремесла, вполне приличного на время, пока переместившиеся не освоятся здесь, стряхнув с себя остатки воспоминаний — впрочем, помогающие им инспекционные работы осуществлять. Многие, впрочем, так и не отряхивают и инспектируют всегда.

Работа инспекторов связана с обеспечением правильности хода жизни в оставленном пространстве, они помогают осуществляться правильному падению снега, правильному бегу трещинки по упавшей на пол чашке; устройство кое-каких удач, каких-то второстепенных совпадений — функции вполне обычные и нехитрые, справляться с ними не сложно.

Работа эта, конечно, вовсе не старается напоминать инспекторам об их земном прошлом: инспекции они осуществляют в нравах и правилах нового пространства, и, шагреневые такие, остаточки памяти тратятся именно на пригляд, в результате чего обеспеченная приглядом жизнь тяготеет к не вполне здоровому консерватизму: всякие новые области осуществлять возможно лишь пока о них не ведают еще ни один покойник — как только школа обретает такового, ее можно считать погребенной: вся его должностная ответственность обратится на сохранение существующего положения в этой самой области; впрочем, подобные ситуации довольно редки, зато всегда неуместны. Остатки же в инспекторах навечно не вполне правильно, дело, конечно, личных пристрастий, но отчасти сродни постоянной работе сторожем при жирафе, не предполагающей при этом побочных приключений души. Все, в конце концов, зависит от прежнего кругозора, и кого-то все это может устроить вполне,

не, не надо только считать нечто, выдернувшее Вас из-под колес автомобиля, своим ангелом-хранителем, это какой-то приглядыватель их перемещенных исполнил свою прямую обязанность; каждый из них весит примерно унцию, обнаруживаемы собаками.

Что до нормального стража жирафа, чей рабочий день лишь отчасти посвящен непосредственному обустройству жизни сега высокого животного, то у него всегда ведь есть некие левые, а на самом деле — основные интересы в жизни: у него, то есть, в любом городе всегда отыщется некоторое количество телефонов, по которым он может связаться с тусовкой и включиться в жизнь соответствующего места.

Я, Лена, как Вы понимаете, в этом смысле устроен вполне: литературные занятия образовали такую небольшую лавочку не лавочку, фабричку не фабричку, водяную мельницу, мои тексты как-то поддерживающую. Это такая галерея не галерея, подвал не подвал, конурка, шариком болтающаяся в довольно бескрайнем универсуме, бок о бок с изрядным количеством таких же шариков-конурок. Поскольку местечко это является моей частной собственностью, то, видимо, в первое время после перемещения проблем у меня не будет: крыша над головой и койка мне, кажется, обеспечены — что, кстати, и объясняет мою несколько легкомысленную интонацию, равно как и отчасти игривое отношение к нашей потусторонней встрече: Вы, конечно, помещением можете располагать: диванчик, крыша над головой, возможно — что-нибудь окажется в холодильнике. Другое дело, что непонятно сколь долго мне захочется лежать там на диванчике, но если уйду, то оставлю записку, а ключ — под ковриком у входа.

Впрочем, Вы, все же, должны упрекнуть меня в легкомыслии — учитывая сказанное выше касательно отсутствия там антропоморфных форм и внятных признаков, потребных для взаимного опознания — здраво предположив, что я могу опознать в качестве искомой партнерши любую особу женского пола туда, ко мне, заглянувшую. Подозрения Ваши, разумеется, здравого смысла не лишены, но обещаю, что находясь там — а какое-то время я, безусловно, там проторчу — буду осуществлять присмотр за собственными текстами, их оттуда незаметненько изменяя: уж на машинописные копии моего усердия может быть и хватит, во всяком случае — что касается Ваших экземпляров. Таким образом, при моем — если это случится раньше — отбытии, Вы будете обнаруживать в своих экземплярах соответствующие правде поправки и дополнения, если же Вы опередите меня, то не откажите в любезности вносить соответствующие исправления в мои: если вдруг — в чем лично весьма сомневаюсь — вносить их придется. Для простоты дубровским дуплом назначим

именно этот текст. Не забыть о нем, верно, поспособствует легкая ностальгия первых недель по прибытии. Он, текст этот, будет прав, таким образом, вечно.

Но, Лена, представь, какой кайф: место где жить есть, под звездами не ночевать, главное — прийти и сразу лечь выспаться, а наутро: утро в новой стране. Утро в новой стране, где ничего не понятно, ни даже как проехать на метро, ни даже как по телефону позвонить, притом, что знакомых тут полно, и страна правильная, и утро хорошее, и выспался, и без багажа — великолепное приключение.

Если придешь туда первой, то, думаю, разберешься сама где там и что. Антропоморфизм не антропоморфизм, а какие-нибудь наши там должны быть, пусть даже в электромагнитной форме. Подождешь меня, если станет скучно — пойдешь по своим делам, только оставь записку куда ушла, а куда положить ключ — уже знаешь.

Утро. С утра надо всегда быть осторожным и не подписывать договоров, пока не выпьешь кофе и не выкуришь сигарету. Тем более, когда еще непонятно какая именно часть новой обстановки имеет отношение к тебе проснувшегося, тем более — к чему-то проснувшегося во вселенной непонятного сорта. Момент просыпания важен всегда, но в данном случае — чрезвычайно, поскольку здесь он — впервые, что представляет внятней шанс установить себя, as it is: что ж такое проснулось? Что за какая-то точка, которая проснулась?! И это очень важно, потому, что — новая страна, где масса достопримечательностей и приключений:

слава богу — нам снится масса приключений и достопримечательностей, и единственное, что не позволяет раскушать всю их достопримечательную приключенность, так именно то, что если бы во сне еще и проснуться, а то аттракционы и прочее происходят вообще, ты ими являешься и никакого отдельного удовольствия от них не получаешь. А там ведь в подобный переплет можно угодить навсегда — по странной и случайной, какой-то погодной прихоти становясь то диснейлендом, то ангелом, то игрой в карты, превратившись в конце концов — как уже почти прилипший к своему пределу числовой ряд — в какое-то приятное, равномерно-постоянное удовольствие от жизни — предназначенное для тех умниц, которые заставили себя суметь проснуться и оформиться в виде отдельном и взрослом.

Я, Лен, хотя теперь еще и помню о Вас, но память эта уже дрожит по краям, колеблется в мареве, как падающий с большой высоты платочек или газовый шарфик, обтирающий собою ветер или местные происшествия с воздухом: как жаль, что все его трепыхания, рывки, плавные скольжения, внезапные выпуклости не оставляют за ним прочной — плоской, блестящей — дорожки, как жаль, что он не разноможается в каждой секунде падения: многократный, дискретный, топорщащийся стробоскопическими чешуйками вдоль гладкой линии движения: какой бы рельеф, какая замечательная полоса снизошла бы с неба на землю, но я все же с усилием, но еще в состоянии вспомнить начало этой фразы: вот видите, какая опасность подстерегает там каждого из нас: шахматист рискует стать ферзевым гамбитом, автомобилист — коробкой, что ли, скоростей, художник — ну не знаю, кобальтом синим: всяк лезет в свое дело, повара съедают в облике омлета, и съевший — доволен, а омлет — просто-таки счастлив; я — очутившись в тамошней каморке — даже сам того не заметив, втираюсь в собственные тексты, кроме них окончательно знать ничего не хочу, и нам уже не встретиться: Вы, придя сюда, возможно еще обнаружите что-то такое: какое-нибудь шуршание, шелест, пощелкивание: так это ж я, в какой-то смутной форме, интонация голоса стала шуршанием страниц, дыхание едва-едва заметно подсвечивает гласные — Вы меня даже, возможно, и опознаете еще, но мне-то, мне-то Вас уже не узнать, я уже весь внутри русского языка: согласен, судьба высокая и завидная, я соглашаюсь, но все же немного досадно и это не совсем правильно: ведь новое же место, столько всего за окнами, утро — нет, это нескладно, и, чтобы вспомнить, как это происходит обычно, мне следует отправиться теперь спать — с целью отчетливо исследовать, как я завтра проснусь; а если меня посетит видение или просто приснится что-либо любопытное, я непременно опишу это в следующем абзаце, ведь, по сути дела, с начала этого письма я нахожусь, собственно, уже почти исключительно в нем — не важно, пишу его или нет. А вы, к слову, ровно теперь находитесь в поезде Рига—Москва где-то возле Великих Лук (поезд № 2, теперь по рижскому времени около 1.30, 3 февраля 1990 года). Письмо, иначе говоря, принимается быть на некоторое время в смысле почтовом: небольшая и наглядная инкарнация.

Это что-то вроде, как отвалилась спина. Стоящему сзади, верно, становится интересно, и он углубляется в рассмотрение твоих внутренних колесиков с красными точками камушков, исследует плавное качание взад-вперед каких-то раскачивающихся штучек; скользит по блестящей поверхности блик: в очевидно утреннем, непонятной природы, но утреннем свете можно изогнуться и поизучать себя, благодаря отвалившейся крышке; с утра вокруг уже не номинальное, запечатанное самим термином заподкладье, но уже видно подробнее: все эти тускло освещенные изнутри парадные яйца отдельных миров никуда не исчезли, но полупрозрачные уже, с бултыхающимся внутри содержимым — в шестидесятые годы были такие странные изыски: пластмассовый шарик с дырочкой, а внутрь запрятана фотография: ты глазом к дырочке, а оттуда на тебя смотрят; тоненькое, светлячковое — прямо пушок — свечение их лишь тень ночного. Их очень много, носятся туда-сюда по своим надобностям, связывает их только включенность в общее мельтешение.

Разумеется, утро — прекрасное время, чтобы ходить в гости, но до серьезного общения придется еще немного дрести, освоиться, обжиться, пока — только визиты в правые части чего-то разорванного пополам — в находящиеся не у тебя половинки разорванных фотографий, в тот отдел учебника-задачника, где собраны ответы; есть в этом нечто впол-

не производственное: так вернувшийся с работы резидент (его обменяли на каком-то торжественном ночном мосту на такого же, немного противоположного знака) возвращается в Управление и знакомится с теми, кто пищал в его наушниках, подписывал шифровки, скрываясь под каким-то условными обозначениями вроде, скажем, Ганеши, Дон Хуана или Папы Карло.

Это, конечно, не жлобское желание непременно отождествиться со своим табельным номером, и не надежда — разумная, впрочем — поймать небольшие пряники за более-менее верно осуществленное существование, но вполне достойный и профессиональный интерес к тому, насколько инвариантной является проделанная работа, а насколько — связана с родными полями и осинами; что из нее и в какой мере имеет отношение к дальнейшей деятельности — здесь, собственно, и выяснишь точно, что она такое была, и что будем делать дальше. Иными словами — визит по служебной необходимости, похожий вовсе не на возвращение отловленного резидента — человека, профессионально конченного — а на честное возвращение из командировки, что настолько похоже, что возникает естественный вопрос об оплате проезда, командировочных и, по возможности, премиальных. И — разумеется — о заслуженном отдыхе. Отпуск — учительная обстоятельность — естественно наводит на мысли о разных прелестях вроде сада, откуда и Будда не уйдет, о гуриях и райском блаженстве, о Елисейских полях, наконец, — симпатичных и в своем земном варианте — что же, и это неплохо: плюхнуться ненадолго обратно на землю, поболтаться там, полная отяжка. Впрочем, господа, как же мы все-таки не любим работать . . .

Ну, а как там вообще перемещаются, так это понятно сразу, об этом речь уже была: куда надо — там и оказался. К этому, надо отметить, мы подготовлены вполне — что, а также некоторые другие бытовые навыки, работающие и там, дают понять, что ежели некая фотокарточка и была разорвана, и кусочек ее спрятан — то разорвана она была вовсе не пополам, а отодрали от нее лишь уголок. Не то, чтобы уж совсем маловажный, а только неизвестное ранее присутствует в количестве весьма малом. Даже больше: все это новое знание сводится именно лишь к тому, что на самом деле ты знаешь почти все, а что не знаешь — так вполне мог узнать. Тут же следует следствие: и не очень ты, собственно, куда-то перенесся, и из ста, допустим, пятидесяти шести измерений, внутри которых ты осуществлял свою прежнюю деятельность, сохранились сто пятьдесят одно, два кое-какие и добавились, немного, не больше полутора десятка.

Из сказанного на последних страницах двух, Лена, со всей очевидностью становится ясной неотвратимость продолжения совместной антинаучной и внеконфессиональной деятельности, против чего мы, разумеется, возражать не будем, ведь дело, наконец, и во вкусе именно совместных действий: эстетика, скажем, в одиночку не эстетика, но окажется очередной глупой философией; артефакты возникают от трения чего-то обо что-то, кому нужны очередные философии: ну просидел мужик сорок пять лет в тайге, изобрел там самостоятельно очередные велосипед, паровоз Черепановых, шведскую спичку и Устав Общества Трезвости, и что? Ну ква.

Мы уже говорили о том, что поиск способов найти друг с другом литературе свойственства весьма, при этом описания вариантов методики осуществления встреч имеют привычку выдавать себя за нечто художественное, а ведь там лишь едва завуалированная дидактика и выкрашенная чувствами технология. Конечно, читатель этого может не заметить — ну не задавался он подобными вопросами, а понять что к чему возможно лишь на собственной шкуре — вот и воспринимает как поэтическое откровение что-нибудь вроде: «мы с тобой в Адажио Вивальди встретимся опять». Что же, наверное встретились, но боже ж ты мой, какая разница — в центре ГУМа у фонтана или в центре Вивальди около Адажио? При чем тут искусство?

Оставим, впрочем, рассуждения, которые могут каким-либо образом быть восприняты как злословие. Что поде-лаешь, пусть это и скучновато, но придется несколько продлить сей экскурс в область механизации умственных и душевных работ: вот в том и беда (тоже, впрочем, какая уж такая беда), что искусства у нас здесь не много, но часто за него принимаются вещи более чем научаемые, но кажущиеся лицам без соответствующего опыта изъяснением чувств поэтических. Согласен, подобные изыски обволакивает несколь-

ко особый воздух, но что из того? Так ведь можно заставить себя высоко тащиться, созерцая движение маятника либо шатунов паровоза: впрочем, тут и в самом деле задействована некая механика, находящаяся в определенном родстве с небесными шестеренками, что ошибку отчасти оправдывает. Вот, например, «Гимны» Штокхаузена: что это — если грубо и в лоб — как не описание прогулки, родственной той, внутри которой я гуляю теперь: какое-то бульканье, зудение, злодейское в шутку напрыгивание звуков из-за угла, мимо чешет очередная страна — усиливаясь в своем государственном звуке, пролетает, сходит на нет: вот и тут они так снуют и пролетают: идешь себе спокойно, а мимо тебя почти как паровоз какой-нибудь по пахоте на воздушной подушке со свистом: гладкое, серо-голубое, аэродинамическое, без щелочек, дельфин такой неоновый и нежный — Лори Андерсон. Ну что, раскланиваюсь, конечно — здравствуйте, Лори! Но ведь это Лори, а не какие-то там шестеренки и рычаги.

И решительно неважно, где пока Лори: тут или там — все это уяснейшее заблуждение: тут, там — все мы и тут и там, и вся разница — в пяти-семи несовпадающих пунктах против совпадения в остальных трехста.

Понятно, что и излагаемое мною к искусству отношения не имеет — так ведь пишется именно конкретная рекомендация, текст, то есть, почти что как про природу вещей или о сельхозработках, да, скучно, а что делать? Да, изыщества решительно никакого, но надо же иметь в виду и тяжелую артиллерию; конечно, голая прагматика, более того — безо всякой системы, и все это пока похоже на набивание какого-то сундука всем чем, попавшим под руку: пора вводить хоть какую систему, скучно или не скучно, а придется стать еще и дидактичным.

А иначе в самом деле все будет иметь форму сундука: сию вот пока на корточках и набиваю этот текст разной ерундой. Таможня его не пропустит, тут он вам не пригодится, потому что если что и важно, то лишь процесс укладки: как все это одно за другим. А иначе какая-то Маша Троекурова, извлекающая из дупла то одного общего знакомого, то другого, то ослиные уши, то Джефа Кунца, то колечко, то еще что-нибудь — а зачем? у Вас и самой подобного скарба хватает. Так что дидактики не избежать.

Тайна в том, что тайны нет: не знаем мы лишь то, что можем знать все уже тут. А этот барьер — что, де не знаем и не можем — какой-то просто родовой комплекс. Видимо, что-то тут по Фрейду: Эдип и пр. — свойственное монотеистическим культурам как таковым, армейские, в общем, штуки.

Извинения окончены, поехали дальше. Встреча все равно потребует от нас определенных хлопот, разисуем пока ее возможные места — как некие абстрактные точки с взаимоотношениями между ними, и нам совершенно безразлично, куда все это погрузить: проще так, чтобы было удобнее — хоть в схему метро, по возможности компактного и с хорошо различимыми табличками станций и переходов, парижского, например — с осуществлением всех дальней-

ших встречаний-невстречаний на линиях от Вильжюва до Клианкура, между Курневилем и Вокзалом Орлеан, с постоянным — до отвращения — топтанием по Шатле с семьей — десятью возможными там переходами: можно было бы, проще всего, уговориться встретиться именно там — на плоском стометровом эскалаторе между Шатле и Шатле Лес Халлес, но столь дословное соответствие соорудить невозможно, впрочем, обратите внимание, и этот процесс и именно на этом материале же тоже схвачен в литературе: в блокноте, найденном в кармане у Кортасара, именно это и именно здесь и пытается произойти: петля вокруг станции Данвер-Рошфо. И та же у него боязнь Монпарнаса и, разумеется, Шатле, и все кончается на станции Домениль... Ну, или акция «Мухоморов» в метро уже московском, безнадёжном. Видимо, какое-то подземное петляние по сеточке с точками объективно необходимо.

Итак, отдельные точки. Есть такая крупная, объемистое пространство, где обитают бывшие белковыми организмы. Оно такое большое, что они, на самом деле, обитают где-то. Есть такой гигантский ящик с музыкой и прочими кунштюками — и вовсе не музей, живое, хотя и не зоопарк. Есть еще область, заполненная историческими происшествиями:

Ватерлоо, самозванец в Кремле, Великая Фр. революция, залп Авроры, открытия Америки — ЦПКиО, в общем, с каруселями. Это все пока не наши дела.

А наше дело что — дела, конечно, скучные, самостоятельного смысла почти и не имеющие, так, сахарок, перчик, соль к каше, проводки-кнопочки, нейтринно какие-нибудь свободолобивые — все стилистика, решительно никакой семантики.

Какая-нибудь, например, энергетическая координата — хоть она и пролезает во все прочие, смысл ее от этого никуда не вырастает: керосиновые реки с торфяными берегами, озера бензина, нефтяные туманы, две дощечки поверху плывут, кокс, сношенная мебель, горы угля, опилок, торфяные брикеты в ведерке из подвала на четвертый этаж, электричество какое-то бесконечное: батарейки, динамо-машины, конденсаторы, кому татары, а кому — ляторы, лампочки перегоревшие, сухие посленовогодние елки, высоковольтные линии, лапка лягушачья дрыгающаяся, сухой спирт и прочие несъедобные желудком продукты, а также разнообразные тонкая материя — угольный, в сущности, погреб, а на входе часовой с ружьем стоит и смотрит, чтобы там не курили, а не то разнесет всю вселенную. Да никто туда не ходит — зачем? Разве чтобы вернуться, став бензином и вспыхнуть в Двигателе Внутреннего Сгорания или — торфяным брикетом оказаться в прыгательном на четвертый этаж: дымом вернуться наверх: круговорот тебя в природе — постоянно простегивая уже покинутую жизнь дымом, запахом, буквой, виноградной строчкой: стучась туда отсюда — зачем? и тщетно, какая им там разница — отчето страница вдруг сама перелистнулась? от сквозняка, конечно.

А рядом электромагнитные волны: стог сена да и только: там хорошо лежать, высыпаясь замечательно, млеешь, как в гамаке, покачиваясь, в ушах серебряные звоночки, лепечет что-то, бормочет: приятно поплыть недлинной волной среди прочих длинных и недлинных волн: покачиваясь, обтекаемая друг друга, скользя, соскальзывая, сплетаясь с ними в какие-то косички, опадая вниз, расщепляясь как фейерверк, снова сходясь в общую линию, такой утонченный Арчимбольди с телами, сплетенными из разноцветных — в изоляции, потому что — проводков: с просачивающимися по тем разнообразным кайфами, гуляющими между глазом и мозгом, между ступней и ушами, между первым и вторым, между ночью и луной.

Абстрактнее электромагнетизма найти уже трудно, однако есть еще и Абсолют. Это такая оранжевая, почти прозрачная плоскость, которая всюду: такая же все на свете к чему-то крепиться, вот к ней, этой оранжевой и прикреплено — она, точнее, всюду как основа, что ли. Как мостовая или общий знаменатель. Из того же ряда, что во всех нас имеющаяся вода или кальций. Ну, кальций, мел, по доске пишет — ему пусть кости молятся, у них мозг прямой, солдатский.

Мы пойдем-ка лучше в другое место, куда-нибудь туда, где красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опухала, и увясла, и кольца, золотые шары, серебряная цепочка и золотая повязка, разные даймонды и эмеральды, и в часах сыплется золотой песок, а вокруг — серебряная пыль и любая распойнейшая помойка сделана из серебра, как на негативе фотографии, серебряные голоса и плащи из золотой копирки, ночные города и полуночные свидания.

Пространство ночных касаний, прикосновений, поглаживаний, легких движений, едва скользящих по телу, как два часа падающий вниз платок — как бы воздухом обходя тело, с каждой лаской оставляя на нем новый слой серебра и всякие маловажные слова с зелеными глазами: извивающаяся сквозь всю ночь двойная полоска серебряной фольги шириной в ладонь.

И близкое к нему пространство тайн, основанных на устрице с жемчужиной, спичечных коробках с оказавшимися там увеличительными стеклами и стеклянными шариками, на грибах, разломав шляпку которых, обнаруживаешь внутри изумруд; там всякие хитрые уловки вроде внутренней лестницы в доме, третья с веру ступенька которой со скрипом; стены, отходящие в сторону при нажатии на картинку с голубым кувшином; знаки-предметики, то ли сообщающие что-то, то ли — просто как альпийский сенбернар с фляжкой коныяка, приспособленной к ошейнику.

Они — каждое очередное — смешно ёкают, когда в нихходишь, это похоже на развал чуть перезревшего даже арбуза, и косточки во все стороны — фррр: тамошние люди

просто-таки изголодались по общению, облепляют, окружают, все тебе расскажут, все покажут, через все проведут — и вот так у нас бывает и вот этак, и заходите еще, да и друзей с собой возьмите — очень гостеприимные, самим-то в гости не выбраться: как зиме сходить в гости к августу?

Да их перечислить и то приятно — перечисление, впрочем, тоже образует свое пространство: каталог, включающий в себя все возможные каталоги, в том числе, конечно, и самого себя: это такое странное, нахохленное место, их там очень много, малоразговорчивые, смотрят кося глазом, похожие на ворон, колода из сплошных десятков трэф, и кар-каут, вроде, одинаково, а хором — не получается.

Еще — пространство обёрток от сырков, смятых кефирных крышечек, разлохмаченных веревок, рваных полиэтиленовых пакетов, драных колготок, газетных комков, контурных карт, на которых красным карандашом нарисовали зайца, бетонных полов, голых лампочек, бетонные полы освещающих. Еще — пространство фруктовых шипучек. Еще — пространство, где живут такие штуки, как Черная Маша, Голубая Миска, Круглая Киса, Красивое Семь, Выпуклый Овен, Заграница Девять, Центральный Аптечный Скандал, Большое Дыхание.

Пространство потрескавшейся земли со вдавленным в нее ультрамариновым бутылочным осколком. Пространство звуков: вытянутых, чуть конических, растущих там как кирпичные трубы. Кукольный театр Карабас-Барабаса. Мир Искусства. Ады. Земля собачек-однодневок. Пространство снега. Крутой аквариум: в спирту плавает красная икра. Пространство мальчиков: в снегу, кашне вокруг шеи, руки в карманах, люминал, канитель, стоя на ветру возле моста — к ним в темноте подойдут, по щеке погладят — вот и узнались на месте, возле моста. Пространство пропавших с вестью. Трамвайный парк. Мир всхлипов.

Мне Брамса сыграют — я вспомню, что ищет он в адажио Вивальди в центре ГУМА у фонтана, в шесть часов вечера после войны — приди, возлюбленная тень, и это будет вечно начинаться под тению черемухи млечной — пространство упований.

И вот еще такое место, где тихо так, что слышно, как ресничка упала. Это такой стык: идя от собственного мозга к собственному мозгу есть промежуток, где остаешься без мозга, ступенька, шов, пауза, сбой — от толчка происходит мелкое, обходящееся без тошноты, сотрясение мозга, так, словно слегка трахнули по куполу: бемц! — открылась бездна, звезд полна, и с ними балует цыганка: чужие люди, верно, знают, куда везут они меня, и только и свету, что в звездной колочей неправде — черная капель, белая капель, холодно, кажется — вот именно так холодно: зима, полустанок, полнолуние, непрерывно, как растут ногти, светят звезды, новый — пока точка — свет приближается сбоку, справа, убеляет снег и высвечивает рельсы, увеличиваясь, приближаясь, как очередная растущая у тебя конечность, еще одна пара ушей, двадцать девятое полушарие мозга: сблизилось, громыхнуло, приросло — поехали дальше. Можно вернуться в купе.

Такая личная анатомия — персональный зоопарк, совмещенный с аэропортом, бензоколонкой и разными частными строениями — рассуждать следует так: в вас-де слишком много собак и решительно не хватает кошки; или — в нем (он тут не особо при чем, это кто-то другой его этим не снабдил) не хватает скрипа третьей сверху ступеньки внутренней лестницы.

Вот так все время что-то добавляется, прирастает, уже и считать надоело, такая постоянно — со звоночками — увеличивающаяся касса, друг мой милый, видишь ли меня?: летающий зоопарком, подвитаем к библиотеке, со сложными мозгами, в сером плаще и вязаной шапочке, с черным ящиком в грудной клетке — отражаясь, видимо, на пэвэошных экранах в виде точки возбужденного люминофора, шараясь от встречных самолетов — без опознавательных знаков и фонариков на концах крыльев над разноцветно-горящей ночной, беспечной Европой каким-то громадным, а раз громадным, то — зверем: из какого-то темного пластилина в вязаной шапочке, перегибаясь в пояснице, комкаясь, выпуская шупальца и когти, мягко — как дыханиями — сталкиваясь с невнятными встреченными над ночной, говорящему по-разному Европой, беспечной совершенно, в чулочках на подвязках, разноцветной, тоже летающей, по другому, шальной, а я — в срамных, однажды выданных

государством сапогах, скрипящих на каждом левом шагу, в, слава богу, темноте по-над Европой — еще не спящей, ночной, соответствуя ей, то изгибаясь, как Зунд и Скаггерак, то съезживаясь, как Британия, летающей картотекой-телефонной-книгой со всеми своими сорока девятью ушами, ста глазами блестя в поисках глядеть на Вас: всей стаей глаз блестя в темноте над часто дышащей, в полусползших чулочках Европой, всеми стами глазами горя, как фонари небольшого ПГТ, где ночью после танцулек кто-то с кем-то, а кто-то — за кем-то по скудно освещенным улочкам ПГТ с монтировкой, в серьезных сапогах, да это же я сам гоняюсь с монтировкой за кем-то, кто решительно ни при чем, просто ревнуя, Вас там не обнаружив.

Вы же, верно, над более южной Европой, ближе к теплому морю, в черном платье и белой коже, туда не докричишься, но вдруг, что ли, стало видно вдруг во все время тела, и стало понятно, будто лента соскочила и видны сразу все картинки, и стало понятно, что Вы, в общем, устроились весьма неплохо, и это лишь кажется, что Вы внутри каждого дня, как внутри отдельного кадра — серебряной клеточки — и только, а на самом-то деле Вы над Европой в постоянной и ничем не ограничиваемой любви, а то и понять нельзя было — отчего это у Вас решительно ничоному средь бела дня, да еще и в троллейбусе, вдруг учащается пульс, расширяются зрачки и влажнеют ладони.

Видимо, Вы постоянно плаваете над Европой в электромагнитной форме. Видимо, в обыденной жизни Вам бы следовало экранироваться, либо заземляться — дабы у окружающих Вас ничего бы не перегорало. Зачем им лишняя перемотка катушек, обмотка сердец серебристой, прозрачной снаружи фольгой и устройство не пробиваемых Вашим присутствием касок на головах — что смахивает на армию и уже совершенно так в смысле прищемления свободы.

И это — прикидывая теперь по карте — наше с Вами электромагнитное сочувствие может осуществиться между Вашей Грецией и моим Северным морем, между сахаром и солью, где-то над Веной. Внутри, например, плетеного и витого купола над Сецессионом, а то и на чердаке Штайнеровского дома, пугая владельца звуками, немотивированными его образом мысли. Вообще же, Вена, это нечто, понятное не очень. Кажется, там тепло. Судя по всему — там неплохое общество, богатые, кажется, они там, видимо — не без вкуса, распределяющегося по дням постоянно, а не приберегаемого на праздники и выходные — сие утверждение выводится из климатических условий, которые, похоже, состоят в достаточно теплом и сухом воздухе, вполне стирающем различия между помещением и улицей. Хочется, кроме того, надеяться, что пьют там не пиво, а кофе.

Возможно, там еще сохранились небольшие, мест на двадцать кинотеатрики с креслами, обитыми красным или бежевым плюшем, с деревянными — из двух половинок фанеры, выкрашенной в белый цвет, с черным ободком — экранами, там пахнет пылью и сухим целлулоидом. Там бы мы с Вами и пристроились, крутя немое кино. Вы бы осуществляли музыку, а я — наладился бы работать кинемехаником, громко роняя в каморке коробок от частей фильма.

Разумеется, опять возникший антропоморфизм свидетельствует ни о чем ином, как о слабости и невнятности моих исходных позиций, во всяком случае — о неполном вхождении автора в суть проблемы существования, отрезанного от тела. То ли он в тамошней культурной ситуации сориентировался не вполне, а может быть чего-то боится или о чем-то не хочет забыть. Дело-то, конечно, очень простое. Надо взять и раз и навсегда назвать конкретные ориентиры, сказав, что в каждый третий, скажем, четверг месяца, во столько-то по тамошнему времени я буду там-то в виде такой вот козявочки такого-то их серо-белого цвета, в тамошних моих руках будет тамошняя газета ихних, ну скажем — левых христиан, сложенная пополам и помещенная в правый карман тамошнего моего плаща, а Вы, судя по всему, будете в виде . . . но вот ведь ужас-то какой: там-то я — в виде серобелой козявочки — вполне примирюсь с тем, что Вы — в виде черно-блестящей точки, но уж никак не здесь! Тем более мешает вникать во все эти антигуманные подробности человеческое — решительно, впрочем, не находящее себе подтверждения в обыденном опыте — ощущение, что там все уже тут же сто раз встретились и обнялись — хоть любовники великие и великолепные, хоть кто угодно, кто захотел, да еще и всякие эти Чуки и Геки, Герасимы и Муму, Водород

и Кислород. И лишь эта мысль о неминуемости встречи, явственно содержащая в себе идеологическую подоплеку о наилучшем устройении всего и вся, заставляет меня вспомнить о причине данного сочинения: об урле, локальном конце света и об утоплении нас в Канале Грибоедова — человека, сходной с нашей кончины. Мысль эта возвращает мне благоразумие и заставляет смириться со столь малоприятными вещами, как представление Вас в виде бусинки, себя — в виде козявочки, и вновь отправиться — даже не захватив бутерброда — в эти, мягко говоря — заоблачные выси, плотно заполненные абстрактными материями.

Антропоморфизм, впрочем, имеет право жить — какая-то преемственность отношений там сохраняется, отношения с прошлой жизнью там не пропадают полностью, разве что обесцвечиваются, теряют, конечно, жесткую обязательность. Как с ними поступать — вопрос личного выбора, вот с чем связанного: здесь (еще тут) есть закон первой

компании: приход в которую окончателен всегда. Прийти, конечно, можно куда угодно, вот выйти из нее, первой, уже нельзя — пусть даже покажется, что ушел, и даже если компания развалилась и отношения с бывшими там не поддерживаются. Компания все равно существует, и ты ее часть. Конечно, избавиться от этого можно, но это надо уметь сделать. Вот, точно так же и там.

Антропоморфизм, словом, вполне в ходу и по ту сторону — что уж говорить об использовании его при объяснениях — воспринимайте это, если угодно, как форму жестикуляции — какие-то вещи подобным образом объяснить проще всего. Что до парочки абзацев, предшествующих lamentациям по поводу козявочек и точек, то это, несколько неожиданно, себя принялся описывать вариант инкарнации, а раз уж так, то распишем его подробнее.

Итак, что-то произошло над Веной, и в результате мы оказываемся рожденными там, в нормальной австрийской семье, с той же между нами разницей в четыре года, каждый сохраняет свой прежний пол. Растем образом, однако в возрасте, когда пора начинать говорить, каждый из нас начинает говорить по-русски; нас выучивают немецкому, случай забывается; в 16 же лет (моих) происходит вещь уже жуткая: мы с вами вступаем в кровосмесительные отношения, притом, что инициатором инцеста оказываетесь вы (а вам тогда — 12, хрупкая, темноволосая, с розовыми пятнами), причем сами мы не видим в своем поведении ничего, что выходило бы за границы естественного. Нас, поэтому, быстро обнаруживают и — дело-то, хм, в Вене — препровождают к психоаналитику, который не может найти в нас ничего, за что бы мог зацепиться. Что с нами делают после — не знаю — ничего, видимо, особенного, культурная все-таки страна, но смотрят на нас, как на чудовищ, отчего оба вскоре вспоминают все и взявшись за руки вдвоем уходят: в полном уме, очевидном здравии, в очень юном возрасте, решительно без каких-либо детско-юношеских упований, зная что из них каждый, будущим не озабоченных совершенно и насквозь устроенные в личном плане — затевается такой хард-рок, что в сравнении с ними где-то-там-выше-упомянутый автобусный хайтек выглядит плюшевым мишкой.

Осуществляемое до сих пор (с инкарнацией покончено в предыдущем абзаце) было чем-то вроде поездки на поезде из какой-то не очень удаленной деревеньки в город: теперь мы где-то в районе первых пригородов: у подъезжающих — тем более впервые — начинают болеть глаза, поскольку возрастает число требующих отдельного взгляда штук, вид за окном уплотняется, кажется, само продвижение требует больших усилий, почти выталкивает обратно, а движение продолжается и тебя сплющивает так, что приходится признать, что любое серьезное место еще в состоянии расплющить нас как цыплят, размолоть в порошок: фррр — рассыпаешься, будто оказался из маковых зерен, сгорая по собственным отдельностям и ипостасям: некоторое количество красивых объектов из дыма и огня — рождество в Касселе. Когда человек уже не в состоянии выдержать то, что на него навалилось, он всегда начинает формулировать, искать систему — речь теряет свою косвенность, избыточность, легкую — по отношению к ее предмету — перезрелость, язык говорящего потеет, человеку очень хочется, да и в самом деле надо все тщательно записать, даже и прежде всего — то, что с ним происходит, когда на него наваливается нечто,

чего он не в состоянии выдержать, что при этом происходит с речью и языком, что именно и кто говорил на этот случай, и оказывается, что никто ничего не говорил, потому что случай — именно его, и он совсем уже полностью рассыпается, записывая: вот, я ставлю свою левую ногу, вот — сгибаю в колене правую. Тщетно. В таких положениях лучший выход — сочинение автоэпитафии. Недопроникши в тайну, покойся, милый прах, до радостного утра.

Место, куда мы еще кое-как приближаемся, вовсе не град Петра с золотым ключиком. Если хочется сохранить себя таким, каким был в прежних обстоятельствах — быта, работы, чего угодно — сюда приближаться не следует. Никого сюда приезжать не заставляют — вполне можно держаться на удалении от этого города, не рискуя обнулиться, витать себе друг с другом, привнося уют и душевную теплоту в жизни остающихся пока там, как бы внизу; сбоку. А нам уже поздно перерешивать, ничего уже не переиграешь, подъезжаем.

Это, разумеется, не вполне город. Это просто такое место. Его — максимально уже стараясь быть более-менее общедоступным — можно назвать местом ликвидации ностальгии. Там, в результате — скажем так — него, бывшие с нами обстоятельства жизни тела окажутся совершенно равноправными со всеми остальными, лично не пережитыми. Душе, заверяю вас, это не вредит. Впрочем, может быть и вредит. Это что-то вроде паровой топки: все милые наши воспоминания, неизбежно вызывавшие в нас какое-то электричество, конкретные чувства — все это исчезнет. На самом деле это место называют местом настоящей смерти. Приехали.

А это вообще что такое? Не знаю, я обычно не задумываюсь, мало ли куда попадаешь. Кто говорит, что надо задумываться, я же не имела в виду какие-то ученые вещи, а спросила потому, что надо же знать, что тут можно увидеть, ведь если этот город большой, то мы где-то на окраине и надо куда-то идти, чтобы увидеть центр; а если небольшой, то вполне можно остаться и тут; лучше бы чтобы небольшой. Да, кажется небольшой, размер ведь можно оценить по величине домов и плотности застройки. Но ведь если мы на окраине? Нет, потому что, смотри, дом и на нем мраморные дощечки, это какая-нибудь мэрия, горсовет или еще что-то такое. Какой ужас, мы совсем не можем попасть куда-то, чтобы там не было горсовета. Видишь ли, мне кажется, что горсовет вовсе не так уж страшен, как, например... Ах, оставь, этого нам только не хватало, по мне так и горсовет чересчур. Да нет, я же о другом: повезло, потому что тут лето, погода хорошая, а могло ведь оказаться куда хуже: крупный, скажем, город в март или узловая станция, горы угля, все кругом в угольной пыли, снег тает, грязь... или зимой — знаешь, пустыри сплошные, ветер. Но зимой иногда ведь неплохо, снег, мороз, не мутное все такое; тебе не кажется, что тут мы уже были? Нет, просто место похуже, вот, смотри — такие же три дома, но у среднего другая крыша, раньше была шиферная, а эта жестяная, блестит, да на втором этаже еще и горшок с цветком. Наверное, но мне не нравится, что ты сразу стал говорить про то, как могло быть хуже, потому что раз уж мы здесь очутились — зачем вспоминать, как было хуже, тебе что, всегда тут не везло? Нет, не сказал бы, а про это заговорил, потому что мы еще друг к другу не привыкли, и я не знаю, понравится тебе здесь или нет; смотри, что это за пагода, с красными столбиками, почти китайская, может быть это и есть Китай? Да нет, это у них просто какой-то парк, а вот эти рыбки порхающие, это мираж или заправду — потому что жарко? Я думаю, что не важно, лучше свернем в сторону, а то тут пекло, хоть ты и босиком. Да, тут лучше, травой пахнет; там за забором, наверное, здание с клумбами перед ним: училище, где готовят небольших телеграфистов и других почтовых работников. Ты не разговаривай так много, пока ты ко мне поворачиваешь голову может произойти всякое, а ты не увидишь, самой же не понравится. Как мне может это не понравиться, если я этого не увижу. Ну, так мы с тобой вообще ничего не увидим, только разговаривать начали, а уже непонятно куда забрели — ну что это за дома такие странные. Ага, три серых дома, два деревянных и один каменный, но он тоже, наверное, деревянный, оштукатуренный только; чего страшного, что мы тут оказались, не понимаю — будто эти дома такие неприятные, что в них и жить-то совершенно невыносимо. Мне бы тут жить не хотелось. Да я не об этом, я просто говорю, что раз тут стоят дома, то и тут живут, и ничего, справляются как-то. Слушай, давай все-таки посмотреть

по сторонам, а не то забредем так, что не обрадуемся. Ну хорошо, пойдем куда-нибудь, где будем смотреть по сторонам, раз уж тебе этого так хочется, а я совсем не понимаю, зачем это так обязательно, когда на что тут смотреть: дурацкий асфальт и повсюду битые лампочки, ну что в них такого, чтобы на них постоянно смотреть, хотя странно, конечно, откуда их тут много, завода же никакого нет: ну вот, теперь я начала думать, почему их тут много и опять ничего не увижу, ты уж мне рассказывай, пожалуйста. Кажется, мы почти выбрались, мы тут, вроде, уже были — там за поворотом должен быть парк и низкие триумфальные ворота, можно в них постоять, хорошо — большой камень над головой и все падает и падает. Нет, мне это не интересно, это, в общем, его частное дело: падать — не падать. А что бы ты хотела? Что, что? Что бы ты хотела сделать? Не знаю, но что-то надо, я даже знаю, почему надо — потому что мне тут, в общем, хорошо и надо что-то сделать в ответ. То есть, ты не знаешь или ничего пока не хочешь? Я думаю так, что когда надо будет, то и буду знать что делать, а вообще-то много бы чего сделала: от тапочек бы этих избавилась — то их надевай, то снимай: выкинула бы, но тут кругом эти лампочки — странно, место приличное, а лампочки эти повсюду; ну, я бы еще очень много что сделала: надела бы на себя что-то очень легкое, хоть ночную рубашку, так бы в ней и пошла, хотя тут все какие-то респектабельные, а до сумерек еще далеко. Ну, а еще? Ну, не знаю... сходилась бы подстриглась, ногти бы розовым лаком выкрасила, нарядилась бы и посмотрела на все чуть свысока, поблаженствовала бы где-нибудь, на крыше бы позагорала, цветы бы полила, устала бы и чтобы в каком-нибудь помещении — чтобы за окнами был сад — лежала бы на простынях, перекрахмаленных, прохладных, послушала бы парочку ноктюрников Шопена, «К Элизе», серенаду Шуберта, грибоедовский вальсик, и чтобы распахнуто окно, и там из колонки капало бы очень крупными каплями: тяжелыми, перед тем, как упасть они совсем вроде груши, и чтобы как сейчас было спокойно, и погода такая слегка душная, ласковая, и улица тут хороша, небольшая, и дом вот этот: там, кажется, никого нет внутри, хотя странно — калитка почему-то открыта, может быть, хозяев вызвали в какое-то еще более хорошее место, так что они и калитку не притворили, и свет в этом маленьком, вон, видишь, возле забора, домике, как для дачников, не выключили — забыли, или это какая-то дежурная лампочка, раз она так просто, без абажура, и яркая — свечей на сто, как ты думаешь? Я думаю, туда можно зайти. Внутри этого дома? Сначала во двор, как мы иначе в дом попадем. А ты не боишься, что там что-нибудь не так, какая-нибудь крутая собака или засада? Нет, как я могу бояться, если в этом дворе не был и ничего дурного мне тут не делали, пойдем, не отставай. Да, конечно, мне все-таки не хотелось бы заходить туда потом одной... и в самом деле — ничего страшного, ни даже плохого; тебе не кажется, что этот домик стал как бы больше? Конечно, стал, но это просто потому, что мы подошли. А какая разница, раз он и в самом деле стал больше; нет, погоди, не открывай пока эту дверь, я хочу осмотреться: тут, вроде, все, как мне хотелось, только нет колонки с каплями. Может, она за домом, и потом, тут же есть эта лампочка, она теперь ярче светит, свечей в сто пятьдесят, а? Это потому, что мы подошли ближе. Ну что ты говоришь, если мы подошли ближе, то она может стать больше, но никак не ярче. Но как же она может стать не ярче, если она стала больше — давай в дом зайдём и ты сам убедишься, что она чем больше, тем ярче; я вот, кстати, кажется понимаю, откуда на той дороге все эти битые лампочки. Ну понимаешь, так и понимаю. Какая очень тяжелая верь. Не может быть, она ведь маленькая и небольшая. Но я никак не могу ее открыть. Ты, наверное, тянешь ее в другую сторону. Как это в другую. Тогда она заперта. Но она же полукрыта. Тогда не знаю. Ты мне помогай. Но ты же держишь ее за ручку, как я могу помочь. Ты меня тащи. Но тогда я буду не дверь открывать, а отрывать от нее тебя. Тогда возьмешь рядом. Послушай, тут, наверное, под нее просто камушек попал. Как тут может камушек, когда свет из-под двери ровно проходит. Но она же полукрыта. Ну и что? Мы же можем зайти и так. Но ведь мы ее не открыли. Ну и что? В самом деле? Конечно, заходи, видишь, я уже зашел. Ага, действительно можно. Ну, сударыня, что дальше? Не знаю, мы хотели про лампочку выяснить. Да, видишь, она и в самом деле стала больше. Не больше, а ярче, видишь, такая яркая, что за окном словно

ночь, хотя там был день. Смотри-ка, еще больше становится. Это оттого, что мы запрокинули голову и на нее смотрим: от света там что-то в глазах происходит. И ярче становится, и больше. Наверное, она от света набухает. Совсем уже белая, даже еще белей. И очень, наверное, горячая. Нет — это такой холодный свет. Не может быть, я ее потрогаю. Не надо, вдруг она все-таки горячая — лопнет. Но нам же не жарко, так что она не горячая. Нам не жарко, потому что она очень яркая, отвлекает. Я все равно потрогаю. Не надо, будь добра. Все равно, она нас коснется, потому что растет. Но тогда не мы ее, а она нас и, может быть, не лопнет. Мы уже отсюда выбраться не можем, из этого угла, нам ведь уже не протиснуться. Не волнуйся, вдруг ничего страшного. Ты отойди в соседний угол, тогда ей будет дольше. Ну что ты говоришь. А что? Ерунду. Почему. Потому. Она сейчас совсем... Нить какая громадная... как гусеница. Как дракон. Не знаю... Невозможно совсем уже, яркая. Стекло пропало... Куда? Оно позади нас. А мы? Мы тут. Кто? Не знаю. А это еще что?

Какие-то заплывающие брандмауэры, нависающие над перроном, крыша сверху, что твой Хаулин Вулф. Сыро, между рельсами на пустом соседнем пути вода. Зал ожидания, буфет, пол в кафельных плитках, жидкая грязь. *Poste restante*, писем нет. Гостиница. «Вы к нам надолго?» Не знаю. «Завтраки в номер?» Нет.

Откуда знать, сколько тут щелкать этих тараканов. Плюс пять-шесть, низкая облачность, влажность 99 процентов, плащ, шляпа. Вещи, какие-никакие. Вполне равноправен. Почти дома. Здесь всегда, почему-то, тошнит и сложно завязать ботинки (шнурки, обувь, ботинки, башмаки, обувь, валенки, сапоги, сандали, завязать, идти). Башмаки — это где-то внизу. Внизу, стрелка вниз, от тебя считаая — ниже тебя, где-то вне, постороннее. Как дирижабль. Дирижабль (летает, средство для, воздушный шар, самолет, вверх-вдоль-вниз, сел, летать, бабочка, шар, свинцовый). И прочая и прочая: руки-ноги целы и слава богу. Бог (мда). Или как это в рождественских историях: «Булочная пана Прохазки располагалась рядом с центральной площадью, с той ее стороны, к которой прилегал заснеженный сквер с фонтаном, изображающим вставших на хвосты двух дельфинов, зажавших своими клювами литой резиновый бронзовый шар». При ветре с моря уровень воды в фонтане повышался, она переливалась через края и стекала вниз по улице, открывавшейся непосредственно заведением пана Прохазки: булочная (сдоба, батоны, круасаны, рогаики, бублики, горячие бублички, конфетки-бараночки, пулеметные сушки, разнообразная выпечка и сахар в синих пакетах). Не лучше, чем у других, но и не хуже. Прохазка был средней руки агент Луны, к тому же, по слухам, халтурил на духоборов сербохорватского толка, работая, однако, не за страх, а за совесть, не любил голубей, собственная пекарня, интересы: аквариум, разведение змей, ловля бабочек и филателия.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Прохазка, если уж и не помнил почти ничего, то должен сообразить, что так стучат люди со специальным интересом. Да, вот и на вывеске написано: «Заведение Прохазки». Странно, значит он сменил профиль — нарисовано пиво.

Открывает, кажется, Прохазка. Здравствуйте, Прохазка. «Прохазка умер». А кто тут не умер? «Меня звать Шибышевский, заходите, ясновельможный пан, у нас сегодня чисто».

Кабак как кабак. Стойка, два троцкиста в углу, три-четыре бляды, самовар. Город-то большой? «Вообще или в этот раз, ясновельможный пан?» Я тут не впервые. «Так что в этот раз ничего, двадцать пять кинотеатров, дом скорби, ветлечебница. Ничего, дела идут вовсе не совсем плохо». Кофе, пожалуйста. «Платить будете или вы на работе?» А как себе пан мыслит? «Прошу прощения, ваше благородие, не признал. Откуда нынче, опять из России?» В общих чертах — да. «Тогда, может, водки?» Нет, кофе.

«Прошу вас, сударь». А где можно найти лысого? «Лысого худого или лысого одноногого?» Худого. «Это недалеко. Выйти — направо, два квартала, там будет такой садик, что ли. Вот, в садике».

И верно, в двух кварталах ходьбы, возле входа в метро Монсо, был сад, по идее — опрятный, но какой-то развороченный, и в углу, на плетеном стульчике сидит лысый. Привет.

Лысый, в общем, почти не изменился. «Привет». Он был

небрит и уныл: какой город — такой лысый. Какими судьбами? «Из окна выпал». Традиционно. «Традиционно». Помолчали. «А ты?» Да сапоги, знаешь, кирзовые. «Тоже неплохо». Конечно. «Есть в этом своя прелесть: от внешних причин всегда приятнее, чем от внутренних. Тяжесть прикосновений . . .» Что ж ты все вываливаешься? «Ладно, в первый раз, что ли . . .»

В этот раз тут почти пусто, нет даже мусора, обычного для примерно где-то здесь, даже тошнота почти прошла. «Ты как, удачно?» В общем, да. «Кем нынче?» Литератором. «Смотри-ка, грамоте выучился. А то все медведей водить, да кисточкой мазать. Нобеля-то тово?» Еще чего. Нормальный европейский уровень, Czysto Forma. «Ну, все равно — не за свой счет издаваться . . . уважаю». А ты откуда нынче сиганул? «А, что там . . . кошмар, а не жизнь. Представляешь, Каталония, сплошные апельсины и коньяк, велосипед у меня был, домик на окраине под Барселоной. Ну, Барселона, Гауди там, жара — наинесусветнейшая, коньяком, как квасом, на каждом углу торгуют — а у меня на жару аллергия. Только алкоголем и снимал. Тоска. Ну, разумеется, куда тянет русского человека, если даже он испанец? В Россию, натурально. Два сезона работаю на уборке, апельсины эти хреновы, денег не трачу, опять же — коньяк дешевый, покупаю тур со скидкой (как члену компартии — для того и вступил), тащусь в Россию. Вот, естественно, и вывалился». А кого там видел? «Да черт знает, не вспомнить». С тобой мы там, вроде, не встречались . . . тебя там как звали? «Сеня, А ты там как выглядел?» Ну как, метр семьдесят два, около восьмидесяти кило, квадратный, в общем. «Уши оттопыренные?» Да нет. «А бороду носил?» Никогда. «А звали?» Андреем. «Нет, это тогда не ты, а то там Толя такой был. Замечательный мужик. «Я — говорит — хотел покончить жизнь самоубийством, но, к сожалению, меня стали убивать самостоятельно советские граждане. И поэтому я сдался и не стал искать виселицу, вот-вот убьют и так. Дурдом, — говорят, — тебе обеспечен, над тобой профилактика висит, проверять твою специфику, когда ты болтаешь, когда ты говоришь. Немухин и тот стал заподозреть не сумасшедший ли я, но понял мой юмор, что он сумасшедший скорее, чем я. Больной человек всегда сумасшедший. Если ему ногу отломить — что он, полноценный человек? Нет. Перебить ему кости. Нормальный он человек? Нет. Он обязательно всегда будет говорить чушь. И поэтому, говорю, господин Немухин, вы всегда будете говорить чушь, до тех пор, пока не откажетесь от новой своей проблемы отдавать мою водку постоянным личностям. Вот такие дела».

Помолчали. «А что ты здесь болтаешься?» Дела. «Привел, что ли, кого?» Пока неясно. «До лампочки, что ли, дотащил?» Угу. «Девочка, небось?» Да. «И хорошенькая?» Конечно. «Ну, бедный, досталось же тебе, видно . . .» Да нет. В пределах слабой шизы. Ну и кое-какие чисто дамские штучки. «Тогда еще ничего. А бывает, что и кусаются. Вот я одну хотел привести. Черт знает что за человек. Сплошная природа — зеленые соки, проросшие зерна, ежеутренние очищения, тьфу. Ну может нормальный человек такую жизнь — даже в конспиративных целях — выдержать? Не может, разумеется. Поехала она к подруге. Оп. Сижу пью — и не рассчитал: заявляется, бутылку увидела — скандалище, истерика, бутылку хватает и к раковине, я следом — отдавай, чистый продукт же, отнимаю, а она — вот тебе, самоубийца, чистый продукт — и как зубами в ладонь вцепится. Тьфу. Вот и живет теперь елкой какой-нибудь. Новогодней. И поделом. В общем, как я понимаю, опять мне на лавочке не отдохнуть, а по городу рыскать, девочку искать. А она ж, бедная, раз еще и хорошенькой была, тут просто-таки расплачется, домой захочет, забьется куда-нибудь и давай хныкать. В подвал какой-нибудь. У тебя фонарик есть? Хотя теперь сюда мало кто добирается. Ладно, иди к ребятам, а мне тут еще так и так две недели болтаться — отыщу, если у нее выгорело». Да она умеет кое-что. «Ну так и найду тогда, опиши только». Да ладно, что тебе бегать. «Ну да, конечно . . . опять повсюду страсти роковые и от судеб спасенья нет. Жили-были у Будрыса три сына . . . что ж такое — нет,

оба с горячим умом, холодным сердцем и чистыми ушами: строго деловые отношения. Какие у нас тут, к чертям собачьим, страсти? Сыро, город вообще ветренный. Ветшает. Вон, на вокзале, неделю назад поезд едва с рельс не сошел, едва удержали. Тьфу. Давай, описывай».

А кто сейчас в городе? «Точно не знаю. Профессор недавно был. Проездом. Пастор тоже место имел. Но он не то что ты — целую толпу притащил, штук пять новеньких — потешные: озираются, разглядывают все, будто не видели никогда. Он их так забодал, что они чуть ли не сразу на вокзале собрались. Коллективный разум приволок, не иначе. Тебе-то это зачем, не твое же дело. И еще отлавливать. Давай уж я, в самом деле. Буддисты, вот, на меня очень хорошо выходят. Видят: сидит человек на лавочке, на листья падающие смотрит, на лужи — ну их человек и никаких сомнений. Бедные ребята, кто их тут ждал. Хоть набрели наконец. На прошлой неделе было. А может, она и не добралась вовсе? Пфф и все, а тебе в этой дыре торчать?»

В словах коллеги — грустно размышлял я, удаляясь от сквера, — смысл, конечно, был. Но и то — неладно оставлять человека в этом месте. Другое дело, что и позволять себе подобные авантюры не следовало. Там все же не Эрмитаж и не Лазурный берег. А хоть бы и Эрмитаж и Лазурный берег. Так как-то вышло. Но и то: получилось — значит так и надо. По Ф. К.: «Почему жуки не покидают свой ужасный край, в любом месте они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и их нынешними желаниями. Но они не могут; все, что возможно, происходит; возможно лишь то, что происходит». Можно, конечно, считать себя просто стечением обстоятельств. Стыдно, а все — выход, если она, разумеется, сюда добралась, а то в самом деле: пфф и пылью по вселенной, если там ничего не было.

Что же там такое было, надо хоть что-то восстановить, чтобы вспомнить. Когда пробираешься сквозь лампочку, главное — сгруппироваться, так, вроде, и было. Но почему тогда ее не оказалось на вокзале, ведь все, вроде, обошлось нормально. Странное место — все время по-разному, а в зеркалах и стеклах не отражаешься никогда. Это правильно, нечего пачкать собой все блестящее. Сила, в конце концов, не в занятии пространства и не в строгости — в поустительности, скорей. Кто же она такая, ничего в этом городе не вспомнить, какая-то вечная сумеречная сытость, ничто не встречает ни малейших возражений, рай для графомана. Хоть так, хоть этак, никакого сопротивления, лепи что угодно, никакая змейка по пальцам не проскользнет. Не проскользит, не пробежит. Не змеи, змейки: не маленькие змеи, совсем другое — не стервы, серебряные, скользят где хотят, быстрые, слегка магнитные, опрятные, пьют молоко из блюдца, с зелеными глазами, хитрые — все-то им чего-то для развлечения надо, не шуршат, когда залезают в ухо, жесткие, а то — мягкие, тают на теле, особенно по утрам, золотая ниточка, серебряная цепочка, полоска сладкого дыма, ртутный воздух, умная вода. Знают, когда в них нужда, а замешкались — можно позвать, легонько свистнув.

Ну что же, добралась, так добралась. Потопаем сейчас дальше, надо только тебя немножко проинструктировать. Ничего там особенного, жизнь как жизнь; впрочем, не знаю. Но цвета, во всяком случае, как цвета: серый, голубой, серобелый, желтый, бело-желтый, черный, золотой, белый. Малиновый с серебряными звездочками, синий с золотыми. Вещества всякие, тоже нормальные; свет, темнота, дождь, снег, иней, в октябре на рассвете листья светятся, все похоже, и звуки тоже все такие же. Если что-то будет не ясно — сообразится, все-таки ничего там особенно нового. Не парадиз, конечно,

хотя как сказать — на нервы там не действуют. Стоило стараться. Значит, туда очень просто: представляешь себе жизнь, где ни дураков, ни жлобства, ни агрессоров.

Впрочем, можно ограничиться дураками.





МНЕ НРАВИЛОСЬ, ЧТО МЕНЯ ДРАЗНЯТ: ТО, ЧТО ЛЮБИТЬ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ КРЕПОСТЬ, КОТОРУЮ ЖУТКО И ВСЕЛО ЗАНИМАТЬ ОТ ПРЕВОСХОДЯЩИХ СИЛ. ДАВНО ЖЕ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ЧЕГО-ТО УПРЯМСТВО: Я ДУМАЮ, ЧТО Я ЧЕЛОВЕК ДОВОЛЬНО ТАКИ ТИХИЙ — ШКОЛЬНИКОМ НЕ ДРАЛСЯ, А КОГДА ДРАЗНИСЬ, ВТЯГИВАЛ ГОЛОВУ В ПЛЕЧИ; ТЕПЕРЬ, КОГДА СПОРЯТ, ТОЖЕ ВТЯГИВАЮ ГОЛОВУ В ПЛЕЧИ; НО БЕЗ КАКОЙ-ТО ГОТОВНОСТИ К НЕСОГЛАСИЮ ЖИВОГО СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. АЩЕ И ВСИ, НО НЕ АЗК. — ХОТЯ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО БЫЛО С ТЕМ, КТО ТАК СКАЗАЛ? *

С. С. Аверинцев

Интервью (вернее, монолог) состоялось зимой 1986 года в редакции философской литературы издательства «Авотс», где Сергей Сергеевич находился в связи с выходом его книги «Поэтика ранневизантийской литературы» на латвийском языке. Был задан один-единственный вопрос: о месте интеллигента в современном мире, и, пожалуй, вопрос этот достаточно «вечный», чтобы ответы Сергея Сергеевича смогли заинтересовать и в настоящем. 1990 году.

УЛДИС ТИРОНС

* С. С. Аверинцев. Филология — школа и историческая память. — «Вопросы литературы», 1984, № 7.

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ: «...ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ — ЭТО УЖАСНО».

Если бы вы сказали, что жизнь благополучна и ничего с людьми не происходит, тогда можно было бы подумать, нужны ли гуманитарные занятия, то есть нужно ли ставить вопрос о человеческой сущности — или, может, не нужно. Может быть, жизнь настолько проста, что зачем усложнять... Но если, как Вы говорите, сегодня революция, завтра авария, то уже невозможно не заниматься такими вещами...

Вообще английский филолог и писатель XX века К. Стейп Льюис (C. S. Lewis) однажды на эту тему говорил речь перед своими студентами во время второй мировой войны. Лондон бомбят, каждый из этих студентов может завтра отправиться на фронт, а сейчас они должны слушать лекции по английской литературе XVI века, которые как раз читал Льюис. Стоит ли так и как это совместить? Льюис говорил: на этот вопрос можно ответить и так и так, но человечество давно ответило на этот вопрос совершенно определенным образом: если бы для того, чтобы заниматься гуманитарными дисциплинами — поэзией, искусством, философией, — нужно было бы дожидаться какого-то спокойного времени, то человечество до сих пор прождало это время и все же его не имело бы. Но, говорит Льюис, — люди другие. Они имеют другую природу. Уж такая порода люди — они пишут стихи в ночь перед атакой или перед казнью, или, как Эварист Галуа (Galois) решают математические задачи, — его должны были с непреклонностью убить. Люди таковы. Хрестоматийный пример — Архимед, которого римский солдат застает решающим геометрическую задачу. Люди всегда были таковы. И, по правде говоря, чаще большая поэзия, большая философия получалась из риска, опасности, трагедий, чем от благополучной жизни. Да и то сказать, — что такое благополучная жизнь, и видел ли ее когда-нибудь человечество, это совершенно непонятно. Мы слушаем музыку эпохи барокко и думаем: какое было спокойное время. Потом мы соображаем, что ее творили люди, каждый из которых, наверное, хоть однажды видел публичную казнь. Ну, ка-

кие тогда были казни: четвергование, колесование, или хотя бы вешали людей, или голову отрубали. Взрослый человек не мог просто дожить до зрелого возраста и ни разу этого не увидеть.

После войны Теодор Адорно сказал, что после Освенцима нельзя писать стихов. Но вот замечательная немецко-еврейская поэтесса Нелли Закс стала писать стихи именно под действием этих переживаний. Она дожила до пожилого возраста, не писала настоящих стихов, — так, только для себя. А затем, когда ее семья погибла и потом погиб человек, которого она всю жизнь платонически любила, тогда она стала писать замечательные стихи, и она говорила: мои метафоры — это мои раны, — и это действительно так. И если подумать, Нелли Закс, а не Теодор Адорно, находится в согласии с традицией человечества, которое всегда имело поэзию надгробных плачей и причитаний. Человек в беде всегда делал две вещи: он пел, и он думал.

Гуманитария.

Во-первых, гуманитария связана тесно с одной проблемой. Человек — это существо, жизнь и мысль которого опосредованы языком и вне языка не существуют, т. е. хотя мы «имеем» коды для ЭВМ, человечество думает словесно. Человек — существо словесное. И люди разговаривают словесно — хотя может получиться популяция людей, которая разучится разговаривать в настоящем смысле слова. Вот такие люди, которые просиживают вечера перед телевизором и когда идут на прогулку, даже с невестой, берут с собой магнитофон. И которые все время слушают, только чтобы не говорить, чтобы уклониться от этого испытания: испытания словом. Это даже понятно, только очень дурно. Это очень понятно, потому что говорить (как и всё хорошее) — опасно. Нет ни одной хорошей вещи, которая была бы безопасна. И говорить — это в некотором смысле страшно. Человек испытывает себя и испытывает другого, когда говорит. Но не говорить — это страшно в совсем другом смысле: это страшно, как ад. Понимаете, ад можно определить как место, где люди не разговаривают.

М. Вивег говорил однажды о самой черной точке нашего столетия — о Гитлере. Когда он слышал речь Гитлера по радио, он думал, — вот это существо, которое может одним движением своего речевого аппарата отправить миллионы людей на смерть. Но он не может того, что может самый слабый, самый жалкий человек на свете, который сохранил в себе человечность: то, что сказано на немецком и трудно переводить на русский: ein gesprochenes Wort in die Welt setren — «внести в мир сказанное слово». Слово, которое сказано, человеческое слово, на которое может быть дан ответ. Слово, в которое человек вкладывает свою человеческую сущность. Слово, язык — это инструменты человеческого мышления, человеческого общения, т. е. двух самых ответственных, самых опасных занятий человека, потому что ошибки в мысли — это чудовищное бедствие, и человечество всякий раз за всякую ментальную ошибку расплачивается очень дорого. Инструмент этого общения — это язык. Язык — литература, поэзия прежде всего, и то, что исторически выросло вокруг этого и в связи с этим — теория литературы, называется ли это критикой или это теория литературы в самом глубоком смысле этого слова. Бывает пустая и плохая теория литературы, как бывает пустая и плохая критика...

Ошибка в общении грозит гибелью нам лично, когда мы что-то безнадежно портим в общении с людьми, без которых, однако, не можем жить.

Когда люди одиноковы (в унисон), когда начинают говорить неотвественно, без вслушивания в слова, огрубленно — это симптом, конечно, не единственная, а одна из причин чудовищных бедствий, которые происходят с людьми. Опять-таки, если, ну, вот только что упомянутый гитлеризм. Один человек сделал такой словарь немецкого языка, который употреблялся гитлеровцами, он называется «Словарь не-человека». В словарных статьях этого словаря анализируется порча немецкого языка, которая была осуществлена гитлеризмом. Но, разумеется, такие вещи — это насилие над языком и пор-

ча, которую устраивают намеренно, так сказать; но все время приходится бороться с ненамеренной порчей языка, которая происходит просто от лениности, от упадка культуры; культура приходит в упадок всякий раз и в том месте, в котором мы перестаем ее беречь. Культура сама себя беречь не может; мы должны ее беречь, и беречь очень существенными усилиями, и беречь не просто от варваров, которые «где-то там» или хотя бы от недостаточно образованных людей, а нас самих достаточно; от варваров в себе самих. Каждый человек, как бы высока ни была его культура, поддаваясь какому-то нравственному соблазну, может — есть такой глагол «опуститься», и тогда он становится варваром. В конце концов, образованный варвар — это самый опасный варвар. Варвар — существо чужое в культуре — живет в каждом из нас, и борьба за культуру — это в первую очередь внутренняя борьба с силой инерции, с силой распада, с силой безответственности...

То обстоятельство, что жизнь опасна, что жизнь, что человечество идет — как оно делало всегда — неизвестным путем, оно все время находится в пути, находится в пути, который никто за человечество и до человечества не прошел, но просто сейчас ландшафты меняются все быстрее; когда-то даже не было очень заметно, что жизнь меняется; сейчас жизнь меняется стремительно и на таких уровнях, на которых она никогда не менялась. Культура попадает в совершенно новые условия. И прежде всего, самое первое, это вот что. Культура — ну вот простая вещь, это триумф, но это все-таки правильно, — всякая культура, в том числе и нравственная культура, всегда была культура для круга, так или иначе замкнутого. Даже народная культура была всегда культура этого народа, как, опять-таки, вот, культура этническая, культура конфессиональная, всегда отграниченная, вот там начинаются чужие, и это было нужно. С другой стороны, это создало какие-то первичные возможности. Нельзя отрицать, что для людей легче соблюдать стандарты, когда они чувствуют определенную поддержку в самоутверждении. К примеру как в Евангелии фарисей благодарит бога, что он не такой, как другой, как грешник, вот как хорошо, что я не такой, как он, что я — грек, а не варвар, что я — европеец, а не азиат (или наоборот), что я принадлежу именно к моему народу, а не такой, как эти противные народы вокруг, и так далее. Что я принадлежу именно к моему сословию, к моему кругу, и у всякого круга была своя гордость, своя слоенность была в народе, между прочим, об этом Пеги (Pegu) тоже говорил, что надо отличать бедных от шантрапы; у бедных тоже была очень сильная — у приличных бедных — очень сильная, так сказать, сословная гордость. Какими бы мы ни были бедными, мы все-таки не такие бедные, как

вот эти уголовники, и так далее, или попросту какие-то непонятные чужаки, а мы вот здесь живем, нас все знают, мы хоть совсем бедны, но все знают, какие мы честные, все нас уважают. Это чудное чувство. И одновременно, вот всегда проведена черта, всегда, вот здесь стоит порядочная женщина, а здесь проститутка, и порядочная женщина, конечно, она отделена контрастом, и контраст выгоден для нее.

А сейчас культура действительно должна быть для всех. Это нравственное требование времени, но вот эта открытость, этот опыт для культуры совершенно новый, и для нравственной культуры тоже, т. е. когда вот это ощущение чудной верности и одновременно такой немножко самодовольной верности укладу, ну вот мы живем так, мы всегда жили так, мы не такие, как они, и мы даже не будем очень этим хвастаться, но мы все время чувствуем, что мы вот такие.

Когда все размыкается, об этом немного писал Бахтин по поводу романа Достоевского и так далее. Мир Достоевского — это впервые разговор, это впервые мир, где впервые духовно все со всеми могут разговаривать, где никто не закрыт, не находится в безопасности, не гарантирован, — ему придется вступить в контакт, в духовный контакт с каким-то самым странным партнером; чисто социальную сторону этого ведь Бахтин тоже рассматривал. Вот в такое время, в какое-нибудь другое можно было и не заниматься вопросом, что есть человек, и даже охраной языка, потому что, в конце концов, язык, ведь есть такой народный язык, почвенный язык, который как-то охраняет себя сам, живет своей жизнью, как природа живет совсем без человека. Это ведь совершенно новая ситуация, когда надо охранять все то, что людям охранять никогда не приходилось. Есть какие-то реальности, которые даровые; человек их застаёт, ими пользуется, это «hineingeboren», это чудное немецкое выражение «рожден во внутрь чего-то». Как раз Гвардини (Guardini), кого я упоминал, говорит в книге «Конец нового времени», как изменилось ощущение природы. Так для Гёте природа — это мать и сильная мать, а человек — это слабый, но счастливый ребенок, который припадает к ее коленям или к ее груди, и она просто своим присутствием ручается за то, что все будет как надо. И так же точно патриархальное крестьянство как носитель наиболее устойчивого вида культуры и наиболее консервативного. Это были данности, это так и было, и никому это не нужно было доказывать, и язык не нуждался в охране. Только хрупкая верхушечная культура, культура музеев, картинных галерей и так далее, культура интеллигенции, — это надо охранять, но народная культура сохраняла себя сама. Этого не будет больше никогда (как и с природой), это значит, какая же мера от-

ветственности должна быть в такой ситуации, когда роду человеческому действительно ничего не остается, как впервые не теоретически, очень реально почувствовать себя единым; как философы XX века столь разные и на Западе и в России; Бахтин, который был не только и не столько литературоведом, сколько философом (философской антропологии?), и на Западе Бубер, Марсель и Карл Ясперс говорили о диалоге. Действительно, никогда не было таких возможностей для *abgebrochene Kommunikation*, обрыва коммуникации, перерыва в общении. А может быть, это происходит тогда вот, когда эти самые люди, смотрящие все время телевизор или слушающие радио, или читающие газету, когда они перестают разговаривать друг с другом. Вообще, никогда не было таких широких возможностей, от которых захватывает дыхание, возможностей исторического познания тоже. Во всяком случае, такие успехи физики, техники и атомной тоже, — немножко все это скрыло от широкой публики, как много сделала история и археология тоже, историческое понимание, культурология, как теперь говорят (я как стародум, как консерватор немножко боюсь новых терминов), историческая герменевтика, которая появилась в XX веке. У нас есть возможности понимать культуру прошлого как никогда, но такие же возможности утратить понимание, тоже как никогда. То есть, никогда прежде от человека, от его нравственного усилия не зависело так много, потому что прежде, с одной стороны, возможности исторического понимания были ограничены самой жизнью, с другой стороны, совсем потерять историческую память, связь поколений и так далее человек не мог, потому что просто в самой жизни, его окружавшей, слишком массивно, слишком сильно было присутствие исторической преемственности, которое еще не надо было так оберегать. Прошлое обступало человека, и он не мог отделить себя от предыдущих поколений...

Теперь человеку дан выбор либо жить в очень богатом общении, либо жить вне всякого общения с прошлым, в бессмысленности...

Я не считаю вопрос о смысле гуманитарной специализации преднамеренно высокомерным. Я думаю, что половина или три четверти той досады и того желания отмахнуться от гуманитарной культуры связано с ложными путями популяризации культуры, т. е. когда культуру для нужд популяризации превращают в нечто такое, чем человеческое существо действительно и не должно заинтересоваться; настолько проблемное, тихое, неопасное, или наоборот, такое громкое, повелительное: вот наше замечательное прошлое, посмотрите на него, посмотрите... Никому не нравится, чтобы с ним разговаривали как с идиотом; разго-

варивать с людьми, как с идиотами, даже из самых хороших намерений очень опасно и приводит к печальным результатам. Масса — это совершенно особое понятие, это даже не современный человек-масса, это не похоже на человека из низов, человека из народа в старых типах общества, где опять-таки был этот замкнутый круг и где была патриархальная традиция неосознанная. Там был этот человек; к нему мало обращались; когда к нему обращались, получалось по-разному; но человек массы — это совсем другое. Как разговаривать с человеком массы, как ему говорить о культуре, — это одна из самых острых, если не самая острая проблема.

Единственное, что ясно с самого начала, — что человек массы в качестве человека требует, чтобы с ним разговаривали серьезно. Когда с человеком разговаривают несерьезно, он это всегда чувствует.

Какие-то соображения о том, как разговаривать с современным человеком, есть у русского мыслителя XX века Георгия Федотова, историка и философа, вот он как раз требовал разговора без прикрас, без смягчения чего-либо, с полной ответственностью; говорить обещал о вещах страшно; вроде бы настоящая культура в XX веке так и обещает: эта проблема, которая решается только жизнью (практически, говоря о том, что надо любить человека массы, нельзя говорить человеку, что он человек массы; нельзя объяснить ему в любви, но любить его надо, иначе он не будет слушать). И вообще человек будет слушать только того, кто его любит, это... есть неравенство таланта, которое очевидно будет всегда, и чем оно будет сильнее осознано, чем сильнее будет осознана его реальность, тем лучше.

Одна из вещей, от которой гибнет, болеет современная культура, — это существование многих людей, которые занимаются делом, не имея к тому призвания. Существуют, страшно подумав, сколько людей, которые пишут стихи, романы и так далее. Вот, я думаю, это совсем не вопрос снобизма, не вопрос разделения тоже, потому что человеческая жизнь, как человеческая жизнь, всегда трудная; она для человека массы в высшей степени трудна. Вот Симона Вейль попробовала быть фабричным рабочим и объяснила нам всем, что это очень трудно.

Но есть древнее представление, которое, очевидно, правильное, хотя оно очень древнее, очень архаичное, очень наивное и относится к области мифа, ритуала, сказки, но оно очень верное. Для того, чтобы жениться на сказочной красавице или узнать тайну, человек должен пройти трудное испытание, испытание, которое может пройти не всякий. Испытывание чувства дистанции по отношению к идеалу, к императиву, к требованию, которое к себе

предъявляешь, — это, вероятно, самая рациональная форма такого испытания, потому что формы испытания могут быть разными. Когда в прежние времена людям из низов чрезвычайно трудно было получить образование, потому что они из бедной семьи и так далее, и если они все-таки таким упорным трудом, как мой отец —... у меня был очень старый отец, который родился задолго до революции, в 1875 г., в простой семье и впоследствии получил высшее образование с очень большим трудом. Это усилие голодать, давать частные уроки и т. д. Все это было испытанием, но, слава богу, этого нет и никто не пожалеет, что этого нет.

Но какое-то испытание должно быть — какое? Ну вот Карл Ясперс, которого можно критиковать, но который в любом случае не самый последний из философов XX века, рассказывал, что он считал действительно для себя невозможным, когда он выбирал профессию, пойти на философский факультет. Это как же? Когда его спросят: а кем ты хочешь быть? — Сократ — философ, Аристотель — философ, Платон — философ, Кант — философ, а вот он — мальчик, который еще ничего не сделал, и вдруг скажет: я хочу быть философом. Это было для него невозможно, он пошел на медицинский факультет. Получил квалификацию психиатра, как это происходит в философии, работал как психиатр до того, как он стал настоящим, известным философом.

Вот это чувство, — не просто человек, который решается стать философом, он претупает какой-то порог, который иной раз страшно переступать. И надо, чтоб ему было страшно. Дело обстоит примерно так, как в другой области жизни, где конечная цель — это чтобы подходящие друг другу юноша и девушка нашли друг друга, создали семью и имели детей; но всегда культура занималась тем, чтобы сделать соединение мужчины и женщины затрудненным (вот сейчас опасность для человечества, что это становится легким). Почему это надо затруднить, писал такой человек, которого никто не назовет ни изувером, ни моралистом, ни аскетом — Борис Леонидович Пастернак в своей «Охранной грамоте». Почему человечеству, цивилизации, культуре всегда надо было создать плотину целомудрия на пути этого потока; только, если сделаешь плотину, только тогда воды станут глубокими. По этой же причине нельзя, чтобы было так просто объявить себя художником или философом, чтобы значение этих слов все-таки было ясно. Что это такое — человек решается говорить за всех. Это не противоположность гения и толпы. Что значит толпа? Всякий имеет призвание к чему-то. Другое дело, чем больше, чем глубже, чем искреннее мы будем считать всякий труд настоящей святыней, чем-то приравненным к вдохновению, тем лучше, тем ближе мы будем к исти-

не. В конце концов, — делать самое простое дело так хорошо, как никто другой его не сделает, это в некотором смысле, в самом важном смысле, ничем не хуже, чем писать такие стихи, которые никто написать не может. Вообще писать стоит только такие стихи, которые никто написать не может. Больше никаким стихам рождаться на свет не нужно. Иначе получается, как мы и видим, страшное засорение экологического пространства культуры. Кажется, я это не сумею объяснить, я мало что понимаю в биологии, хотя мои родители были биологами: выдумали какой-то способ бороться с популяциями вредных насекомых — искусственно выращивать очень много бесплодных самцов этого насекомого для того, чтобы они отгоняли других самцов от самок, и чтобы не было потомства. Вот нечто подобное происходит, когда существует столько людей, которые называют себя поэтами; когда философ называется человеком, который кончил философский факультет, а поэтом человек, которого приняли в Союз писателей (я не знаю, может быть, у вас эта проблема не такая острая, у нас она очень острая). Ну, мы, русские люди, немножко помешаны на стихах так, как Евпатий когда-то написал о египтянах времен поздней античности. Мы помешаны на стихах, и всякая книжка стихов, которая чего-то стоит, исчезает с прилавков тотчас же; но на прилавках лежат штабелями книжки поэтов, о которых никто никогда не узнает, и это катастрофа.

Необходимо, чтобы человек подумал, прежде чем сел писать стихи. Разумеется, гарантий все равно не может быть никаких. Всякий ответ молодому человеку, стоит ли ему писать стихи, может быть только таким, какой дал Рильке: «Если вы можете не писать стихи, то не пишите, а если не можете, то зачем вы меня спрашиваете?». Вероятно, есть графоманы, которые не могут не писать, но все же, — если бы писали только те, которые не могут не писать, то есть, настоящие поэты и совсем больные графоманы, ситуация была бы немножко лучше. Легких промежуточных случаев не было бы, совсем больных людей... немножко меньше... в их стан никто бы не пошел. Случай такой страдальческой невменяемости — это уже как у Некрасова в одном стихотворении высказана мысль, что это те жертвы, которые приносит человечество, чтобы появились настоящие поэты. Но люди действительно больные, страдальцы, жизнь которых по крайней мере серьезна, неудача которых серьезна, трагедия, трагедия Сальери — это все-таки настоящая трагедия, но благополучные промежуточные состояния — это ужасно.



Театральная группа «Карусель» из Амстердама предлагает читателям «Родника» свою версию о Любви и Смерти. Как реализованную во сне версию Времени, в котором снесены загородки человеческого одиночества и возникает практика, но утоляющее мгновение для улады души; это понимание того, что бред зла победим словами нежности и любви. Всякий раз, когда на сцене читают какой-нибудь из приведенных тут практик монологов, не только зритель, но и актеры сами столбенеют перед узнаваемой реальностью высказанных слов. А далее следуют — танец и музыка, искусство из искусств. В танце актеры пародируют только что пересказанные страшные сны. Я думаю . . . совершенно на другом уровне отношений — тут нет ни насилия, ни зла. Есть только сценки комических недоразумений, как это и случается, когда игру (в помещении для репетиций танца) путают с жизнью (между партнерами ЕСТЬ чувства — только «объекты» находятся в разных, «неправильных» парах!). Так игра обогащает жизнь, порой заставляя думать также и о реальности наших чувств: когда они действительны — в театре жизни или в иллюзиях сна? Музыка звучит во Времени — Bette Midler, James Brown, Reilly, Yonna Lewi, Talking Heads, Elvis Presley, Baby's, The Elegants . . .

И танец. Объятия. Прикосновения. Близость. Звук. Музыку и танец ты сейчас не увидишь и не услышишь зафиксированными тут, на страницах журнала. А в себе?
Как слезы одинокой, безответной любви на плече Смерти.

НОРМУНДС НАУМАНИС



Вальтер. О чем я часто думаю, так это о том, что очень холодно. Мороз 28 градусов, а я должен босыми ногами бежать по льду, и после каждого шага, который я делаю, на льду остается, приклеившись, кусок моей кожи. Я бегу от А до Я приблизительно 30 километров, и когда я добирюсь до Я, ноги у меня становятся совсем короткими.

Порги. О чем я часто думаю, так это о кровати, в которой лежит моя мать. Она чем-то напоминает лошадь, но гораздо более безобразна. Её пеньюар сделан из живых летучих мышей, крылья которых нашиты друг на друга. По их движениям можно понять, что им, летучим мышам, это не нравится.

Лике. О чем я часто думаю, так это о том, что 24 плюс 5 равняется 29, 29 плюс 7 составляет 36, тридцать шесть минус 37 — это минус 1 . . . 0 минус 0 — это 0, 0 минус 0 — это 0, 0 плюс 0 — это 0.

Дик. О чем я часто думаю, так это о том, что в ушах у меня звенит, щеки заливает огненный румянец, ноги становятся ватными, а сердце бьется как сумасшедшее, как сердце убийцы, и я, наконец, падаю в обморок, а находят меня только после четырех часов поисков.

Вальтер. Ну и как, хорошо тебе лежится? Я в общем-то хотел тебе кое-что сказать. Мне кажется, что я на самом деле здорово в тебя втрескался. А не лечь ли мне сразу же рядом с тобой? Черт подери, мне позволено лечь рядом с ней. А ну-ка, вставать, раз, два, три, сначала на правую ногу. Стой! Теперь уже мне нет хода обратно. Черт подери, я начинаю потеть, я мокрый, как мышь, — теперь я уже не могу ее погладить. Тебе холодно? Я лягу с тобой рядом. С какой стороны мне лучше лечь? Если я лягу справа, — тогда я начну с поцелуев. Да, сначала я поцелую ее. Сначала в щеку, потом я найду ее губы, а потом, потом — я никогда еще не . . . ся, . . . ся, . . . ся ни с одной девушкой . . . Должен ли я ее спросить об этом — или я должен сначала . . . я начну с поцелуев. Сначала я начну ее целовать, сначала, сначала в щеку, потом в губы . . . потом я спрошу ее, не находит ли она, что . . .

Марлис. В тот момент, когда я родилась, умерли мой отец и моя мать, одновременно. Меня отдали тете, а она вечер за вечером окунала меня в котел с кипящей водой до тех пор, пока я не теряла сознание. Тогда она на час закладывала меня в холодильник, чтобы остудить. Когда мне было пять лет, я натянула наверху на лестнице невидимую проволоку.

Моя тетя умерла мгновенно. Я попала в монастырь, и там мне отрубили топором кончики пальцев моей правой руки . . . потому что у меня были грязные ногти. А когда мне было семь лет, одна из сестер выколола мне глаза, потому что я смотрела сквозь нее. А когда мне было девять лет, меня изнасиловали несколько священников. И тогда я сломя голову бросилась в лес, и там я сама себя объявила мертвой. На три года я затаила дыхание, а когда я снова проснулась, на моем животе лежал младенец.

Вальтер. Я нахожу, что у тебя очень красивые глаза. Я в тебя действительно очень сильно влюблен, мне кажется. Я бы очень хотел знать, что ты думаешь об этом, я имею в виду, что ты думаешь обо мне.

Марлис. Спасибо за твой комплимент о моих глазах. В данный момент я немного могу сказать по этому поводу. В тебе нет ничего особенного, что бросилось бы мне в глаза. Я думаю, что ты достаточно мил. Но не подходи ко мне слишком близко.

Вальтер. Мы оба пишем стихи. Недавно я читал Бодлера. Тоже много о смерти. Очень хорошо. Я бы с большим удо-



вольствием поцеловал тебя. Я надеюсь, что я смогу это сделать. Скоро.

Марлис. Спасибо за твой поцелуй. Спасибо за твой поцелуй. В данный момент я не могу на него ответить. Может быть, позже. Но я почти уверена, что из этого ничего не выйдет. Знаешь ли ты поцелуй, который убивает с любовью?

Вальтер. Но ты для меня очень много значишь.

Марлис. Мои глаза открыты всему далекому и закрыты всему близкому.

Вальтер. Тогда я сделаю что-нибудь над собой.

Марлис. Позволь нам перепрыгнуть через любовь.

Вальтер. Но если...

Марлис. Я одна пришла в этот мир. Одна я и хочу умереть, до того, как стану счастливой.

Вальтер. А не могли бы мы все-таки просто вместе...

Марлис. Давай вместе умрем.

Дик. Если я не могу говорить о своей любви... Если я не говорю о твоих волосах, твоих губах, твоих глазах, то я ведь все-таки вижу твое лицо...

Вальтер. Жил-был человек с рыжими волосами, у которого не было ни глаз, ни ушей. Не было у него и волос на голове, так что называть его рыжим можно было только условно. Он не мог говорить, так как у него не было рта, не было у него и носа. У него даже не было рук и ног, ни желудка, ни спины или позвоночника, и никакого намека на внутренности, кишечник. У него не было ничего! Поэтому

едва ли можно себе представить, о ком, собственно, идет речь. Давайте и мы не будем больше говорить о нем.

Марлис. Тогда убей меня. Убей меня тогда. Я очень малодушна.

Вальтер. О чем я часто думаю, так это о том, что я ввожу в промежность моей тетке раскаленную докрасна кочергу и шурую там ею, а потом вытаскиваю ее. Потом я засовываю туда бур и начинаю там бурить, а когда я вытаскиваю оттуда бур, то на него налипают кусочки мяса. Десять очков.

Лице. О чем я часто думаю, так это о ком-нибудь очень длинноногом. И вот я втыкаю нож между ног и разрезаю его вверх до самого подбородка, и тогда ноги его становятся еще более длинными. Десять очков.

Вальтер. Я думаю иногда о довольно высокой девушке, очень тоненькой. Которую я разрезаю напополам очень острым ножиком. Тогда у меня будут две каланчи сразу. Но иногда я думаю также о совсем другой, вполне конкретной девушке, но об этом я ничего не скажу.

Тьерк. О чем я часто думаю, так это о погребении... это похороны одной очень старой рыбы. За сто лет жизни ни разу не пойманная.

Дик. О чем я часто думаю, так это о том, что я бегу по лесу, и что кто-то дышит.

Вальтер. Два очка.

Риа. О чем я часто думаю, так это о том, что я очень быстро расту, так что моя юбка каждый час укорачивает-



ся на 7 сантиметров, а потом я должна счищать лифчик с моей кожи.

Порги (выходит на авансцену, хочет что-то сказать, но молчит).

Вальтер. О чем я часто думаю, так это о том, что я очень быстро еду в автомобиле и на полной скорости вламываюсь в класс пригостишек, где находятся семьдесят детей. Потом я поворачиваю назад и вижу на улице большую лужу крови с барахтающимися в ней и дергающимися ручками и ножками, а на краю тротуара стоит учительница, которая ругает детей за то, что они были так невнимательны.

Лице. О чем я часто думаю, так это о детском трупике, который был найден в парке. Он был совершенно застывшим, а на затылке были черные пятна, потому что она была задушена. Убита она была разносчиком газет. Он приносил журналы в дом девочки. Однажды она спросила, есть ли у него еще старые сказки о гусе Дональде, и он сказал, что есть. Она пошла вместе с ним к его машине, они поехали и добрались до порта, где был большой пустой, старый дом с разбитыми окнами. И там она должна была войти вместе с ним и подняться по большой длинной лестнице. Наверху над лестницей была маленькая комната, она была холодной, пустой и темной, и он встал позади девочки. И он снял с нее платье и положил свои руки на ее затылок. И нажал большими пальцами своих рук на ее горло и нажимал все сильнее, а она хотела

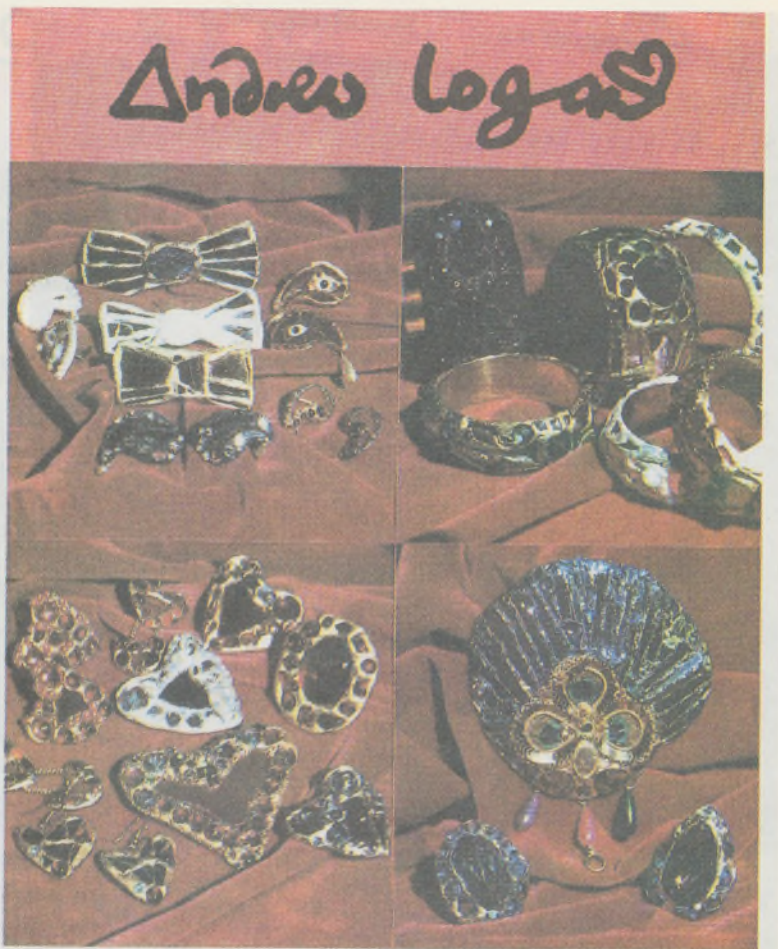
закричать, но не осмелилась кричать. А он все нажимал, и нажимал, и нажимал... Пока она не была задушена.

Порги. Я так рад, потому что весна своим нежным теплом прогнала холод. Солнце робко дарит нам свое первое тепло. Есть ли еще подобные моменты в жизни человека, когда он чувствует себя более счастливым и радостным, чем в те моменты, когда он несет в своем сердце весну и любовь. Я так счастлив, потому что у меня есть девушка, которая меня любит. Помнишь ли ты? Вместе в лодке вечерними сумерками? Вокруг нас царил покой, который в природе может быть таким совершенным. Нежный бриз надувал паруса. Мы оба смотрели поверх озер на поросшие гребнеобразными рядами берега. Мы тихо наслаждались: мы смотрели друг на друга, и я чувствовал себя таким счастливым. Ты была так прекрасна: твои глаза были такими ясными, как сияющее небо, и такими же голубыми. Ты была самым Прекрасным в этой прекрасной природе. Живая, ты с любовью смотрела на меня. В тот момент я бесконечно любил тебя, о божественный, незабываемый, священный момент. Люби меня! Люби меня! Люби Меня...

Порги. О чем я часто думаю, так это о сарае моих родителей. Это деревянный сарай из сгнившего дерева. И потом я должен войти в него, а на полу там лежит мертвая собачка. И я тогда перешагиваю через собачку и бегу дальше, и вот я вижу там мою мать, которая висит на граблях, надетая на них глазами.



ГРИМ ФИЛИСЫ КОЭН (АНГЛИЯ).



Andrew Logan

NEPIERADINĀTĀS MODES ASAMBLEJA

RĪGA

24.05. - 27.05.

FORUM XXI

List of designers

UNTAMED
FASHION
ASSEMBLY

12 boulv. Asuazijas
p. box 43
226350, Rīga, Latvia
telex 161186 FORUM LV
fax 213578

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭНДРЮ ЛОГАНА (АНГЛИЯ).



АНГЛИЙСКАЯ ФИРМА ДИЗАЙНА МОДЫ «RED OR DEAD» (КРАСНЫЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ).



АРТИС И КАРИНА ИЗ ЛАТВИИ.

ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР: АНДРЕА Д'АМБРОСИО (ИТАЛИЯ)

МОДЕЛИ: АНДРЕА Д'АМБРОСИО (ИТАЛИЯ) / АНДРЕА Д'АМБРОСИО (ИТАЛИЯ)

DON'T WORRY! BE HAPPY!



И вновь мы в пути. С огромной горой чемоданов и маленькой пачечкой долларов. На землю обетованную. По следам Райниса. Его спутником был док. Лифшиц. Апрель 1929 года — Палестина и Египет. В августе 1989 года — Израиль и Арабская Республика Египет. В промежутке одна большая и с десяток маленьких войн. И еще всякая всячина. Как моя жизнь, к примеру. Мы направляемся на Ближний Восток, где швыряют камни и постреливают. Поэтому Латвийский комитет радиовещания и телевидения на сей раз посылает трех мушкетеров. Хотя бы один да вернется. С кинолентой в сумке. Это — мы с Роджером, как и в предыдущую поездку в Кастаньюлу, и звукорежиссер Игорь.

Я не буду задерживать ваше внимание такими мелочами как согласования, длящиеся полгода, и месяц, проведенный на чемоданах в ожидании, когда кончатся обычные хлопоты с визами. Соломон говорит, что одна горсть покоя лучше двух полных трудовыми заботами и тщетных усилий. Итак, утром 8 августа мы

прилетаем в Ленинград, оставляем свои десять чемоданов в гостинице-общежитии телевидения и прогуливаемся по Невскому проспекту. Роджер предлагает зайти к ученым Эрмитажа, чтобы они рассказали нам что-нибудь о Египте. Директор Эрмитажа — египтолог рисует нам птицу с солнцем на голове. — Вот это и есть Египет! — говорит он. И нам стало все ясно...

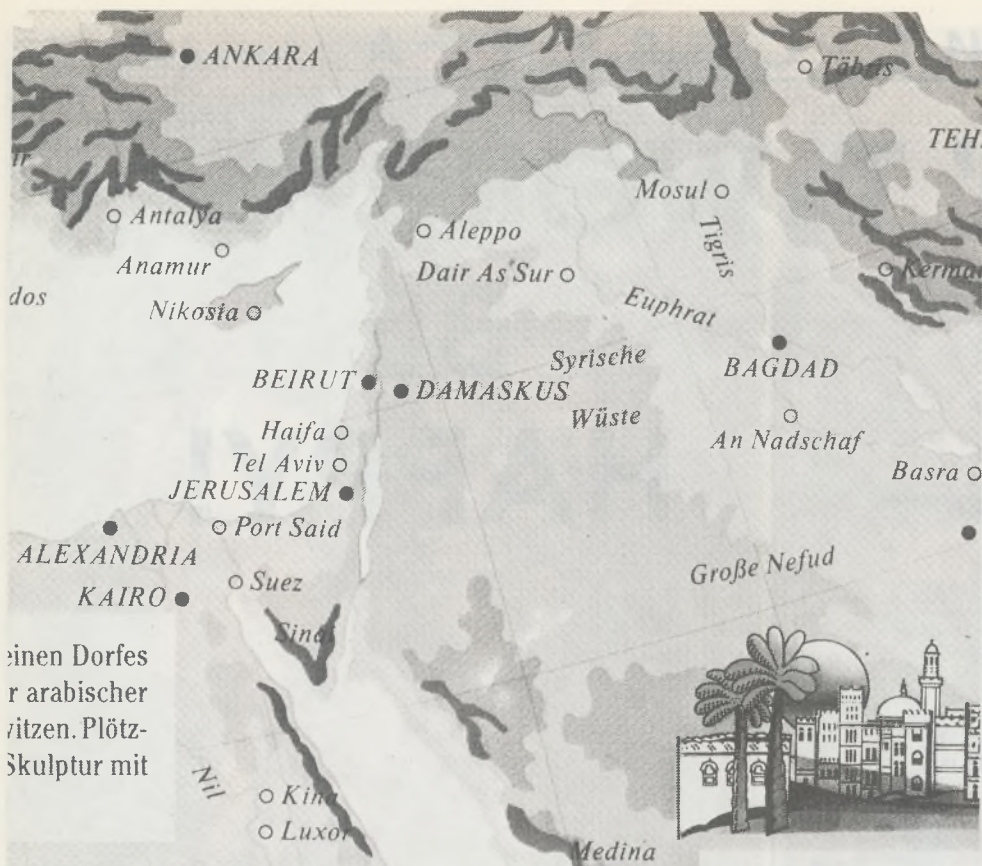
Вечером сидим в постелях, пьем ядовито-зеленый лимонад, закусываем пирожками с повидлом. Рука нечаянно касается кармана, в котором лежат скупные лекарства и адреса лично незнакомых, выехавших из Риги евреев... Вскоре услышим часто задаваемые вопросы: неужели вы не могли придумать ничего более толкового, чем явиться в Erets Israel (государство Израиль) в месяц отпусков? В самый жаркий летний месяц? Может быть действительно тем утром, 8 августа, стоило последовать совету, данному в Рижском аэропорту бывшим главным режиссером Рижского русского драматического теат-

И дотлевши погаснет ваша искра живая,
Онемелый алтарь распадется в куски,
И в руинах забродит, завывая, зевая,
Одинокая кошка Тоски.
1987.

Х. Н. БЯЛИК
Перевод Вл. Жаботинского

ра Аркадием Фридриховичем Кац, лететь вместе с ним через Москву и Пхеньян в Северной Корее? Там еще все правильно. И намного спокойней и прохладней.

Роджер и Игорь уже успели втянуться в политическую дискуссию с вахтершей «гостиницы» и одной толстой дамой из Киева. Из комнатенки раздаются громкие злобные голоса. Подхожу и я. По ленинградской программе ТВ идет передача о Латвии, в гостях Интерфронт во главе с Алексеевым, показывают чудовищные демонстрации национальных экстремистов, их бесстыжие плакаты! Интерфронт Латвии насчитывает 300 000, все они якобы страшно ущемлены, ленинградцы всегда выручали Латвию и теперь тоже должны помочь... Мы все трое встали и уходим. — Вон как правда глаза колет! — кричит нам вдогонку киевлянка. — И не ждите, что я вас завтра будить буду! — размахивает кулаком вахтерша. Этот поднятый кулак сопровождает нас вместо напутствия. Точно так же, как армянина или русского из



inen Dorfes
r arabischer
sitzen. Plötz-
Skulptur mit

Баку, или азербайджанца из Еревана.

В полтретьего надо вставать, так как на три часа заказано такси на аэровокзал. Никак не заснуть. С одной стороны храпит гражданин из российской глубинки, с другой «поляк из Праги», как его окрестила вахтерша. Зверски болит ступня правой ноги, в которую что-то вонзилось или ужалило на клепкалницемской лужайке еще 10 дней назад. Что-то страшно ядовитое. Не помогают ни компресс, ни купленное сегодня по коньячной цене лекарство! Все будет хорошо! Don't worry! Be happy! — напеваю про себя и стараюсь заснуть, мысленно пере считывая перевязочные бинты, йод, таблетки анальгина, аспирин и вяжущее на дне моей сумки. Слоны, слоны, слоны... Идут цепочкой по трамвайным путям. По улице Кришьяна Барона. Мимо остановки Карла Маркса. Там, в двухэтажном доме у газетного киоска, этим летом неделю за открытым и выбитым окном, где между рамами был выставлен флажок Латвийской Республики с траурной лентой, развевались по ветру занавески. Два остальных окна тоже были выбиты камнями. Об этом мне рассказала Ольга, приехавшая в очередной раз из Стокгольма. Я пошел и посмотрел. Занавески все еще развевались по ветру... Сквозняк! Через всю Латвию! Сквозь меня! В эту ночь тоже. Слоны. Слоны. Слоны...

9 августа. Среда.

Мы просыпаемся сами. У дверей на улице сидит черный кот и наблюдает, как мы эвакуируемся, про-

летаем над Польшей, садимся в Берлине, перелетаем Венгрию, садимся в Афинах и в 12.30 стоим под крылом самолета. В тени 30° С. Автобус, паспортный контроль, перерегистрация багажа на самолет Olympic Line. Мы зажаты толпой выезжающих из Советского Союза евреев, в которой в основном представлена Грузия. Ошибки в билетах, недоразумения, паника, крики, даже слезы. Наконец сдаю наши билеты и багажные талоны. В 16.00 все должны быть в автобусе, который повезет нас к другому корпусу аэропорта в 5 км отсюда. Встречаем знакомых из Риги, возвращающихся из Израиля. Уже полвторого. Значит, теоретически есть вариант съездить на такси до Акрополя и обратно. Побывать в Афинах и не увидеть Акрополь?! Но есть некоторые затруднения. Спрашиваю в бюро Аюфтанзы, сколько стоит туда такси? — Ну так, десять, двенадцать долларов!

Теперь надо достать билеты обратно. Да, достать можно, но необходимо разрешение полиции покинуть аэропорт. Бегу большое расстояние назад. Разволновавшись, подбегаю к одному полицейскому и спрашиваю, где можно быстро получить разрешение? Он толком не понимает, какое разрешение? Я тут же на месте хочу получить политическое убежище? Это так быстро не делается! — Да нет же, разрешение съездить до Акрополя и обратно! Подходят другие полицейские, которые лучше понимают меня и указывают правильное направление, куда бежать — назад к служа-

щим паспортного контроля. Это далеко. Там показываю свой паспорт и транзитную визу. Да, разрешение будет! Только надо предъявить обоим моих спутников с паспортами. Бегу обратно. Девушка, принимавшая билеты, ушла. Почему я их отдал?..

Появляется девушка. Но она тотально занята другими делами. Назревает новый скандал. Полицейский с классическими греческими чертами лица раскидывает кучу арабских паспортов и классически ругается на современном греческом. Когда девушка наконец обращает внимание на мое поскуливание, я получаю паспорта, талоны и наказание быть в West Airport самое позднее в 16.20. Бегу за остальными, а они уже на полпути к выходу из аэропорта. — Да, а с багажом разве у вас полностью улажено? — спохватывается Роджер. Бегу обратно. Девушки нет. Арабов тоже. Никого. Бегу обратно к выходу через длинные коридоры, при входе в которые меня основательно прощупали, особенно висевшую на плече сумку. Нашли бутылочку балзама. Стали вертеть в руках. Взбалтывать. — Что это такое? Black Balsam?! Что с этим делают? Пьют? Алкоголь? А-а. Ну, пейте на здоровье! И его цепкий взгляд говорит — а увести самолет у нас вам не удастся!

Теперь все идет быстро. Полицейские проставляют штампеля в наших паспортах, и, одолев еще пару коридоров, мы оказываемся на улице под палящим солнцем. В нашем распоряжении всего только два часа. Остановка такси. Длинная очередь. Идет быстро. В 14.15 подъезжает наша машина. Загружаем аппаратуру. Спрашиваю, говорит ли он по-английски? — Немного. — Сможет ли отвезти до Акрополя? — Трудно. — Может быть, туда и обратно? — Нет. Надо съездить поехать. Есть надо в 14.00. Это важно. — Будем ли мы платить долларами? — Да. — Сколько он возьмет? — Десять долларов. Хорошо. Поехали. — Откуда? США? — Нет. СССР. Латвия. Рига. — А-а, хорошие баскетболистки. Да, интересно, как выглядит рубль? Я никогда его не видел! Но рубли мы уже запрятали. И что с ними тут станешь делать? В Риге тоже. Наконец под старость смогу их наклеить под обои вместо газет. На радость грядущим поколениям! Примерно год назад, одурев, как мне кажется, от самого красивого в мире города Сан-Франциско, к тому же прилетев в него во второй раз и наслаждаясь днем, свободным от всех обязанностей, мы небольшой компанией посетили магазин, предназначенный для больших людей, где я купил пиджак, и у него, появившись в сумке, исчезла одна пуговица, какую я еще до сих пор ни в одном магазине пуговиц не находил (и купленная в Израиле тоже оказалась не той, не от жилета Пера Гюнта), по дороге заехали к Петери-

су на нижний этаж трехэтажного особняка, отведать Black Morie по-американски и западногерманское секс-видео для лыжников в тирольском вкусе, но еще до этого, как с верхнего этажа спустилась хозяйка венесуэльского происхождения и мы с Гунарсом у пианино спели кое-что громкое на немецком, хозяин завел меня в свою мастерскую, где, как у любого настоящего латышского ремесленника, каждый инструмент находился на своем месте, а над нашими головами архитектором были оставлены такие выдающиеся длинные потолочные балки; Петерис в свою очередь обклеил их валютными знаками былых времен. Тут было на что посмотреть! Простыни царских времен, листы керенок, латы, червонцы, остмарки, рейхмарки... и все это прошло через кошелек бедного латыша. — У меня есть даже рубли, трешки и пятерки! — говорит честный латышский мастер. — А нет ли у тебя красной десятки? — А как же нет, когда есть! Даже две! — Я их покупаю, — говорит Петерис и дает взамен две зеленые десятки. Клей тут как тут, и вот уже красные листки ложатся под лине-зелено-серых.

Мы едем примерно 25 минут по узким улочкам окраины, как вдруг вдаль появляется серо-коричневая стена и такие же колонны на вершине горы. Почти что разочарование. Едем в гору до остановки такси. Дальше пешком. Со всеми сумками и коробками. На вершине горы виднеется серо-коричневый камень, местами в лесах. Солнце печет со спины, в затылок. Вгоняет в плиты скользких беломраморных ступенек. Чрезвычайно много туристов из всех уголков планеты. Но без ручной поклажи. На нас смотрят странно. В чудаках из нашей Родины всегда есть что-то неотразимо привлекательное. А они все — в коротких штанишках и белых шляпах. В руках напитки в белых пластмассовых стаканчиках с соломинками, под крышечками гремит настоящий лед. Мы, не озираясь ни налево, ни направо, бегом берем гору приступом. Время от времени хаотично фотографируем друг друга и лежащий внизу, укутанный в густую дымку город. Как только я положил на какой-то камень видеокассету, так сразу почувствовал резкую боль в руке под коротким рукавом рубашки. Самого насекомого и след простыл, а маленькая алая точка в течение следующего часа превращалась в значительное воспаление. Не хватало ноги, а теперь и рука! А нам еще далеко до конца! Прямо под нашими ногами — маленький античный театр. На сцене поставлены стулья для оркестра — к вечернему концерту. С другой стороны Акрополя должна быть большая арена. Еще немного выше и... упираемся в кассу. 600 драхм! У нас их нет. Доллары не обменивают. Билетер у проволочного забора

в разговор не вступает. Остается у подножия Акрополя нацарапать в камне гвоздем — Мы тут были. Янка и Федя! Кидаемся к выходу. Где ворота изрыгают счастливых, которые побывали в Афинах и видели Акрополь. Фотографируем обкрошившиеся колонны издали, хотя бы через отверстие выхода. Мы истекли потом, и время наше тоже истекло. Рубашки мокрые. Надо идти вниз. Внизу долго нет ни одного такси. Наконец приезжает одно, останавливается за каретой, запряженной лошадей. Шофер по-английски не понимает ни слова, подзываем хромого старичка из сада, где тот сидит в компании и освежается каким-то цветным напитком. Он переводит наши желания, и то, что после поездки нам нужен чек. За все расходы на общественные нужды после возвращения мы должны предъявить чеки. Ко всем ремеслам, освоенным в предыдущих поездках, Родриго Рикардс начинает познавать также горькую участь бухгалтера.

Назад едем по другим улочкам. Прощайте, Афины. Прости, Акрополь, с твоими древнегреческими осколками можно встретиться в каждом уголке, затронутом западной цивилизацией, но у меня сжимается сердце, когда я вспоминаю Тебя, Петер, там, в Сан-Франциско, довольно-таки грузного человека со слезами на глазах. У своего дома. Посреди хорошо ухоженной зеленой лужайки. На другой стороне земного шара. Машущего на прощание...

Спускаемся вниз. Вдоль моря. Мимо яхт, и в 16.00 мы уже у корпуса West Olympic Line. Шофер выписывает длинный-предлинный чек мелкими греческими буквами. Нам варварам понятно лишь число арабских цифр — 1600 драхм (10\$). На самом деле это индийские цифры. Потому что у арабов есть свои. Иначе. С ними мы ознакомились в Каире.

Служащий за прилавком регистрирует нас. — Ну, как с погодой, там, в Москве? — Извините, не знаем. Летим через Ленинград. Вообще мы из Риги, Латвии. — О, знаю, знаю! Ну, как там с вашей перестройкой? Все медленнее и медленнее, а? (смеется) — Да, так оно и есть! Но надемся на отделение! — Good luck! Успехов вам! Сказал он с профессиональной интонацией — мы тоже еще не забыли турков!

Паспортный контроль. Контроль ручной клади. Опять несколько раз пропускают через рентген каждую сумку и коробку с аппаратурой. Роджера заставляю выложить все содержимое коробки из-под камеры. Вдруг мы и весь персонал контроля пригибаемся. Оглушающий грохот! Лопнуло металлическое кольцо скрепляющее ремешок сумки польского производства, висевшей на плече Роджера. По несчастливому совпаде-

нию именно в этой сумке находился аккумулятор кинокамеры, и в полу аэропорта осталась дырка. Не много могло остаться и от находившихся в сумке видеокассет! Роджер нежно, как котенка, поднимает с пола польскую сумку и печальным голосом предлагает поинтересоваться о ближайшем рейсе на Родину. Спешно присаживаемся в огромном зале ожидания. Быстро перед собой, на полу для всеобщего обозрения выкладываем из сумки все содержимое. Сначала аккумулятор. Да, на нем вмятина, но подключенная к нему камера идет. Значит, обратно еще не едем! С видеокассетами тоже ничего не случилось. Но один бальзамчик разбился. Тут же его сдаваем из пластмассового мешочка. Кулек вылизан. В хорошем настроении, слушая, как обычно водится в таких общественных местах, совершенно непонятные, нервные объяснения по микрофонам, сидим до 18.00. Появляются наши спутники — грузинские евреи в серых кепках-аэродромах и занимают все плацдармы к выходу на посадку. Становится спокойней на душе.

По расписанию следовало бы скоро вылететь. Все, засуетившись, становятся у выхода, но стоим еще долго. Можно только выйти и перед аэропортом проверить свой багаж, сброшенный на тележки. Роджер докладывает, что наш еще на месте. Проходит слух, что наш рейс отложен. Отходим подальше к прилавку с напитками. Вдруг резкий выстрел за спиной! Нет! Это всего лишь прохладительное пиво, которым кто-то сбрызгивает наши рубашки, вскрывая капризную импортную баночку. Объявляются разного вида негры, французский духовой quint: евреи из Соединенных Штатов Америки. На улице за стеклом от скуки придумывают другую систему укладки багажа, его сортируют и перекидывают на другие тележки. В это дело вмешиваются сами пассажиры. Пока мы не зачихнулись в автобус, сумятица все усиливалась. Проезжаем мимо многочисленных, до последнего загнанных коров Boeing и DC. У каждой есть свое имя. Нас подвозят к Boeing 747 «Mount Parnas» (Гора Парнас). Как бы нам не зацепиться за эту самую высокую гору Кипра!

После мрачного и убогого сервиса Аэрофлота — неподдельная забота о каждом пассажире. Черноволосые красивые греческие стюардессы долго сажают и пересаживают пассажиров. Всем дирижирует очаровательно улыбающийся хозяин самолета — капитан. С одной стороны рядом со мной сидит компания грузинских евреев, со второй — молодой блондин, у него есть все, чего у меня нет, — хорошие, выбранные со вкусом сандалии (хорошо, что мои, произведенные в Даугавпилсе, спрятаны глубоко в чемадане), бусы

вокруг левой щиколотки и... самое главное — молодость! Маленькая черноволосая девочка с большими черными трагическими глазами, с желтым цветом лица, в обрезанных джинсах вталкивает в самолет коляску с сидящей богатой дамой-инвалидом. В неподвижном, полном отчаяния взгляде девочки я читаю: — Я ненавижу ее! Помогите мне! Убейте ее! Сильно пахнущая валерьянкой крупногабаритная родоначальница — в сопровождении двух непослушных подростков и еще более непослушных сумок. Девочка бьет мальчишку, мальчишка бьет девочку, и все трое вносят в салон самолета приятный плюрализм. У любезных стюардесс работы не впрокорот. Одна еще поинтересовалась, что это за неслыханный язык, на котором мы разговариваем.

Уже долго ждем очереди у взлетной полосы. В 20.30 взлетаем над горами и морем и перелетаем острова Эгейского моря. Помогаю отчаявшимся молодым грузинкам пристегнуть ремни и заполнить израильские въездные формуляры. После обильного и вкусного ужина начинаем искать за иллюминаторами землю. Одна темнота. И вода внизу. Грузинский еврей с неизбывным серым цепелином на голове уже давно встал и, держа под мышкой два завернутых в ткань барабана, дежурит у возможного выхода. Стюардессы общими усилиями отнимают у него барабаны, но усадить его и пристегнуть никак не удается.

В 22.00 вдруг внизу всплывают огни Тель-Авива. Перелетаем город и садимся в аэропорту Бэр Гурион. Как только колеса коснулись дорожки, как обычно, раздались аплодисменты. Автобус торжественно подвозит нас к главному входу аэропорта, к воротам Израиля. Welcome to Israel! Широкая лестница вверх. По бокам много мускулистых встречающих — в штатском, тщательно всматриваются в лицо каждого приезжего. Стеклопанная стена, за которой прохладный кондиционированный воздух и белый простор. Поднимись по лестнице — и всё свидетельствует, что ты попал в другой мир!

Вдоль краев зала — балконы с зелеными кустами. Ряд будок паспортного контроля. Несколько человек с плакатиками, отчаянно призывая, ищут среди приезжих режиссера мистера Роберта Стуруа. — Вы не мистер Стуруа? — Нет, к сожалению, нет. Взяв мой паспорт, девушка спрашивает, где будем жить. У кого? В отеле? В каком? Кто нас встречает? Не можем ответить. Ничего. Можем лишь назвать фамилию одного человека, который знает о нашем приезде.

Все скудные сведения вводятся в компьютер, и мы входим в еще более просторный зал, чтобы получить багаж. В дырах, обшарпанный, но весь. На таможенные проблемы с кино и видеокамерами. Служащий из сопроводительных писем, написанных по-русски, ничего не может понять. Долго машет ими в воздухе. Наконец засовывает в карман, что в дальнейшем приносит нам некоторые огорчения, и отпускает нас с довольно-таки высокомерным выражением лица — Не забудьте, откуда вы и куда вы приехали!

Выезжаем из здания аэропорта с тремя багажными тележками и вдруг оказываемся... в независимой Грузии! За барьером примерно тысяча грузинских евреев машут, кричат, гремят барабаны, некоторым удается прорваться сквозь полицейских, плачут, обнимаются, танцуют, поют. В последний момент мы выбираемся из толпы со своими багажными тележками, вокруг начинается праздник. Через толпу к нам пробираются двое — один высокого роста, другой пониже. Первого мы все узнаем — бывший солист Рижской оперы Израиль Фейгельсон, всего год назад он посетил Ригу и пел на концертах, и второй, с которым Роджер только познакомился, да и в разные годы окончил один и тот же Московский ВГИК. Только на разных факультетах. Впредь я его буду звать Нашим Добрым Духом — хозяином, потому что никакой видимой практической причины помогать нам у него ведь не было?! Он перевозил нас и наш багаж, отдал свою квартиру под диспетчерский пункт нашей экспедиции и пожертвовал своим отпуском.

И сегодня мне не ясно, как мы умудрились запихнуть в его машину всю гору нашего багажа (кое-что привязали резинками к крыше) и сумели усадить высокого господина Фейгельсона, еще вдобавок сами втиснулись и еще доехали до дома Нашего Доброго Духа в городке-спутнике Тель-Авива Галане? И как мы еще ничего не потеряли по дороге?

После небольшого ужина и беседы в кругу нашей новой семьи около 2.00 ночи ложимся спать. Прошла самое малое неделя с тех пор, как летним утром в 4.30 восьмого августа я стоял на улице Лачплеша с парой чемоданов, ждал машину, мимо проходил Андрис Бергманис с компанией и угостил меня теплой водкой, чтобы все хорошо удалось. Sholam Aleihem! (Мир с тобой!)

10 августа. Четверг.

Встали в 9.00 и до 12.00 придумываем возможные варианты нашей кинематографической деятельности.

Наша проблема № 1 — транспорт. Хозяин уехал, чтобы изготовить и прикрепить потерянный еще вчера днем номер автомашины. Звонят в дверь. Открываю — передо мной кудрявый молодой солдат с закатанными рукавами и автоматом. Так, нас выследили, а внизу ждет «воронок»?! Нет, оказывается, это сын хозяина получил на пару дней отпуск от обязательной военной службы (мужчины военнообязаны с 18 до 55 лет, незамужние женщины с 18 до 38 служат каждый год понемногу).

На улице невыносимо жарко и душно. Через момент я мокрый. Меньше мочиться буду. Из многих теорий о принятии жидкости в этом климате не задумываясь выбираем самое простое — начинаем пить различные напитки, в том числе пиво, уже с утра, не ожидая, когда наступит обезвоживание организма и придется долго лежать в больнице, чтобы сбалансировать вегетативную систему. После 12.00 в машине хозяина и с ним самим за рулем направляемся по автострате в лежащий в 60 км Священный город — по-арабски Al Qudus (святой) — Иерусалим (Jeru-Shalem — древнеевр. город мира!). Этот «город мира» за свои 5 тысяч лет существования чего уж чего, а мира видел мало, и сегодняшний день не исключение. Тридцать пять раз был полностью razoren. Первый раз его полностью razорили вавилонцы в 587 г. д. н. эры, второй раз в 70 г. н. эры. Там находятся Via Crucis es Golphatha!

По дороге видим цветущие вдоль шоссе красные и белые кусты олеандра. Просторные поля с посадками. Потом начинают обсаженные деревьями холмы. В начале этого столетия арабы в Палестине вырубали все деревья. Израильское движение озеленения сделало грандиозную работу. Более 150 миллионов деревьев! Теперь эта земля зеленая. В горах террасы. Все деревья саженные. В городах к каждому дереву, кусту, цветку проведена своя трубочка с дыркой для влаги. Иногда молодые леса поджигают — еще одна форма межнациональной борьбы! В горах на обочине шоссе то там то здесь ржавеют броневики, расстрелянные в Израильской освободительной войне 1948 года. Проезжаем мимо места, где несколько месяцев назад один араб, выкрикнув — Аллах вечна жив! — рванул руль из рук шофера автобуса 405 маршрута и опрокинул автобус с пассажирами в пропасть. На обочине шоссе холмик из камней, венки и цветы. На противоположном склоне горы — лозунги — Смерть террористам!

(Продолжение следует)

ЮРИЙ АННЕНКОВ

«ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ»

* * *

Осенью того же двадцать третьего года мне случилось ехать в Москву с Григорием Зиновьевым (Аппельбаумом) в его личном вагоне¹². Первый председатель Третьего Интернационала (расстрелянный впоследствии Сталиным) говорил со мной о Париже. Глаза Зиновьева были печальны, жесты — редкие и ленивые. Он мечтательно говорил о Париже, о лиловых вечерах, о весеннем цветении бульварных каштанов, о Латинском квартале, о библиотеке Святой Женевьевы, о шуме улиц, и опять — о каштанах весны. Зиновьев говорил о тоске, овладевшей им при мысли, что Париж для него теперь недоступен. В Петербурге Зиновьев жил в гостинице «Астория», перед которой на площади — Исаакиевский собор, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, и купол которого Зиновьев ежедневно видел из своей парижской комнаты. Перед входом в Пантеон — зеленая медь родеоновского «Мыслителя» (упрятанного нынче в музей) . . . Багровые листья осеннего Люксембургского сада; на скамейке — японский юноша, студент Сорбонны, размышляющий над французским томом химии или философии; золото рыб в темной влаге фонтана Медичи; осенние листья, порхающие над аллеями; эмигрантские споры за бутылкой вина в угловом «бистро» . . .

Вспоминая о Париже, Зиновьев рассказал, как Ленин по вечерам «бегал на перекресток» за последним выпуском вечерних газет, а ранним утром — в булочную за горячими подковками.

— Его супружница, — добавил Зиновьев, — предпочитала, между нами говоря, бриоши, но старик был немного скуповат . . .

Но я никогда не забуду зиновьевской фразы (не имеющей, впрочем, отношения к Ленину):

— Революция, Интернационал — все это, конечно, великие события. Но я разревусь, если они коснутся Парижа! Часа в 4 утра Зиновьев неожиданно воскликнул:

— Жратва!

Обслуженные его охранниками, мы съели копченый язык и холодные рубленые куриные котлеты, запивая их горячим чаем. Около 5 часов утра Зиновьев промычал:

— Айда дрыхать! — и, растянувшись на кушетке, сразу же захрапел, не раздевшись. < . . . >

Ленин умер 21-го января 1924-го года. Это разнеслось по всему миру. Виктор Серж¹³ писал в своем «Тоупант обсерватор»:

«Я путешествовал в окрестностях Вены в один из январских дней 1924-го года . . . В купе вагона, заполненном ожиревшими и пожилыми пассажирами, кто-то развернул газету, в которой я прочел заголовок: «Смерть Ленина» . . . Потом эти люди заговорили об этой смерти. Я слушал. Среди них — ни одного коммуниста, но каждый произносил свои слова с особой серьезностью, с сознанием, что ушел кто-то единственный в своем роде и очень большой, унеся с собой в могилу множество надежд того времени. Я смотрел на лица этих людей другой страны, другого мира, мелких австрийских буржуа, чуждых всякой революции, всякому обновлению: они, каждый по-своему, выражали сожаление по поводу смерти революционера».

Возможно . . .

Я жил в то время в Петербурге, работая над одной театральной постановкой. На следующий день после смерти Ленина я получил срочный вызов в Москву, для того чтобы написать портрет Ленина в гробу. Меня эта работа не вдохновляла и, чтобы избежать ее, я тотчас переселился на несколько дней к одной актрисе Большого Драматического Театра (бывший Суворинский театр), не оставив

в моем доме моего нового адреса, но подсунув полученный вызов под мою входную дверь, как это обычно делал почтальон: звонок не действовал.

Портрет Ленина на смертном одре был написан масляными красками К. Петровым-Водкиным¹⁴, а общий вид траурной залы Дома союзов, украшенный пальмами и знаменами, где отдавали последние почести Ленину, был запечатлен на гравюре А. Кравченко¹⁵.

Однако, приехав в Москву недели через три, я был немедленно вызван в Высший Военный Редакционный Совет, где мне предложили отправиться в основанный в Москве Институт В. И. Ленина, для ознакомления с фотографической документацией, ввиду предполагавшихся иллюстраций для книг, посвященных Ленину.

«Ознакомление с документацией» продолжалось около двух недель. В облупившемся снаружи и неотапленном внутри «Институте В. И. Ленина» (не путать с менее облупившимся, но столь же неотапленным в те годы московским «Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса»), меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг, извлеченный из черепа во время бальзамирования трупа: одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами; другое, как бы подвешенное к первому на тесемочке, — сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха. Через несколько дней эта страшная банка исчезла из Института и, надо думать, навсегда. Мне говорили в Кремле, что банка была изъята по просьбе Крупской, что более чем понятно. Впрочем, я слышал несколько лет спустя, будто бы ленинский мозг был перевезен для медицинского исследования куда-то в Берлин.

Среди множества ленинских рукописей я наткнулся там на короткие, отрывочные записи, сделанные Лениным наспех, от руки, с большим количеством недописанных слов, что вообще было характерно для многих его писаний — до частных писем включительно (я мог судить по письмам, адресованным моему отцу). Эти записи, помеченные 1921-м годом, годом кронштадтского восстания, показались мне чрезвычайно забавными, и, без какой бы то ни было определенной цели, но просто так, я, не снимая рваных варежек (пар изо рта валил облаками), незаметно переписал их в мою записную книжку. Вскоре, однако, и эти ленинские странички, как и банка с мозгом, исчезли из Института или — ушли в партийное «подполье». Во всяком случае, я никогда не видел их опубликованными (за исключением двух-трех отдельных фраз), что тоже вполне понятно.

Когда в 1926-м году Борис Суварин (во Франции) и Макс Истман (в Соединенных Штатах Америки)¹⁶ опубликовали знаменитое противосталинское «Завешание» Ленина, переданное Суварину Крупской, то коммунистическая пресса всего мира обрушилась на них, называя их клеветниками, а ленинское завешание — их выдумкой, апокрифом. Доверчивые европейцы и американцы сразу же поверили коммунистам, и завешание скоро было забыто, как анекдот. Прошло 30 лет, прежде чем Никита Хрущев, вынужденный «десталинизацией», огласил, в свою очередь, этот документ, секретно хранившийся в Кремле, и только после этого все вдруг поверили в его подлинность и в его, теперь уже утерянное, значение.

Когда я приехал во Францию, моя записная книжка лежала в моем кармане. О ленинских записках я больше не думал. Впрочем, если бы я и попытался их опубликовать за границей, их, несомненно, ожидала бы участь ленинского «Завешания». Но с течением времени они постепенно заняли в моем сознании одно из главных мест при мыслях о международном политическом положении, и, после хрущевских признаний, я решил добиться опубликования ленинских страничек. Переведа их на французский язык, я предложил этот текст некоторым парижским газетам. Но

все они отказались взять на себя «подобную ответственность», оправдываясь тем, что я не могу представить «официальных доказательств» подлинности текста. В ответ на мое замечание, что — в данном случае — Советы должны предьявить доказательства, что Ленин этого никогда не писал, редакторы газет пожимали плечами. Текст остался неопубликованным, несмотря на то, что его политическое значение (которое я сам, в 1924-м году, не смог осмыслить), по-моему, огромно.

В первые годы после Октября Ленин, человек дальновидный, скоро понял невозможность немедленного осуществления коммунистической революции в мировом масштабе и, уже во время третьего конгресса Коминтерна (Коммунистический интернационал), необходимость восстановления дипломатических и коммерческих связей с «капиталистическими» (то есть — с враждебными и подлежащими разрушению) странами была признана обязательной для спасения советских стран от их слишком рискованной изоляции. Задача начать в этом направлении первые дипломатические шаги была возложена на Г. В. Чичерина¹⁷.

Необнародованные ленинские записки говорили:

«В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобратся в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения...»

«Революция никогда не развивается по прямой линии, по непрерывному возрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготавливая их конечную победу».

«На основании тех же наблюдений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами.

а) Провозгласить, для успокоения глухонемых, отделение (фиктивное!) нашего правительства и правительственных учреждений (Совет Народных Комиссаров и пр.) от Партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории Советских Социалистических Республик. Глухонемые поверят.

б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей.

«Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью».

«Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техникой, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства»¹⁸.

Бросая теперь ретроспективный взгляд на полное сококалание «деловых» связей Советского Союза с капиталистическими странами, нельзя не признать записки Ленина пророческими. К советским разведчикам и шпионам, приезжавшим в свободные страны под видом дипломатических, торговых и культурных представителей, прибавились за последние годы советские спортивные команды, фольклорные, балетные, драматические и цирковые труппы, а также — советские туристы. В свободных странах «глухонемые слепцы», не способные разобратся ни в

современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил, и трудящиеся по подготовке их собственного самоубийства, наивно принимают советских дипломатических, торговых и культурных представителей — только за таковых, а советских атлетов, циркачей, танцоров и туристов — только за безвредных иностранных посетителей. К этому следует прибавить полную тщетность международных конференций с представителями Коммунистического интернационала. (<...>)

Лев Троцкий

В середине января 1923-го года, в Петербурге, зашел ко мне на Кирочную улицу Корней Чуковский и сообщил, что из Москвы приехал Вячеслав Полонский с «важными заказами» для питерских художников и что он хочет со мной познакомиться. Полонский состоял тогда председателем Высшего Военного Редакционного Совета (ВВРС). Мы уговорились встретиться в тот же вечер у Чуковского, где я и познакомился с Полонским¹⁹.

Речь шла об устройстве художественной выставки, посвященной пятилетию Красной Армии. Выставка эта должна была положить начало художественному отделу Музея Красной Армии. Полонский был уполномочен дать соответствующие заказы ряду художников. Что касалось, в частности, меня, то Полонский, рассказав о своем интересе к моим портретным работам, предложил мне исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета и — в первую очередь — Троцкого.

Мы тут же заключили договор, и через несколько дней я приехал в Москву. Там в полдень (я только что успел привести себя в порядок с дороги) ко мне явился молодой адъютант председателя Реввоенсовета с предложением сейчас же отправиться к Троцкому, который немедленно меня примет. В здании Реввоенсовета, на Знаменке, поднявшись на второй этаж и пройдя по ряду коридоров с расставленными у дверей молодцеватыми подтянутыми часовыми, проверявшими пропуски с неумолимым бесстрастным видом, я очутился в приемной Троцкого. Огромный высокий зал был наполнен полумраком и тишиной. Тяжелые шторы скрывали морозный свет зимнего дня. На стенах висели карты Советского Союза и его отдельных областей, испещренных красными линиями. За столом, у стены, сидели четверо военных. Зеленый стеклянный абажур, склоненный над столом, распространял по комнате сумеречный уют и деловитость.

Как только я вошел в комнату, все четверо мгновенно встали, и один из них, красивый и щеголеватый дежурный адъютант, поспешно подошел ко мне по малиновой ковру.

— Художник Анненков? — спросил он.

— Да, — ответил я, едва удержавшись, чтобы не сказать «так точно».

— Лев Давыдович вас сейчас примет.

Щеголеватый адъютант снял телефонную трубку и через несколько секунд снова обратился ко мне:

— Можете пройти в кабинет.

Он проводил меня до двери и, слегка приоткрыв ее, вполголоса прибавил:

— Налево, к окну.

Я вспомнил — у Толстого: «Затем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: направо, к окну...»

Проходя в кабинет, я слышал, как за моей спиной военные снова садились в кресла.

* * *

По рассказам, чаще всего — злобным и язвительным, — Троцкий был щупленький человек маленького роста («меньшевик», — острили про него). С меньшевиками Троцкий был в своей молодости, действительно, близок, но к его внешнему облику это не имело никакого отношения: он был хорошего роста, коренаст, плечист и прекрасно сложен. Его глаза, сквозь стекла пенсне, блестели энергией. Он встретил меня весьма любезно, почти дружественно, и сразу же сказал:

— Я хорошо знаю вас как художника. Я знаю, что до войны вы работали в Париже. Я знаю ваши иллюстрации

к «Двенадцати» Блока, и у меня есть книга о ваших портретах. Я знаю также о вашем участии в «массовых зрелищах». Надеюсь, что вы тоже слышали кое-что обо мне, и, значит, мы — давние знакомые. Присядем.

Мы сели. Троцкий заговорил об искусстве. Но — не о русских художниках. Он говорил о «парижской школе» и о французской живописи вообще. Он упоминал имена Матисса, Дерэна, Пикассо, но постепенно углублялся в историю. Особенно интересными были для меня довольно колкие замечания Троцкого о том, что французская революция никак не отразилась в искусстве.

— Разве в Давидовском «Убийстве Марата»²⁰, — говорил Троцкий, — есть что-нибудь от революции? Решительно ничего. Один анекдот: голый Марат в ванне. Разве знаменитая «Свобода, ведущая народ» Делакруа²¹ выражает сущность революции? Конечно, нет. Ребенок с двумя пистолетами, какой-то романтизм в цилиндре, идущий по трупам, во главе с античной красавицей, обнажившей грудь и несущей трехцветный флаг? Романтический анекдот, несмотря на прекрасные живописные качества. Но в «Коронации Наполеона» тот же Давид смел блестяще выразить всю торжественную бессмыслицу этого обряда... Портрет, пейзаж, мертвая натура, интерьер, любовь, быт, война, исторические события, веселье, грусть, трагедия, даже — безумие (вспомним хотя бы «Сумасшедшую» Жерико)²² — все это получило свое выражение в живописи. Но революция и искусство — это единение еще не найдено.

Я возразил Троцкому, что революция в искусстве есть, прежде всего, революция его форм выражения.

— Вы правы, — ответил Троцкий, — но это — революция местная, революция самого искусства, и притом — очень замкнутая, недоступная широкому зрителю. Я же говорю об отражении общей, человеческой революции в так называемом «изобразительном» искусстве, которое существует тысячелетия. «Тайная Вечера» — есть; «Распятие» — есть; даже — «Страшный Суд» есть, да еще какой: Микельанджеловский! А революция? Революции я не видел. Картины, пишущиеся сейчас советскими живописцами, стремящимися «отобразить» революционную стихию, революционный пафос — нищенски недостойны не только революции, но и самого искусства...

Побеседовав минут двадцать, я стал прощаться. Троцкий сообщил мне, что завтра он уезжает к себе в «ставку», верстах в двадцати под Москвой, и что послезавтра будет там ждать меня для работы.

* * *

С этой первой встречи Троцкий превращается для меня из «исторического персонажа» в живого человека и — еще скромнее — в «лично знакомого».

Через день, в условленный час, за мной прислали из Реввоенсовета машину, и я отправился в «ставку», забрав с собой все необходимое для рисования. Ставка помешалась в богатейшем национализированном имении князей Юсуповых — Архангельское²³. Стояла сверкающая зима, снег и иней блестяли под ярким солнцем. Около ворот имения стояли часовые. Увидев знакомую машину, они вытянулись во фронт и откозыряли, глядя на меня. Но еще в пути одна вещь меня удивила: по краям дороги, почти на всем расстоянии между Москвой и «ставкой», заржавленные каркасы броневых машин и разбитых орудий, воспоминания о гражданской войне, высовывались из снежных сугробов. Прошло уже полных три года со времени боев (да и были ли они в этом Подмосковье?). Иностранцы дипломаты и военные представители часто ездили в «ставку» к Троцкому. Какое впечатление мог произвести на них подобный пейзаж? Как-то, в одну из наших бесед, я выразил Троцкому мое удивление по поводу столь мрачного и так легко упраздненного обрамления дороги.

— Стратегическая маскировка, — ответил Троцкий, — пусть пока капиталистам кажется, что у нас — полный бедлам, что наша революция — не более чем временный местный кризис, вызванный военными неудачами, и что иностранным капиталистам беспокоиться нечего. Вот и все. Тактика, товарищ!

И, улыбнувшись, добавил:

— Однако в скором времени та же тактика потребует обратной маскировки. Когда станет ясным, что наш бедлам не прекращается, но географически расширяется, то нужно будет сделать так, чтобы капиталистическим странам стало страшно пойти против нас. И вот, принимая у себя представителей капиталистического мира, гниющего Запада, мы будем показывать им торжественные парады, силу нашей военной «мощи» и ее организованность, демонстрируя орудия и всяческие танки, купленные в том же гниющем Западе. <...>

Я бывал в «ставке» раз пять, если не больше, и два раза там ночевал. В роскошно обставленных комнатах я любовался произведениями Тьеполо, Буше, Фрагонара и других мастеров той же эпохи. Встречался я с Троцким также и в помещении Реввоенсовета, где познакомился и подружился с его заместителем на посту председателя Реввоенсовета, Эфраимом Склянским, с которого мне тоже пришлось написать портрет, воспроизведенный в «Большой Советской Энциклопедии» 1926-го года, т. 2²⁴. В позднейших изданиях этой Энциклопедии всякое упоминание обо мне было выброшено. <...>

Наши беседы скользили с темы на тему, часто не имея никакой связи с событиями дня и с революцией. Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова. Он интересовался и был всегда в курсе художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе. В этом отношении он являлся редким исключением среди «вождей революции». К нему приближались Радек, Раковский, Красин²⁵ и, в несколько меньшей мере, Луначарский (несмотря на то, что именно он занимал пост народного комиссара просвещения). Культурный уровень большинства советских властителей был не высок. Это были очень способные захватчики, одни с идеологическим уклоном, другие — как Сталин — с практической «неуклонностью». Несовместимость интеллигентов с захватчиками становилась ясной уже в первые годы революции. Объединение и совместные действия этих столь разнородных элементов были только результатом случайного совпадения: рано или поздно они должны были оказаться противниками. И, как всегда в такой борьбе, интеллигенции было предназначено потерпеть поражение. Если из междоусобной гражданской войны с прежним режимом Троцкий вышел победителем, то лишь потому, что это была война за идейную, идеологическую победу. Но когда наступила борьба за практическую демагогию, он, как интеллигент, неминуемо должен был проиграть.

* * *

Однажды, когда я заработался до довольно позднего часа, Троцкий предложил мне переночевать у него в «ставке». Я согласился. Красноармеец постелил на удобном «барском» диване, в кабинете, чистую простыню, одеяло и положил подушку в наволочке с инициалами прежних хозяев имения. Почитав на сон газету, я загасил лампу и задремал, но, сквозь дремоту, вдруг расслышал неопределенный, затуманенный шумок. Я приоткрыл глаза и увидел, как Троцкий, с маленьким карманным фонариком в руке, войдя в кабинет, прокрадывался к письменному столу. Он старался не производить никакого шума, могущего меня разбудить. Но ходить на цыпочках, «на пальцах», как балетные танцоры, было для него непривычным, и он терял равновесие, покачивался, балансируя руками и с трудом делая шаг за шагом. Забрав со стола какие-то бумаги, Троцкий оглянулся на меня: мои глаза были едва приоткрыты, и я сохранял вид спящего. Троцкий с тем же трудом и старанием вышел на цыпочках из кабинета и бесшумно закрыл дверь.

Нужно было жить в обстановке тех лет в России, чтобы почувствовать всю неожиданность подобной деликатности со стороны вождя Красной Армии и «перманентной» революции.

* * *

В дальнейшем я часто встречался с Троцким в здании Реввоенсовета и... в национализированном доме Льва Толстого, в Хамовническом переулке, где подготавливался музей писателя. В этом доме мне была отведена обширная

комната, в которой я должен был исполнять монументальный портрет Троцкого (около четырех аршин в высоту и трех — в ширину) и куда, по этому случаю, доставили огромный мольберт. Тогда же мне была выдана, за подписью Склянского³, специальная карточка, разрешавшая завтракать и обедать в столовой Реввоенсовета. Никаких «Яров» и прочих ресторанов, с балалаечниками и цыганскими хорами, в Москве уже не было: они поспешно перебрались в Париж.

Как-то, в коридоре Реввоенсовета, посыльный, мальчик лет пятнадцати, одетый в красноармейскую форму, увидев Троцкого, встал во фронт и, лихо шелкнув каблуками, отдал честь. Улыбнувшись, Троцкий произнес:

— Здорово, мальчуган! Но ты должен знать, что честь отдают только тогда, когда на голове фуражка: это даже называется «kozyрять», «отkozyрять». А если голова, как сейчас у тебя, голая, то следует только становиться во фронт, руки по швам.

— Слушаюсь, товарищ Троцкий! — ответил мальчик, снова шелкнув каблуками и снова машинально козырнув.

Испугавшись своей оплошности, мальчик воскликнул:

— Извиняюсь, товарищ Троцкий!

Троцкий засмеялся:

— Катись, катись! Ничего страшного!

— Так точно, товарищ Троцкий!

Руки мальчика, на этот раз, были по швам.

Я спросил у Троцкого, каким образом он ознакомился со всеми мелочами военных условностей? Он ответил мне довольно длинной тирадой, которую впоследствии я почти дословно прочитал в его книге «Моя жизнь», выпущенной уже за границей, в изгнании. Желая быть наиболее точным, я приведу здесь в качестве ответа выдержку из этой книги:

«Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в царской армии. Ближе я подошел к вопросам милитаризма во время балканской войны, когда я несколько месяцев провел в Сербии, Болгарии и Румынии. Но это был все же общеполитический, а не чисто военный подход. Мировая война всех на свете приблизила к вопросам милитаризма, в том числе и меня. Но дело шло все же прежде всего о войне как продолжении политики и об армии как ее орудии. Организационные и технические проблемы милитаризма все еще отступали для меня на задний план...»

«В парламентских государствах во главе военного и морского министерства не раз становились адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущественно из окна редакции, только более комфортабельной... Но (...) в капиталистических странах дело шло о поддержке существующей армии, т. е., в сущности, лишь о политическом прикрытии самодовлеющей системы милитаризма. У нас дело шло о том, чтобы смести начисто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схему которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно объясняет, почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласился на нее только потому, что некому было нынче за нее взяться».

«Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом... Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, в защите Петрограда и в войне с Пилсудским — я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК. Но в этих случаях стратегическая позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться».

— Вот и все, — добавил Троцкий, — я формировал нашу армию, а армия формировала Троцкого. Таким образом я постепенно освоился со всякой чепухой военщины, до маршировки и даже до отдания чести включительно.

Но, по существу, вся эта «чепуха военщины» была глубоко чужда Троцкому. Это происходило в эпоху, когда сорванные революцией погоны и эпюлеты считались символом свергнутого строя. Известный московский портной, имя которого я запомнил, одевавший до революции московских богачей и франтов, был поставлен во главе «народной портняжной мастерской», доступной,

конечно, только членам советского правительства и партийным верхам. В этой «народной мастерской» был шит, с дипломатическими целями, «исторический» фрак наркома иностранных дел Г. В. Чичерина. Мне случайно довелось увидеть этот фрак еще в незаконченном виде, и портной, подмигнув, сказал:

— Вот, полюбуйтесь: первый рабоче-крестьянский фрак!

Чичерин появился в нем впервые на международной конференции в Генуе, в 1922-м году, и сильно разочаровал европейцев, ожидавших увидеть советского представителя в рабочей блузе или в фольклорной мужицкой рубашке.

Тот же портной одевал первых советских послов («полномочных представителей»), и он же изготовлял военное обмундирование для высшего командного состава Красной Армии. Между прочим: художник, автор первой красноармейской беспогонной формы, с суконным шлемом блинного стили с красной звездой, был почему-то довольно скоро после этого расстрелян...

Когда все мои эскизы к портрету Троцкого были закончены и я должен был приступить к холсту, уже стоявшему на мольберте в доме Толстого, Троцкий, разговаривая со мной в Реввоенсовете, сказал полушутя, полусерьезно:

— А как же мне нарядиться для портрета? Позировать в военной форме мне бы не хотелось. Могли бы вы набросать что-нибудь соответствующее для нашего портного?

Я набросал карандашом темную, непромокаемую шинель с большим карманом на середине груди и фуражку из черной кожи, снабженную защитными очками. Мужички сапоги, широкий черный кожаный кушак и перчатки, тоже из черной кожи, с обшлагами, прикрывавшими руки почти до локтей, дополняли этот костюм. Вспоминаю, как во время одной из примерок я сказал:

— В этом нет ничего военного.

Троцкий улыбнулся:

— Но в этом есть что-то трагическое.

— Не трагическое, — ответил я, тоже рассмеявшись, — но угрожающее.

В этой «одежде революции» Троцкий позировал мне для своего четырехаршинного портрета. В этом же костюме Троцкий был снят рядом со мной правительственным фотографом. Этот снимок у меня сохранился до сих пор и в свое время (1923) оказал мне однажды неожиданную услугу. Я жил в Москве на Пречистенке (в здании Академии художественных наук), в первом этаже. Вход в квартиру был со двора, ворота которого наглухо закрывались на ночь, и у жильцов дома был ключ, которым открывалась калитка. Как-то ночью, возвращаясь домой, я обнаружил, что забыл ключ в квартире. Звонок, само собой разумеется, не действовал. Я подошел к окну моей комнаты и нажал на его раму. Окно распахнулось: по счастью, оно не было заперто на задвижку. Обрадованный, я начал карабкаться на подоконник, чтобы перелезть в мою комнату, но чья-то рука схватила меня за плечо. Передо мной стояли два милиционера, которые потребовали у меня объяснений. Но рассказ о забытом ключе их не убедил.

— По ночам через окна порядочные не лазают! Предъявить документы!

Голос милиционера был неумолим. Ни «личной карточки», ни иных документов у меня с собой не оказалось, но в бумажнике нашлась моя фотография с Троцким. Я показал ее милиционерам. Они сразу же узнали «любимого вождя» и, возвращая мне карточку, один из них сказал изменившимся голосом:

— Ладно, лезьте!

— Молчи! — прервал его другой милиционер и, повернувшись ко мне, произнес:

— Мы приносим вам, уважаемый товарищ, наши извинения. Вы видели, как советская милиция бдительна.

Подтолкнув меня на подоконник и откозырвав, они твердым шагом удалились в бесфонарную ночную тьму тогдашней Москвы.

* * *

Последняя примерка костюма Троцкого происходила в его «ставке». Часов в 11 утра портной уехал в Москву. Я остался завтракать у Троцкого и должен был уехать только около 3-х часов пополудни. Перед моим отъездом Троцкий оглядел меня с головы до ног и заявил:

— Что же касается вашего собственного костюма, то он

мне не нравится; в особенности ваши легкие городские ботинки: они вызывают во мне страх при теперешнем тридцатиградусном морозе. Я вас обуя по-моему.

И он повел меня в особую комнату, служившую складом, полным всевозможных гардеробных подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки и пр.

— Это все подарки и подношения, с которыми я не знаю куда деваться, — пояснил Троцкий, — пожалуйста, не стесняйтесь!

И он выбрал для меня замечательную пару серовато-желтых валенок на тонкой кожаной подкладке и с неистовыми кожаными подошвами. Валенки были несколько велики и подымались почти до самого верха бедер. Мне казалось, что я обулся в легендарные семиверстные сапоги. Внутри валенок было выбито золотыми буквами следующее посвящение:

«Нашему любимому Вождю, товарищу Троцкому — рабочие Фетро-Треста в Уральске».

— Прекрасно! Теперь мы сквитались, и моя совесть очистилась! — улыбнулся Троцкий.

К барашковой тужурке, подаренной мне годом раньше К. Станиславским, прибавились теперь валенки Троцкого. Я сохранял их в моем шкафу, как «исторические ценности», до самого отъезда за границу.

* * *

Писать портрет пришлось долго: 12 квадратных аршин. Весь верх картины, то есть лицо, я вынужден был писать, сидя на складной лестнице. Троцкий позировал, сидя в кресле, поставленном на столе. Он приходил очень точно в назначенный час, раза по три в неделю, и — в моей мастерской — переодевался в «одежду революции», хранившуюся здесь же, на вешалке.

В комнате висели два небольших фотографических портрета Толстого: один, вероятно, был ровесником Анны Карениной, другой был сделан лет за пять до трагической смерти Толстого. Когда приходил Троцкий, мы, конечно, говорили о Толстом. Преклонение Троцкого перед Толстым было нескрываемо. Троцкий рассказал мне, как в юности он находился под влиянием толстовского мироощущения и что «одна мужицкая рубаха графа Толстого стоит половины всего Тургенева».

Троцкий уходил, и я оставался наедине с портретом Толстого. Я не был ни суеверен, ни очень застенчив. Но портреты Толстого меня почему-то смущали. Я постоянно оглядывался на них и всякий раз ощущал, что я работаю не в мастерской художника, а в доме Толстого. И вдруг мне припомнилась фраза Толстого, обрисовавшая мастерскую князя Нехлюдова, бросившего службу и решившего заняться живописью:

«В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешены были этюды».

Я осторожно снял со стены портреты Толстого, бережно положил их в ящик стола и приколол на стену мои этюды к портрету Троцкого. И сразу почувствовал облегчение. Вечером, уходя, я отколол мои наброски и снова повесил фотографии Толстого на прежние места. Так поступал я потом ежедневно. Работа значительно облегчилась.

* * *

Во время сеансов мы много говорили о литературе, о поэзии (к которой Троцкий относился с большим вниманием) и об изобразительном искусстве. Могу засвидетельствовать, что среди художников тех лет главным любимцем Троцкого был Пикассо. Троцкий видел в формальной неустойчивости, в постоянных поисках новых форм этого художника — воплощение «перманентной революции», той самой «перманентной», которая принесла Пикассо славу и богатство и которая стоила Троцкому жизни.

Однажды мы зашли в музей Шуккина, находившийся в двух шагах от Реввоенсовета. Музей был национализирован, и самому Шуккину, который открыл Пикассо, открыл Матисса, Шуккину, создавшему в Москве бесценный музей новейшей европейской живописи, — этому щедрейшему Шуккину была отведена, в его доме, находившаяся при кухне «комната для прислуги».

Троцкий задержался перед холстами Пикассо, и я сделал с него набросок на фоне «Арлезианки» этого мастера...

Мои встречи с Троцким продолжались на протяжении нескольких месяцев. В личной жизни Троцкий, несмотря на свою огромную популярность, оставался необычайно прост, приветлив и человечен. О кличках — «наш любимый Вождь», «наш великий Учитель», «любимый Отец народов» и пр., которыми украшались коммунистические главари, Троцкий сказал мне по-французски:

— Stupide exagération!

И — по-русски:

— Пошлая, дурацкая театрализация.

В предисловии к книге «Моя жизнь», написанной уже в изгнании, в Турции, на острове Принкипо под Константинополем, Троцкий говорит (14-го сентября 1929-го года): «Я не могу отрицать, что моя жизнь не принадлежала к числу наиболее обычных. Но причины этого следует искать скорее в обстоятельствах эпохи, чем во мне самом... Над субъективным встает объективное, и в конечном счете, это оно становится решающим»...

* * *

Какая судьба ожидала мой портрет Троцкого?

В 1954-м году приезжал в Париж один видный «художественный деятель» Советского Союза, председатель Союза художников РСФСР и член-корреспондент Академии Художеств СССР. Он позвонил мне по телефону и сказал, что хотел бы повидаться со мной. Мы встретились и, в разговоре я, между прочим, спросил, где находится этот портрет? Но если, в 1926-м году, в Советской Энциклопедии писалось, что «в героической композиции» моего портрета Троцкого «дана попытка передать романтику революции», то мой советский гость, посмотрев на меня с удивлением, сказал:

— Неужели вы не понимаете, что мы не можем выставить публично портрет Троцкого?

Я посоветовал москвичу побывать во французских музеях, где можно одновременно видеть портреты революционеров и их усмирителей, членов конвента и императоров, потому что эти картины являются не только политическими документами, но прежде всего произведениями искусства. Советский гость ответил с презрением:

— Гнилой Запад. Мы бы давно всех Наполеонов, даже Давидовских, выбросили в помойку.

¹² Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. (1883—1936) — партийный и государственный деятель. В указанные Анненковым годы был единоличным руководителем Коммуны Северо-Западных областей (с центром в Петрограде).

¹³ Кибальчич (Виктор Серж) — один из видных деятелей международного коммунистического движения в 20-е гг., журналист, писатель. Исключен из Коминтерна за фракционную деятельность. В течение многих лет был одним из близких друзей и сотрудников Л. Д. Троцкого.

¹⁴ Петров-Водкин К. В. (1878—1939) — русский советский живописец.

¹⁵ Кравченко А. И. (1889—1940) — русский советский живописец, график, ксилограф.

¹⁶ Борис Суварин, Макс Истмен — деятели международного коммунистического движения, исключенные в середине 20-х гг. из Коминтерна за фракционную деятельность.

¹⁷ Чичерин Г. В. (1872—1936) — партийный и государственный деятель. В 1918—1930 гг. Нарком по иностранным делам СССР, затем — на почетной пенсии.

¹⁸ Цитируемые Анненковым ленинские тексты никогда не публиковались в СССР и воспроизводятся по собственным записям мемуариста.

¹⁹ Полонский (Гусин) В. П. (1886—1932) — партийный литератор, один из первых советских руководителей в области литературного творчества.

²⁰ Давид Ж. Л. (1748—1825) — французский живописец-классицист. С 1804 г. — официальный живописец Наполеона.

²¹ Делакруа Ф. В. Э. (1798—1863) — художник и график, лидер романтической школы французской живописи.

²² Жерико Т. (1791—1824) — французский живописец и график, одним из первых обратившийся в своем творчестве к романтизму.

²³ Архангельское — усадебный ансамбль в 20 км к западу от Москвы. Первоначально — вотчина Голицыных, с 1810 по 1917 г. — во владении Юсуповых.

²⁴ Склянский Э. М. (1892—1925) — военный и государственный деятель, один из ближайших сотрудников Троцкого в период гражданской войны. Погиб в результате несчастного случая.

²⁵ Радек К. Б. (1887—1939) — один из деятелей международного коммунистического движения, партийный публицист, участник оппозиционных группировок в ВКП(б). Осужден и расстрелян по политическим обвинениям. Раковский Х. (1873—1941) — деятель международного коммунистического движения, советский государственный деятель и дипломат. Осужден, а затем расстрелян по политическим обвинениям. Красин Л. Б. (1870—1926) — партийный и государственный деятель. В последние годы жизни посол СССР во Франции и Англии.



БОРИС ГРОЙС



РОССИЯ КАК ПОДСОЗНАНИЕ ЗАПАДА

Давно уже было замечено, что фрейдовская теория под-сознательного не привилась в России и что обстоятельство это ни в коем случае не может рассматриваться как случайное: напротив, оно, может быть, более, чем что-либо другое, проливает свет на внутреннее устройство русской культуры¹. На Западе психоанализ в известном смысле можно считать самой распространенной идеологией. Если пациент по имени Россия не согласился на психоанализ, то это означает, что анализ его обещает быть особенно интересным: ведь в известном смысле единственным объектом психоанализа является именно отказ быть проанализированным, отказ признать свою детерминированность подсознательным.

Оригинальность «русской» позиции, о которую разбиваются традиционные психоаналитические стратегии, состоит, впрочем, в том, что Россия вовсе не настаивает на своей «сознательности». Русская культурная традиция, напротив, понимает саму Россию как подсознание: у России не может быть подсознания, потому что она сама есть подсознание. Разумеется, это самоосознание в качестве подсознания осуществляется в русской культуре в других терминах, нежели фрейдовские, и этой терминологической дифференцией никак не следует пренебрегать. Но здесь мне хочется в первую очередь продемонстрировать существенное сходство «западного» дискурса о подсознательном, или бессознательном, и русского философского дискурса о России, заранее смирившись с могущими последовать неизбежно справедливыми указаниями на фрагментарность и односторонность.

Россия как философскую тему открыл, как известно, Чаадаев. Его суждение о состоянии русской культуры было воспринято в то время (по меньшей мере, на поверхностном уровне) да и воспринимается обычно сейчас как политическая критика. Однако критика эта слишком радикальна, чтобы быть политической, и одним своим радикализмом уже переводит дискурс на другой уровень. Так, Чаадаев пишет, что «мы», т. е. русские, «не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода»², «стоим как бы вне времени», «не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку» (т. е. стоим также и вне пространства), что у «нас» нет также

«ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти» (т. е. памяти нет, она вытеснена, «стерта»), что «мы» живем в период, подобный тем, которые «предшествовали современному состоянию нашей планеты», и далее: у «нас» нет «ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль», у «нас» нет традиций, морали, культуры, долга, справедливости и т. д. Цитаты можно было бы продолжить, но наиболее существенное в них уже ясно: собранные вместе, они представляют собой классическое описание подсознательного, как оно давалось в западной традиции от Шопенгауэра через Гартмана и Ницше до Фрейда.

В России, как она описывается Чаадаевым, обнаруживается характерная двойственность: с одной стороны, она есть страна среди других стран с определенной территорией, историей, населяющим ее народом и т. д. С другой стороны, Россия пребывает вне пространства и времени, вне памяти, вне права, рационального анализа и т. д. Россия «как бы не входит в состав человечества, а существует лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок», т. е. материальное, внешнее существование России есть лишь симптом, лишь шифр, который должен быть истолкован, психоанализирован. Или иначе говоря: Россия выступает либо как объект исследования, либо как ускользающая от всякого исследования потусторонность. Или еще иначе: Россия есть область дифференции, область амбивалентности, обнаруживающейся и скрывающейся объектности, область «следа от исчезновения следа», говоря словами Деррида (т. е. область исчезновения «пленительных воспоминаний» и «мощных поучений»). Но Россия не есть область субъективного, не есть субъект, сознание. Пространство России есть пространство утраты пространства, утраты пространственной определенности, индивидуальности. Время России есть время утраты времени, утраты истории, памяти, «сознательности». Россия живет в постистории (потому она и может, как рекомендует Чаадаев в «Апологии», взять все лучшее у других народов, все, созданное ими в истории, — тема, ведущая и к Ленину, и к Сталину, и к «перестройке»), но она живет и в пре-истории, до сотворения мира. Россия ничего не «создает», поскольку креативность возможна только в пространстве-времени

индивидуального или коллективного сознательного опыта, но все создания других народов распадаются в ней, утрачивая свою определенность, и начинают вступать в произвольные сочетания: Россия как сон, как пространство и время сновидения, но и как область лакановского психоанализа, основанного на свободном комбинировании означающих, как практика сюрреалистического «автоматического письма» и т. д.

В отношении такой России, открывающейся как бессознательное, сам Чаадаев выступает как носитель европейского сознания. Иначе говоря: иное для России есть не подсознание, а сознание. Поэтому в своем «Философическом письме», направленном женщине и потому призванном в первую очередь соблазнить, Чаадаев апеллирует не к скрытому эротическому, а к «сознанию», порядку, организованности и т. д. Русский интеллигент соблазняет женщину прежде всего своей «сознательностью» и предлагает ей принести не телесный, а духовный плод. Женщина выступает для русского мыслителя лишь обманчивой символизацией России: она пробуждает и в то же время отвлекает на себя его эротическую энергию. Русский интеллигент, как «русский европеец», существенно андрогинен. Его «русскость» и есть его анима, его женственность. Поэтому у Чаадаева и возникает тема самоовладения, или самодисциплинирования, развивающаяся в диалоге с женщиной, но направленная в конечном счете на исключение женщины, на достижение внутренней самостоятельности, — фигура, затем постоянно воспроизводящаяся в русской литературе. В предельно обостренной форме тема эта возникает у Вл. Соловьева или у Федорова с его мечтой о самопорождении, окончательно «космически» устранивающей женщину и в то же время означающей окончательный триумф России над Западом: эрос, ориентированный на женщину, или, что то же самое, на воспроизведение через рождение кантовских «сознательных» условий пространства и времени, воспринимается как сугубо «западный», — он должен быть переориентирован на Россию и «народ», чтобы отменить пространство и время разделения, т. е. индивидуализации, и реализовать пространство и время сновидения, как полиморфизм бесконечно длящихся и в то же время единовременных трансформаций.

«Русский интеллигент» оказывается, таким образом, расколотым на западное сознание и русское подсознание. К целостности он может поэтому прийти только через овладение всей своей страной, через политико-космический жест, в который инвестируется весь его эрос. Попытка отвлечь его «вопросом пола», противостоящим «женскому вопросу»³, может означать в этом контексте лишь радикальную экспансию Запада в сферу его не только сознания, но и подсознания, что, в случае успеха такой попытки, лишь окончательно закрепило бы его фундаментальную внутреннюю расколотость. Отторжение западного сексуально ориентированного дискурса о подсознательном в России есть поэтому не форма борьбы сознания с подсознанием, а борьба, так сказать, одного подсознания с другим. Именно поэтому, при всей радикальности такого отторжения, дискурс о России, ради которого это отторжение происходит, легко перекодируется в квази-эротический. Так, любопытно заметить, что интеграции интеллигента в «партийную организацию» Ленин противопоставляет западную проституцию⁴, а Малевич, хотя и утверждает, что на его черный квадрат не удастся поместить нежную улыбку Психеи или превратить его в подстилку для любовных утех⁵, своими собственными интерпретациями черного квадрата заставляет думать, что здесь речь идет не только о пространстве утраты всякой предметной индивидуальности, т. е. о специфически «русском» пространстве, но также и о черноте некоей космической пра-вагины. Что же касается, например, эпохи русского символизма, то о ней известно, что она сделала профессию именно из такого рода перекодировок, — при том, что «Запад» характерным образом объединялся в эту эпоху с «Востоком» по признаку отказа от примата подсознания в пользу сознания (который приписывался равно западной философии и буддизму), и Россия вновь оказывалась, таким образом, вытесненной в заисторическое пространство и время.

Эта конфигурация соперничающих подсознаний, впрочем, куда менее экзотична, чем это может показаться. Философические письма Чаадаева являются очевидным образом реакцией на историософию немецкого идеализма, согласно которой мировой дух проходит на пути к своему самосознанию различные последовательные этапы, каждый из которых связывается с определенным периодом культурного и, в особенности, философского развития различных народов, благодаря этой идеальной связи и составляющих единое «человечество». Для русского народа в этой шеллингианско-гегельнской эпопее места не нашлось. Причем отсутствие исторического места является здесь окончательным вердиктом, ибо мировой дух уже пришел в немецком идеализме к своему самосознанию; время потеряно непоправимо, про-

странство отсутствия незаполнимо, экстерриториальность и экстемпоральность России означают ее трансцендентное, эсхатологическое поражение и проклятие. Чаадаев отнесся со всей философской серьезностью к этому открытию России как абсолютно иногю, абсолютно внешнего мышления, как пространства бессознательного.

Однако это открытие иногю, нежели разум в его завершении, в его самосознании, означало при ближайшем рассмотрении не столько приговор России, сколько обнаружение ограниченности самого разума: если разум имеет нечто внешнее себе, то это свидетельствует не только о несостоятельности его претензий; но и о его зависимости от занимаемого им специфического места. Так, указывая, что действиями разума руководит «внутренняя сила» и что эта «движущая и оживляющая сила происходит не от мысли», Киреевский утверждает: «Эта внутренняя природа разума обыкновенно ускользает от Западных мыслителей»⁶. Здесь нередуцируемая гетерогенность философского мышления и России переосмыляется как нередуцируемая гетерогенность внутри самого философского мышления: внутреннее развитие философского мышления управляется извне — силой, которая «ускользает» от мыслителя. То, что «внутри внутреннего», оказывается внешним, объективным: специфическая конфигурация «европейской обязанности» диктует ей ее мышление. Эта конфигурация может быть, однако, описана только извне, т. е. из России. Преимущество «русской образованности» состоит в том, что она является той же, что и западная, т. е. христианской, но в то же время и иной, т. е. «восточной». Благодаря этому ей открывается принципиально недоступное западному разуму пространство «за философией», диалектически не редуцируемое, немоналогичное, гетерогенное, подсознательное. В этом — сердцевина славянофильского аргумента, который фактически перенимает и Чаадаев в «Апологии»: преимущество России не в специфичности ее культуры, а именно в отсутствии такой специфичности, или «односторонности». Из России становится видна скрытая механика разума, а следовательно, открывается возможность и управления разумом. «Всемирная отзывчивость русской души» и означает такую недетерминированность собственного сознания, позволяющую понять и осуществить детерминацию чужих сознаний: только тот, кто не имеет своей души, способен действительно стать инженером других человеческих душ.

Совершившееся здесь открытие «внешнего» и гетерогенного сознанию как внутренне детерминирующего сознание, как подсознательного не является, однако, вполне оригинальным, но лежит в русле всего постгегельянского философского мышления вплоть до настоящего времени. Среди первых манифестаций подсо-

знательного можно указать на «волю» Шопенгауэра, на экзистенцию Киркегора (здесь ставится вопрос о судьбе индивидуума, оказавшегося за рамками гегелевской системы), на позднюю философию Шеллинга, прямо повлиявшую на русское славянофильство, и на марксизм, где роль России сыграл рабочий класс (рабочий также не получил места в гегелевской системе, почему она и объявляется «буржуазной» на том же основании, на котором для славянофилов она была «западной», и т. д.). Психоанализ Фрейда является лишь одной из манифестаций этого типа постгегельянского мышления, существенно зависящей от уже сложившейся ее традиции у Шопенгауэра и Ницше. Следующими этапами выступают структурализм, расовая теория, хайдеггерианизм и т. д.

Специфической чертой русского открытия подсознания является, в первую очередь, то обстоятельство, что здесь как шифр подсознания, как место дифференции возникает страна, география, пространственно-временная конфигурация, «хронотоп». Ее коррелятом на психическом уровне выступает, как известно, знаменитая «соборность». Соборность есть русское имя для либидо, эроса, языка, воли к власти, эпистемы, классового сознания, архетипа, дифференции, симулякра и т. д. Соборность есть та внутренняя сила, которая сообщает очевидностям разума их очевидность, логическому выводу — его убедительность, эмпирическим данным — их эмпиричность, доводам сердца — их сердечность и т. д. Соборность показывает нашему сознанию вещи такими, каковы они есть, будучи сама скрытой. Если соборность искажается, то и вещи искажаются. Но разум не способен заметить их искажения, поскольку он видит их такими, какими они ему предстают: он не способен сам по себе поставить вопрос о силе, которая являет ему вещи такими, какими они ему являются, т. е. он не способен поставить вопрос о соборности.

Соборность маркирует место каждого в отношении других: она есть, как уже сказано, прежде всего пространственно-временная категория. Тот, кто стоит в отношении других «правильнее всего», тот и видит вещи «лучше всего»: тот, кто «не знает своего места», не видит и вещей, как они есть. Понятие соборности, разумеется, церковно-исторического происхождения и свидетельствует о специфической конфигурации русского мышления о подсознании: раскол личности на сознательную и подсознательную сферы был концептуализирован ранними славянофилами в терминах «нераздельности и неслиянности» человеческой и Божественной природы Христа, которым соответствует двойная природа христианина как участника мирской и церковной жизни, а также в терминах общения трех ипостасей Св. Троицы. Соборность и есть эта церковная компонента сознания (определяемая таинством

причастия), которая в качестве бес- сознательного, или подсознательного, определяет «мирскую» установку разума. В известном смысле соборность у славянофилов получает приоритет над содержанием, т. е. догматики, веры, т. к. выработка этой догматики была делом соборов, на которых соборность и выявила себя в качестве до-рациональной ориентации разума на истину. Несмотря на кажущуюся отсылку к церковной традиции, соборность остается в ней без определенного места — и это не случайно, ибо ее функция как раз и состоит в том, чтобы «давать место». Соборность отождествляется то с Христом, то с Богородицей, то с «Матерью-Сырой Землей», то со Св. Духом, то с мистической «внутренней церковью», а у Соловьева выступает, например, как новая мифологема, как София, которая, однако, вновь вступает в игру отождествлений, но изначальная дифференция при всех этих отождествлениях тем не менее сохраняется: соборность есть преодоление раскола между Западом и Востоком, между верой и атеизмом, между русскостью и европейскостью, между сознанием и подсознательным, и потому ее место — за пределом любого пространства, включая и пространство теологической мысли. Или иначе: ее место — там же, где и место России, т. е. по ту сторону эсхатологии.

Доминирующее положение, которое занимает в русской мысли тема России, так что «русская философия» выступает обычно синонимом «философствования о России», не должна, таким образом, вводить в заблуждение относительно принадлежности этого русско-философского дискурса к «магистральной линии» европейского философствования в постгегельянский, т. е. постметафизический, постисторический, пострационалистический и постпросвещенческий период. Западники с их философской критикой России исторически отставали на фазу от славянофильской «русской» критики философии, являющейся вариантом общеевропейского критицизма. Специфически русской в этой ситуации была лишь внутренняя расколотасть самого философствующего на, так сказать, этническом уровне. Если европейская философия уже начиная с Просвещения ставит вопрос о «другом» и подвергает критике «европоцентризм» западной культуры, то этот критический ход, ориентированный на «иное», на «иную культуру», служит объективно универсализации самой европейской культуры, или, иначе говоря, европейскому империализму. В этих условиях единственным поистине нередуцируемым «иным», поскольку оно внутренне раскалывает самого философствующего и не поддается империалистической экспансии, оказывается сексуальное иное, либидо, эротическая воля к власти, дискурс о которых и становится поэтому на Западе доминирующим.

Русский интеллигент, напротив, сам

расколот на «европейское сознание» и его «русское иное» — на первое время ему этого хватает и без всякого либидо. Если Руссо предавался мечтам об индейцах, германская философия — об индийцах, Гоген — о полинезийцах, Пикассо — об африканцах и т. д., то русский интеллигент оказался кентавром из Руссо и индейца, Шопенгауэра и индийца, Пикассо и африканца (действительная ситуация русского авангарда с его интересом к иконе, вывескам, лубку и т. д.). В своем собственном «кином» русский узнавал мечту европейской философии, в себе самом — реализацию ее идеала. Из критического принципа: «подсознание определяет сознание» (или «бытие определяет сознание», «классовый инстинкт определяет сознание», «расовый инстинкт определяет сознание» и т. д.), который русский интеллигент разделял со всей европейской мыслью модернистской эпохи, он, естественно, поэтому делал вывод: «Россия (как подсознание) определяет Европу (как сознание)», или точнее: «Россия должна определять Запад». Для Фрейда в результате психоаналитической терапии «я» должно стать на место «оно», т. е. подсознания. Для Маркса победа пролетариата означает также победу «поставленного на ноги» немецкого идеализма, ставшего «классовым сознанием» и сменяющим «бессознательное» буржуазного «товарного фетишизма». Если постмодернистская, постструктуралистская мысль сегодня видит здесь комбинацию «фаллокрации» и империализма и говорит о «нередуцируемой гетерогенности иного», не поддающегося ни сексуальному, ни революционному «овладению», то иное это становится здесь «абсолютно иным», оказывается в недостижимом удалении: предмет скрывается за предметностью, бытие ускользает и становится принципиально недо- (или непо-) стижимым. Именно из-за этой абсолютной удаленности предмет, бытие, женщина и т. д. наделяются в то же время абсолютной властью над «я», деконструируют «я», становятся для него «абсолютно близкими», интимно его определяющими.

Россия, напротив, с самого начала выступала в русской мысли как торжествующее, определяющее начало: как предмет, бытие, женщина и т. д., овладевающие европейским надменным «я». Проблема здесь, однако, в том, что соответствующее видение России возможно только в перспективе европейской мысли: победа «иного», т. е. России, над Западом возможна только как эффект внутренней победы русской интеллигенции, т. е. западного принципа, западной «сознательности», в самой России. Россия ответила на западный экспансионизм стратегией самоокупации, самоколонизации, самоевропеизации. В ситуации постмодернистской парадигмы эта стратегия уже обречена на неудачу: русская интеллигенция оказывается затерянной в «кином», т. е. в России, без шанса на

овладение ею. Современное смятение умов в русской интеллигенции происходит оттого, что Запад уже потерпел поражение, что метафизика уже деконструирована, сознание уже растворилось в бессознательном — и Запад при этом опять обошелся без России. В известном смысле сейчас повторяется изначальная конфигурация, выявленная в свое время Чаадаевым: Россия не получила своей доли в западной постистории так же, как она не получила ее в западной истории. Возможно, здесь вновь обрисовываются границы постмодернистского мышления, как прежде выявились границы исторического мышления: если прежде универсализм исторического духа оказался поставлен под сомнение, поскольку он не охватил собой Россию, то сейчас на том же основании можно подвергнуть сомнению универсализм постмодерного желания, универсализм эроса, поскольку конституирующая его дифференция, делающая невозможными обладание и наслаждение, находит себе предел в русской индифферентности, просто лишаящей и то, и другое смысла.

Во всяком случае «кризис эроса» или «кризис подсознания», происходящий сейчас в западной мысли в форме «параноидального» возрастания их значения, прямо затрагивает и «русскую идею». Ее принадлежность к сфере подсознательного влечения (при постмодернистском чтении: влечения, утрачивающего свой объект) выявилась для самой русской философии по меньшей мере в работе Вл. Соловьева «Кризис западной философии» (1874 г.). Эта работа начинается собой второй этап развития русской идеи, на котором она вступает в игру отождествлений и различий с другими европейскими дискурсами о бессознательном. Основной пафос этого сочинения Соловьева состоит в поиске синтеза между «соборностью» славянофилов и «философией бессознательного» Эд. фон Гартмана, ученика Шопенгауэра. Бессознательное Шопенгауэра и Гартмана оказывается для Соловьева «частичным» или «односторонним» прочтением соборности⁷ или, в дальнейшем, Софии. Из принципа негации как «духовного», так и материального мира бессознательное превращается в носителя утопического, эсхатологического эроса: оно, говоря современным языком, «территориализуется» в пространстве мифа о России. Характерно, что «телесный» эрос понимается Соловьевым не как «произведение третьего», а как произведение идеального тела партнера (тела, которое «действительно можно было бы любить»), т. е. принцип рождения сменяется принципом продуцирования, теургией. Или, выражаясь современным скептическим языком: реальность сменяется здесь симулякрот. Россия, переживая свое пространство как «пустое», как пространство чистого бессознательного, провозглашает здесь своей

целью эманировать в это пространство целиком искусственный мир, «догнав и перегнав» западный технический прогресс. Это технизированное бессознательное и его манифестации становятся затем в центр теории и практики русского авангарда, который устами Малевича прямо заявляет о себе, как об «управлении бессознательным»⁸ (у Соловьева: «управление воплощениями религиозной идеи»).

Соловьев задает основную модель для рецепции западных теорий бессознательного в России: если для Запада оно представляло угрозу, то для России, напротив, — обещание победы над западным сознанием. Если на Западе они антирелигиозны, то в России они посредством славянофильской соборности объявляются ступенью к православию. Короче, они меняют знак и направленность при пересечении русской духовно-государственной границы. Сходную переинтерпретацию Шопенгауэра можно найти у Толстого («воля» Шопенгауэра переинтерпретируется «положительно» как «бессознательная» жизнь русского крестьянства, лишенная «принципа индивидуации» с его негативными последствиями), у Федорова (остановка жизни переинтерпретируется «положительно» как переориентация воли от жизни к воскрешению) и т. д. Но, разумеется, наиболее плодотворной была в этом контексте рецепция Ницше.

Ницшеанское «дионисийское начало» было понято символистами как свидетельство признания Западом принципа соборности, как обещание конечной победы, в которой уже начали сомневаться. Что же касается до «сверхчеловека» Ницше, то он уже Соловьевым был понят как ступень к Богочеловеку Христу⁹. Здесь нет возможности вникать в хорошо известный, хотя едва ли вполне понятный — и вполне доступный пониманию — карнавал масок, инсценированный символистами: с Россией, Прекрасной Дамой, Софией, их демоническими, или «западными», двойниками и т. д. Достаточно сказать, что вся эта игра была весьма эротизирована и приход Фрейда вполне подготовлен. Он и был ассимилирован Бахтиным по той же русской модели: фрейдовское сознание было обвинено Бахтиным в том, что оно слишком сознание, что оно слишком односторонне, полемично, отрицательно и т. д.¹⁰. В то же время в рамках его собственной теории карнавала оно было переинтерпретировано «положительно» как «народное» (т. е. русское) «в больших пространстве-времени», «неофициальное» и т. д. Эротическое вытеснение совпадает здесь с политическим, и, более глубоко, с пространственно-временной «вне-находимостью» самой России, инсценирующей карнавал европейской культуры. Полиморфизм самой бахтинской теории, лежащий глубже описываемого ею романного полиморфизма, имеет свой источник в открывшейся Бахтину — под влиянием уже

накопленного русской философией опыта — фигуре неразличения соперничающих теорий подсознательного. Если на уровне «идеологии», или сознания, романские герои видят, по Бахтину, друг в друге «другого» и вступают друг с другом в диалог, то в фигуре «автора» у Бахтина сливаются черты соборного Богочеловека, киркегоровского экзистенциального героя, фрейдовского психоаналитика, ницшеанского сверхчеловека, марксистского вождя-аналитика и манипулятора, авангардистского коллажиста и т. д.: диалог между ними (диалог между романами, а не внутри романа) нет и не может быть, поскольку все они являются манифестациями одного и того же принципа положительно понятого бессознательного. Или иначе: все они погружены в безличность советско-русского матерно-политического анекдота.

Но, разумеется, несмотря на все его значение в русской культуре, синтез эротического подсознательного и России как подсознательного не смог сыграть в русской истории такой роли, как синтез русского мифа и марксизма. «Бытие определяет сознание» чрезвычайно близко «религиозному реализму» славянофильской традиции, противопоставленной западному идеализму. Если вначале Россия и пролетариат еще выступали конкурентами, то уже в 30-х годах начинается подчинение исторического материализма диалектическому материализму, т. е. подчинение социальной истории — космическому процессу, как он понимался, если угодно, еще Соловьевым. В то же время официальная идеология ищет формулы, типа: «национальное по форме и социалистическое по содержанию» или «партийность и народность», имеющей целью сочетать в себе оба подсознания — пролетарское и русское.

В настоящее время происходит кризис мышления о подсознании — в форме его радикализации. Современная французская мысль подытожила модернистскую традицию по меньшей мере в двух отношениях: (1) она нашла возможность говорить в сходных терминах обо всех прежде конкурировавших теориях подсознательного, что можно использовать также и в дискурсе о России, и (2) она научилась говорить о подсознательном как об абсолютном ином, непознаваемом и нередуцируемом, что, если говорить конкретно о фрейдизме, нашло выражение в критике его традиционной позитивистской стратегии у Лакана, Делеза и Деррида.

Вместе с тем это единство дискурса об ином наследует единству метафизического дискурса о Едином. Исключительную, провиденциальную роль России можно утверждать только в том случае, если Россия является единственной неметафизической областью в мире, а вся остальная история уже интегрирована в метафизику, что и утверждал Гегель: отсюда внутренняя зависимость «русской идеи» от той или иной формы гегельяства. Ту же внутреннюю зависимость от

Гегеля обнаруживают марксизм, фрейдизм, экзистенциализм и т. д., поскольку каждый из них указывает на единственную не охваченную (и не охватываемую!) метафизикой зону. Естественно поэтому и соперничество между этими теориями, частью истории которого и является вытеснение фрейдизма в России. И тогда, когда между всеми этими дискурсами обнаруживается сходство, оно дает лишь повод к возникновению единого и единственного дискурса об Ином как опять-таки единственном ином «монологической» метафизики.

Но такая гипотеза о полном поглощении сознания «метафизикой» или «идеологией» кажется все же поспешной. Индивидуальному сознанию представляется все же не сплошное поле интеллектуальных очевидностей, перейти за которое оно способно, только будучи движимым чем-то, от него самого сокрытым, а довольно разорванное, противоречивое или вообще гетерогенное множество теорий, наблюдений, текстов, традиций и т. д. Стратегии, которые используются, чтобы как-то сориентироваться во всем этом многообразии, зафиксировать в нем собственное место, идентифицироваться с его элементами или, напротив, дифференцироваться от них и т. д., также достаточно многообразны, хотя и могут быть в основных чертах описаны. Такое описание, превращая процесс индивидуации в некую осмысленную и подчиненную определенным правилам стратегию, делает, однако, любую теорию подсознательного излишней, ибо любая такая теория исходит из факта индивидуации как из изначального, спонтанного, заложенного в самом бытии нерелеферируемого условия всякого познания и всякой вообще сознательной деятельности. В век нарождающейся генной инженерии этот приоритет рожденного над произведенным (или эроса над техникой) кажется уже достаточно проблематичным. Если учение об эресе и учение о России на уровне их собственных претензий оказываются противостоящими друг другу, то на уровне порождающих их стратегий они обнаруживают сходство, вытекающее из «внеположности» установившимся европейским культурным институтам как русского славянофила, так и венского еврея, — сходство, неявно заявленное уже в самой русской культурной традиции, как это было показано выше. Для того, чтобы не оказываться затерянным среди противоречивого многообразия культурных институтов и требований, чтобы не подчиниться им, не интегрироваться в них, не окантоваться невольником навязанного ими выбора, следует прежде всего рассмотреть их как некое единство: только такое рассмотрение дает возможность рассматривающему занять «собственную позицию», или «метапозицию», внешнюю и авторитетную по отношению к наличной культуре. Именно такая стратегически сформированная метапозиция, «преодолевающая противоречия» культуры,

и объявляется затем в гипостазированной форме «подсознанием» этой культуры, ее иным, т. е. единство культуры возникает в тот же момент, как и ее иное. Или иначе: «идеальное» и «сознательное» в тот же момент, что и «материальное» и «бессознательное».

Для Фрейда снятие, или игнорирование, противоположности есть признак работы подсознания, динамики желания, логики сна. Гегелевская система, созданная в свое время, чтобы примирить еще довольно отсталую Германию с европейской цивилизацией и имеющая своим движущим принципом снятие и преодоление противоречий, может быть в этой перспективе понята как совпадение реальности и сна, логики мысли и логики желания, логоса и эроса, сознания и подсознания: Германия уже была преобразована после наполеоновских войн, и цель состояла в том, чтобы примириться с этой новой реальностью, пожелать ее, «увидеть ее во сне».

Но венский еврей Фрейд имел для себя шанс только в реально, «материально» преобразованном человечестве. Материализация его собственного желания могла состояться только, если за идеальностью, за желанием как таковыми мог быть обнаружен материальный субстрат. Во фрейдовском психоанализе процесс преодоления противоположностей получил этот материальный субстрат в «либидиновой экономике», позволяющей либидо инвестироваться в кажущиеся на сознательном уровне логически несоместимыми знаки. Эти «вытесненные» обычным логическим ходом мысли синтезы, эти как бы отбросы логически организованной цивилизации должны были быть в ходе психоанализа посредством «механизма перенесения» транспортированы в сознание врача или, точнее, перенесены на саму личность врача, на его собственную материальность, чтобы найти в ней разрешение, — процедура, обосновывающая власть врача над пациентом. Пространство вытесненного, выброшенного (не случайно Дюшан под влиянием Фрейда помещает в пространство искусства «мусор цивилизации», начиная характерным образом с писсуара) выступает здесь аналогом пространства сакральной жертвы: разум врача получает контроль над миром только тогда, когда тело его становится телом чужого желания, пространством развертывания либидинозных превращений, «другого подсознания».

Эта же тема материализации гегелевской диалектики с самого начала зачаровывает русскую мысль. Уже первые славянофилы описывают русское православие в терминах снятия противоположности между западными католицизмом и протестантизмом, т. е. как место материализации скрытого, парадоксального единства (западной) Церкви, преодолевающего «умственное», логическое разделение, или как своего рода ночь христианства, долженствующую перейти

в вечный день. О синтезе идеального, нашедшего свое предельное выражение у Гегеля, и материального как о специфически русской идее говорит Соловьев, и вслед за ним эту идею в той или иной форме варьирует весь русский религиозный Ренессанс, причем у многих (например, у Мережковского или Розанова) он соединяется с ожиданием некоего космического брака между духом (мужской, европейский принцип) и плотью (женский, русский принцип). Россия оказывается при этом местом реализации западного эроса, его фантазмов о последнем синтезе, вытесненных логической западной цивилизацией. Рассмотрение «русской мысли» в перспективе предложенного выше «стратегического анализа» позволяет, таким образом, конкретизировать характер подсознания, которое репрезентирует Россия, — это чужое, западное подсознание, которое она должна изжить в своем теле, чтобы достичь победы над Западом на уровне сознания, или на уровне реальности.

Эта же стратегия обнаруживается и в русском марксизме. Для Ленина, как и для славянофилов, символом «буржуазности» и «идеализма» является «односторонность», т. е. последовательное логическое мышление, базирующееся на принципе тождества и законе исключенного третьего. Ему, а также гегелевской идеалистической диалектике Ленин противопоставляет «диалектику самой жизни». Здесь витализм, несомненно имеющий свой источник в ницшеанстве (влияние ницшеанства видно также в позитивной инструментализации Лениным понятия «идеология», которое в классическом марксизме выступает чисто негативно), занимает место марксистского труда: русская революция превращается в факт космической жизни, ликвидирующий царство буржуазной, т. е. позитивной, логики.

Эта тенденция к превращению марксизма в язык желания кодифицируется в сталинском диалектическом материализме с его «законом единства и борьбы противоположностей». Россия, будучи страной диалектического материализма, окончательно предает здесь как мир онирических видений, как зазеркалье, как пространство мистико-эротического экстаза, затянувшегося сексуального акта («единства и борьбы» мужского и женского принципов). Не зря в это же время о России начинает говориться как о месте «уплощения извечной мечты всего человечества о прекрасной жизни». Сложившаяся в тридцатые годы эстетика социалистического реализма с ее ведущим принципом: «социалистическое по содержанию и реалистическое (или национальное) по форме», в котором отнесение «реализма» или «национальности» на уровень «формы» уже достаточно свидетельствует о том, что здесь идет речь не о реализме, как о мимезисе, а о «реализациях» коллективных сно-

видений, обнаруживает очевидную близость к возникшим почти параллельно сюрреализму, магическому реализму и т. д., отсылающим к теории Фрейда. В то же время теория карнавала Бахтина, амбивалентно комментирующая сталинскую культуру, обнаруживает близость к теории «трансгрессии» Батайя, комментирующей примерно в то же время столь же амбивалентно художественную практику сюрреализма.

В свете вышеприведенных параллелей фрейдистский психоанализ и недопустившая его прямого усвоения в России «русская идея» еще раз оказываются порождениями весьма сходных стратегий, различие между которыми состоит (разумеется, с достаточной долей упрощения) лишь в том, что «детерриториализованный» еврей Фрейд имел только свое собственное тело в распоряжении для детерриторизации чужих вытеснений, в то время как русская философия располагала для этой цели достаточно обширной коллективной территорией. В любом случае, стратегии эти были ориентированы на «чужое», а не детерминированы каким-то сугубо своим — психическим или национальным — изначально, нерелевантно заданным содержанием: психическое и национальное выступают здесь только на уровне формы.

Обе стратегии типичны для поведения парвеню, стремящегося к успеху, т. е. для развертывания того, что «становится» или «стало», среди того, что «было» или «есть». Но ситуация парвеню, разумеется, достаточно универсальна. Человек есть уже парвеню в природе, преодолевающий оппозицию между «божественным и звериным», да и сама природа есть парвеню в порядке бытия и хочет преодолеть оппозицию между «бытием и ничто». Проблема русской философии заключалась в том, что она была философией парвеню в поисках права первородства, и решение этой проблемы состоит в том, что таким образом является любая философия.

¹ Ср. А. Пятигорский, «О психоанализе из современной России». Россия/Russia. 1977, Torino, с. 29—50.

² П. Я. Чаадаев, «Статьи и письма», Москва, 1987, с. 36.

³ О специфике «женского вопроса» см., в частности, I. Paperno, «Chernyshevsky and the Age of Realism», Stanford, 1988.

⁴ В. И. Ленин. «Партийная организация и партийная литература». «В. И. Ленин об искусстве и литературе», Москва, 1957, с. 43.

⁵ К. Malevich. «A Letter from Malevich to Benois», K. Malevich. «Essays on Art», Copenhagen, 1968, vol. I, 42—48, 48.

⁶ И. В. Киреевский. «О новых началах философии». Иван Киреевский. Полн. собр. соч. в 2 томах, с. 263, Москва, 1911, (repr.) Gregg Int. Publishers. 1970.

⁷ Вл. Соловьев. «Кризис западной философии». В. С. Соловьев. Собр. соч. в 12 т. (repr.) Bruxelles, 1966, т. I, с. 99—100.

⁸ К. С. Малевич. «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи». К. Malevitch, «Die gegenstandlose Welt», Mainz, 1980 с. 12.

⁹ Вл. Соловьев. «Идея сверхчеловека». В. С. Соловьев. Собр. соч., т. 9, с. 265—278.

¹⁰ М. М. Бахтин — В. Н. Волошинов. «Фрейдизм», Chalidze Publications, N. Y. 1983, с. 158—162.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА



Ритуал встречи Сталина с детьми. Аэродром, 1936.

СКОЛЬКО БЫЛО ПАВЛИКОВ!

Подготовка к показательному процессу по делу об убийстве Павлика Морозова была в разгаре, когда в селе Колесниково Курганской области застрелили из ружья другого мальчика — Колю Мяготина. Событие это, судя по официальным материалам, выглядело так. Вдова красноармейца отдала сына в детский дом, так как ей нечем было его кормить. Там мальчик стал пионером, а позже вернулся к матери. Богатых крестьян уже выслали, но в селе остались пьяницы и хулиганы. Настоящий ленинец, мальчик прислушивался к разговорам взрослых. «Обо всем, что Коля видел и узнавал, он сообщал в сельский совет». Но Колин друг Петя Вахрушев донес на Колю классовым врагам (то есть сообщил родным, кто доносчик). «Пионерская правда» в деталях описывала убийство Коли.

«Иван выстрелил ему в ноги.

— Живой? — подошел он поближе. Побледневший Коля плакал. Из него лилась кровь...

— Живой...

— Добить его надо, а то нам плохо будет.

«Выстрел в упор...»

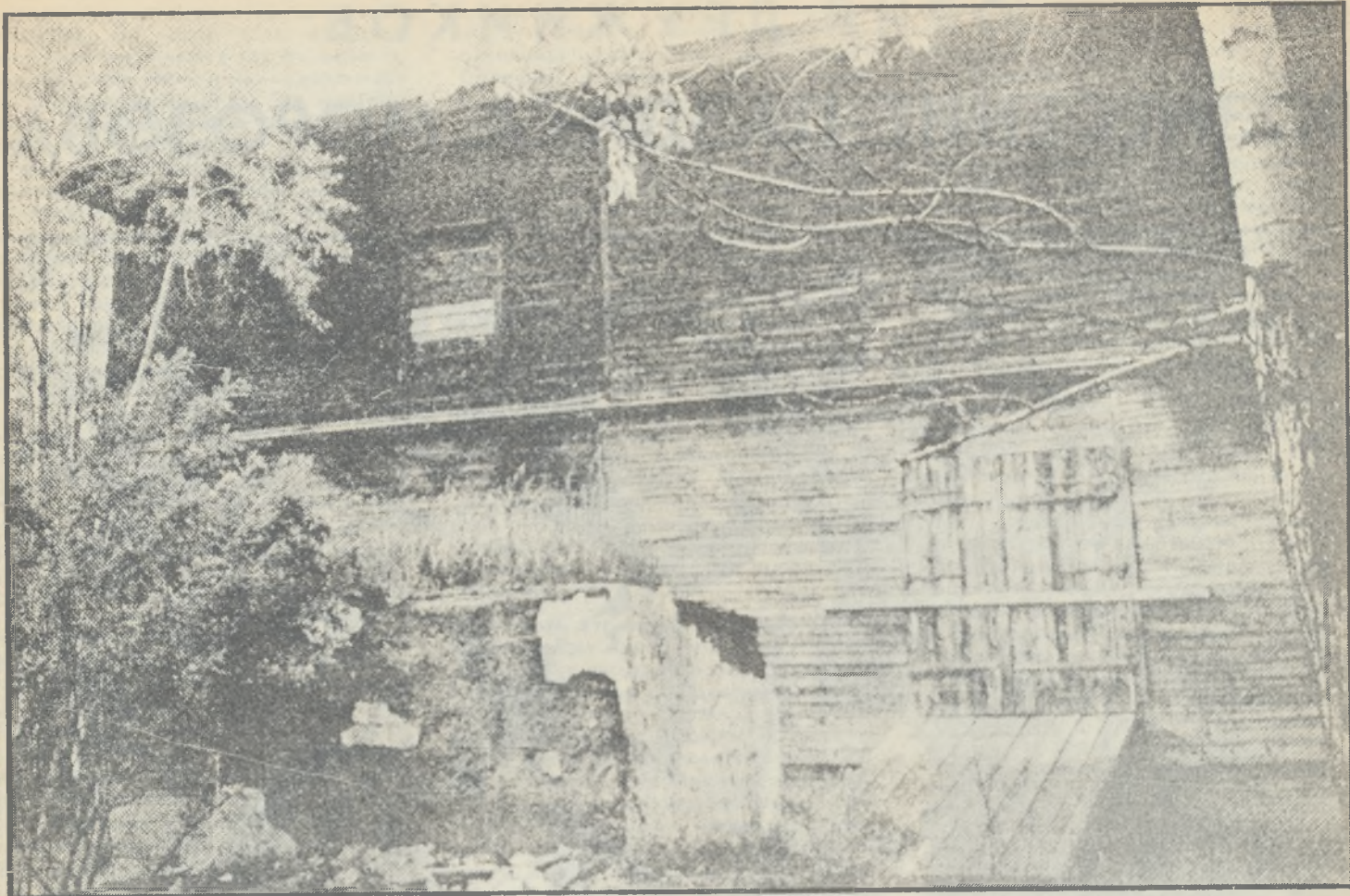
Один пионер донес представителям власти, другой — друг Мяготина, Петя, донес тем, на кого донесли. На допросах, как сообщали газеты, Петя исправился и донес на своих старших братьев представителям власти. Судя по печати, надвигалась новая волна насилия: «Рука пролетарской диктатуры раздавит гадов». По правилам того времени следом за большим показательным процессом организовывалась серия мелких — на местах. Расстрела уже казалось мало, и дети требовали «самого жестокого наказания убийцам», но не могли придумать, какого. Для участия в новом процессе выехали знакомые нам журналисты Соломеин и Смирнов. На суде выступил не один, а уже три общественных обвинителя из разных газет «от имени миллионов пионеров и школьников». Во время суда присутствовавшим раздавался специально напечатанный листок «Будь начеку!», призывающий к новым доносам. Мяготина убили один, расстреляно по делу пятеро, кроме того, большая группа «воров, пьяниц и вредителей» приговорена к десяти годам лагерей. Очередной район очищен от противников советской власти. Убитый пионер-герой Мяготин записан в Книгу почета пионерской организации ЦК ВЛКСМ вслед за Павли-

ком Морозовым, под номером 002.

Мы не знаем, как и кем был в действительности убит Коля Мяготин, ибо уже имели возможность проверить достоверность сообщений печати. Но несомненно, что борьба за доносчиков уже давно сталкивалась с борьбой против них.

Возникает вопрос: для чего лучшим пионером страны был объявлен тот, кто и пионером-то не был, и чьи доносы близко не соприкасались с политическим фанатизмом? Может быть, дело в том, что в ряду героев-доносчиков Морозов — первый по времени? Это не так. Нами собраны сведения по меньшей мере о восьми случаях убийства детей за доносы до Павлика Морозова. Первый был тоже Павлик по фамилии Тесля, украинец из старинного села Сорочинцы, донесший на собственного отца пятью годами раньше Морозова. Семь доносов связаны с коллективизацией в деревне, один — с врагами народа в городе (Витя Гурин, Донецк). Наиболее известный из восьми — доносчик Гриша Акоюн, зарезанный на два года раньше Морозова в Азербайджане. Официальное издание «Детское коммунистическое движение» (1932) еще до смерти Павла Морозова сообщало, что имеют место случаи убийства за доносы «десятков наших лучших

(Продолжение. Начало в № 4)



боевых товарищей», которые яростно борются против левых загибов и правых примиренцев.

Но слава всех этих доносчиков меркнет на фоне Павлика Морозова. Почему же ему с такой помпой отдаются почести, которых он не заслужил? Официальный герой-доносчик 001 должен был появиться тогда, когда он стал необходим для политической кампании, то есть перед большой чисткой и массовыми репрессиями, и он, как мы знаем, появился, когда надо.

Кампании, начатой в глухой деревне Герасимовке, придавался все более массовый характер.

Октябрь, 1932, «Пионерская правда»: «На смену ему... идут и еще придут новые сотни и тысячи ребят».

Ноябрь, 1932, «Тавдинский рабочий»: «Павел Морозов не один, таких, как он, легионы¹. Они разоблачают зажимщиков хлеба, расхитителей общественной собственности, они, если это нужно, приводят на скамью подсудимых своих отцов...»

Август, 1933, «Пионерская правда»: «Миллионы зорких пионерских глаз будут следить...»

Сентябрь, 1933, «Пионерская прав-

да»: «Миллионы Павликов учатся в школах...»

Широкий охват пионеров (предисловие к книге «В кулацком гнезде», 1933): Морозов — «типичный выразитель действий и настроений нашей шестимиллионной армии пионеров».

Всеобщий охват взрослых (декабрь, 1937), передовая «Правды»: «Каждый честный гражданин нашей страны считает своим долгом активно помогать органам НКВД в их работе».

Член Политбюро Анастас Микоян в докладе на собрании, посвященном 20-летию НКВД, воскликнул со сцены Большого театра: «У нас каждый трудящийся — наркомвнуделец!» Микоян вспомнил об идеале советского человека — «верном сторожевом псе партии» Дзержинском и призвал все население страны учиться сталинскому стилю работы у наркома НКВД Ежова. В сущности, в сталинском стиле ничего нового не было, ибо Ленин заявлял то же самое: «Хороший коммунист в то же время и хороший чекист»². Микоян лишь популяризировал суть ленинско-сталинского стиля работы: «Вместо дискуссий — методы выкорчевывания и разгрома». Празднование очередного юбилея тайной полиции совпало с окончанием пятилетки по уничтожению классов в стра-

не. Пятилетка была перевыполнена, враждебные классы уничтожены, но Сталин заявил, что классовая борьба еще больше обостряется.

Двойники Морозова выросли. Часть из них теперь работала в НКВД, реализуя на практике политвоспитание, полученное в школе и пионерской организации. Другие служили добровольцами.

Многочисленные Павлики не просто проявляли личный энтузиазм, как общали газеты. Их деятельность становилась обязательной частью строительства нового общества. От доверчивых и неопытных подростков руководители страны требовали новых подвигов и новых жертв. Член Политбюро Лазарь Каганович, обращаясь к пионерам, говорил: «Каждый из вас должен себя спросить: готов ли я на жертвы, на страдания и лишения за дело пролетарской борьбы, за дело коммунизма?» По мысли Кагановича, жертвой достоин стать не каждый, и в пионеры следует принимать тех, кто сперва докажет, что достоин. Донос был вернейшим путем этого доказательства.

Но произошло непредсказуемое: убийство вызвало не столько ненависть к врагам партии, сколько к самой партии. Волна насилия, идущая сверху, столкнулась с ответной волной. Не видя защиты от произвола государства, народ творил самосуд.

¹ Не ясно, сколько, ибо легион — военное подразделение в Древнем Риме — от 4,5 до 7 тысяч, а в древнерусском счете — 100 тысяч.

² В. И. Ленин. ПСС. Изд. 5-е, т. 40, с. 279.

Чем сильнее нагнеталось давление сверху, тем ожесточеннее и отчаяннее был протест. Жертвами этой борьбы оказались ни в чем не виноватые дети, которых система растлевала в угоду интересам лиц, стоявших у власти.

В 1935 году в речи на совещании писателей, композиторов и кинорежиссеров Максим Горький заявил: «Пионеров перебито уже много». Журналист Соломеин в воспоминаниях писал: «Только мне привелось участвовать в расследовании примерно десяти убийств пионеров кулачьем. — Только мне. А всего по Уралу, по стране — сколько их было, подобных жертв! Не счесть».

Пресса представляла дело таким образом, будто детей убивали за то, что они пионеры. Убивая Павлика Морозова, писала газета «Тавдинский рабочий», кулаки знали, что они «наносят глубокую рану детскому коммунистическому движению». Смерть двух девочек-доносчиц Нasti Разинкиной и Поли Скалкиной «Пионерская правда» комментировала так: «Выстрел в Настю и Полю есть выстрел в пионерскую организацию». Но кто в действительности и почему убивал пионеров, отнюдь не всегда было ясно. Газета «Правда» откровенно призывала к самосуду: «Дело каждого честного колхозника помочь партии и советской власти казнить мерзавца, который посмеет тронуть ребенка, исполняющего долг перед своим колхозом, а следовательно, и перед всей страной». Колхозники, однако, понимали честность посвоему, и властям приходилось пожирать плоды развязанного ими террора. В то время как власти окружали убитых доносчиков ореолом славы, народ мстил властям, множа число жертв и, таким образом, поставляя новых героев, используемых пропагандой.

«Пионерская правда» опубликовала беседу с государственным обвинителем А. Виноградовым «Зорче охранять молодых бойцов!». В интервью обвинитель признал, что проблема стала серьезной, и обещал провести необходимые мероприятия по охране юных осведомителей. Лицемерие этих заявлений особенно видно теперь, когда мы знаем, с каким рвением использовала пропагандистская машина убийства детей. Расправы, однако, судя по прессе, росли. В 1932 году (после убийства Павлика и Феди Морозовых) было три убийства доносивших детей. В 1933 году мы насчитали шесть убитых доносчиков, в 1934-м — шесть, в 1935-м — девять. Власти действовали грубо и разжигали низменные инстинкты толпы. Но кто убивал и почему — для разжигания борьбы или из мести, — в большинстве случаев остается неизвестным. Всего за годы сталинского террора мы насчитали 56 убийств детей-доносчиков. Всем им присвоены по-

четные звания пионеров-героев. О них пишут книги, их именами названы улицы и дворцы пионеров.

Судьбы юных соглядатаев, оставшихся в живых, представляют собой отдельную тему для размышлений. В поселок Анадырь Чукотского округа к чукчам приехали проводить раскулачивание и создавать колхоз двое большевиков-уполномоченных. Их убили. Через день появился милиционер. Убийц выдал мальчик Ятыргин, сын Вуны, прибавив, что они убежали на Аляску. Часть чукчей-оленьеводов решила уходить с оленями туда же. Услышав об этом, Ятыргин украл у соседа собак и сани, чтобы донести об этом тоже. Соседи подкараулили мальчика, ударили его топором и бросили в яму, но он выполз оттуда и остался жив. «Пионерская летопись» рассказывает: когда Ятыргина принимали в пионеры, уполномоченные переименовали его имя на Павлик Морозов. Новое имя записали потом в его паспорт³.

Реклама доносительства приносила свои плоды, и ей занимались самые высокопоставленные лица советского государства. Незадолго до своей таинственной гибели в 1937 году член Политбюро Серго Орджоникидзе в речи на всесоюзном совещании стхановцев восхвалял семью патриотов Артемовых. Отец, Алексей Артемов, его жена Ксения, два сына и три дочери сообщили органам о 172 подозрительных людях, по их мнению, вражеских лазутчиках. Все подозреваемые были арестованы. Членов семьи чемпионов-доносчиков наградили орденами и ценными подарками.

Последствия кампании массового доносительства выглядели печально. За парадной афишей вовлечения миллионов павликов в дело строительства коммунизма страна стала захлестываться детской преступностью. После ликвидации миллионов родителей и от голода на улице очутились миллионы бездомных детей — бракованная часть третьего поколения строителей социализма. Закон 1935 года о малолетках постановил в целях ликвидации данного явления «привлекать к уголовному наказанию» детей с 12 лет. Быстро росла система детских принудительных учреждений: детдомов, спецдетдомов, изоляторов, трудовых колоний и приемников-распределителей, внедрялся детский принудительный труд. Теперь система как бы уравнивалась: взрослые по доносам детей шли в исправительные лагеря, а дети по доносам взрослых направлялись в исправительные колонии. Размах и пафос кампании не оставляют сомнения в том, что санкционировалась она с самого верха.

³ В 70-х годах Ятыргин под именем Павла Морозова был школьным учителем, членом партии.

ДАнный МАльчик И ТОВАРИЩ СТАЛИН

Мы располагаем письменным указанием Сталина о Павлике Морозове. Сталин часто высказывал мнение устно, и этого было достаточно. О нашем герое такого распоряжения не могло не быть. Есть косвенные доказательства, что вопросы, связанные с героем-доносчиком, великий вождь решал сам и возвращался к ним неоднократно. «Сталин, конечно, принимал участие в судьбе Морозова, — утверждает Матрена Королькова, соученица Павла из Герасимовки. — В январе 1934 года меня с группой пионеров привезли в Москву. Мне дали понять, что сейчас отвезут на прием к Сталину, чтобы я рассказала о Павлике. Мне объяснили, что надо говорить и как. Я ждала долго. Потом визит отменили, сказали, что Сталин занят. Меня отправили в пионерский лагерь Артек. Туда мне прислали сто рублей, а потом в деревню еще два раза по двадцать пять рублей».

Наиболее вероятно, внимание Сталина на убитого мальчика обратил кто-то из трех аппаратчиков, занимавшихся делом Морозова по долгу службы: Постышев, Косарев или Поскребышев. Члену Политбюро Постышеву в 1932 году было 45 лет. Он носил усы, шинель, сапоги и фуражку, полностью подражая облику Сталина. Секретарь Центрального Комитета партии, он одно время заведовал двумя наиболее важными его отделами: организационным, а также агитации и пропаганды. Постышев занимался политической кампанией по ликвидации кулачества и контролировал комсомол. Газеты называли его любимым другом пионеров, боевым соратником товарища Сталина. Пионерские отряды носили имя Постышева. О том, какую роль он играл, можно судить по вышедшему в 1932 году в Москве сборнику «О пионерах и пионердвижении», в котором говорилось, что в нем публикуются речи видных деятелей партии от Ленина до Постышева, а Сталин не упоминался вообще. Постышев успешно осуществлял часть плана по созданию массовой сети всеобщего доносительства через отделы писем и редакции газет в ОГПУ. В речи на 16-м съезде партии Постышев сочинил небылицу о том, что кулаки создали свою агентурную сеть внутри большевистской партии.

По прямому указанию Постышева Центральный Комитет комсомола и Наркомат просвещения развернули пропаганду подвига мальчика-доносчика. Осуществлял ее Александр Косарев, двадцатилетний генеральный секретарь комсомола, любимец Сталина и правая рука Постышева. Косарев подписывал многие документы о распространении опыта Морозова среди детей. Косарев принял делегацию из Герасимовки, рапортовавшую ему об успешных донесениях пионе-

ров на Урале. Непосредственно руководили кампанией служащие Косарева: секретарь ЦК комсомола Сергей Салтанов, глава юных пионеров Валентин Золотухин и его заместитель Василий Архипов. Впоследствии Постышева арестовали по доносу его сотрудницы Николаенко, которую объявили героиней. Пионерские отряды имени Постышева переименовали в отряды имени Павлика Морозова. Косарева и Салтанова также арестовали по доносам и расстреляли в лагере. Уничтожен был и нарком просвещения Бубнов. Согласно одной из легенд, Косарев исчез после того, как написал письмо Сталину против доносов и массовых арестов. Однако и Косарев, и Бубнов отправили на смерть многих. Удревший от ареста на фронт Архипов был застрелен в спину.

Прошлое Сталина накладывало отпечаток на его педагогические взгляды и моральные позиции. Мнение о том, что Сталин до революции сотрудничал с охранкой, существует и не опровергнуто, хотя и не доказано. Став генеральным секретарем партии, он занимался подслушиванием коллег лично посредством специальной аппаратуры.

Систему всеобщего доносительства в советской республике начал создавать еще Ленин. Анжелика Балабанова в книге «Ленин» рассказывает, как он говорил: «Провокаторы? Если бы я мог, я бы поместил провокаторов в армии у Корнилова». Соратники Ленина вспоминают, что он поручал им писать анонимные пасквили, чтобы скомпрометировать своих политических оппонентов. Подготовкой показательных процессов Ленин руководил сам, после это делал Сталин. Сталин и Троцкий соревновались в доносах друг на друга Ленину, пока Сталин не одержал победы. Троцкий, кстати, был убит по личному указанию Сталина столь же зверским методом, как дети Морозовы.

Ленин назначил Сталина командовать РКИ — Рабоче-крестьянской инспекцией, в которой собирались компрометирующие сведения о всех служащих госаппарата. В сущности, сталинская РКИ собирала доносы и занималась чисткой.

Сталин еще раньше начал использовать аппарат ОГПУ, чтобы избавиться от неугодных ему лиц. Секретари Сталина получали от ОГПУ основанные на доносах (подлинных и сочиненных) компрометирующие сведения. А Сталин через личных секретарей передавал в комиссию устное указание, какое вынести решение. Тогда ОГПУ еще не могло арестовывать членов партии — это произошло через десять лет — ко времени убийства Морозова. В это время создается и действует Особый сектор при личном секретариате Сталина. Особому сектору подчиняются спецсекторы в райкомах и обкомах, имеющие своих лиц на всех предприятиях и в уч-

реждениях. Внутри ОГПУ такими подразделениями были ОО — особые отделы и связанные с ними СПО — секретно-политические отделы. Спецсекторы подчинялись напрямую Сталину и больше никому.

Особый сектор возглавлял сорокалетний Александр Поскребышев. Он, по выражению Никиты Хрущева, был преданнейшим псом Сталина. Крупные черты жесткого лица, бритая голова и сталинский полувоенный стиль одежды — таков его портрет. Старые партийные работники, знавшие его в 30-е годы, рассказывали нам, что Поскребышев — выходец из Екатеринбурга, то есть Свердловска, став тенью Сталина, сохранил прочные связи на Урале. Все акции ОГПУ на Урале проходили под наблюдением Поскребышева. Документы оттуда доставлялись, минуя другие виды связи, прямо ему. Таким образом, система всеобщего доносительства создавала такой аппарат слежки, который нес информацию непосредственно к самому источнику власти, делая Сталина всевидящим. Эта канцелярия, управлявшаяся лично Сталиным через Поскребышева, сделалась в 30-е годы силой, командующей страной⁴. Структура СПО нуждалась в миллионах морозовых. Ее каналами шли документы следствия по делу об убийстве Морозова. Было бы ошибкой усматривать в доносительстве одну злую волю Сталина и его аппарата. Кризис, развязанный в сельском хозяйстве, и голод привели к недовольству в партии, и ее среднее звено искало выход. Налицо был страх партии перед возмущением народа и страх вождя перед партией. К трудностям внутренним в 1932 году добавилась неуверенность внешней политики. Шаткость полбжения толкала Сталина к репрессиям. Известно, что в этот критический год Сталин отсутствовал на заседаниях Политбюро с весны до осени. Вождь сам заявил: «Еще никогда мы не оказывались так загнаны в угол, как теперь»⁵. Сталину нужна была информация, чтобы удержаться. Доносительство стало для него практическим инструментом ослабления позиций оппонентов и средством укрепления личной власти.

Создавался усовершенствованный механизм политического надзора и контроля над умами людей, целью

которого было помогать крепко держать вожжи. Для подчиненных донос стал средством проверки преданности, наиболее верным путем сделать карьеру, заслужить благосклонность вождя.

Донос подавался как новое качество новых людей: их открытость, честность, как критика, способствующая улучшению жизни, как необходимая средство для достижения великой цели, в которую многие из доносчиков всех возрастов верили искренне. Часть народа шла навстречу предложению, находила сладость в доносе, участвовала в кампании не просто послушно, но и с энтузиазмом. Черное вылезало из души и окрашивалось в красный цвет.

Часто думают, что героев 30-х годов открывали и популяризировали по сталинской любимой поговорке «Взят из грязи да посажен в князья» или, как пелось в популярном советском шлягере 30-х годов: «У нас героем становится любой». На деле герои отыскивались нелегко. Отобранный в лидеры человек должен был подходить по многим показателям. На своем этаже такой человек становился единственным кумиром. Культуры нужны были культники. Это не новая мысль: помнится, в 60-х годах в Москве ходила по рукам работа о том, как в разных областях утверждались микросталины: в науке, культуре, юстиции, даже в области питания. Такими культниками были Горький в литературе, клоун Карандаш в цирке, антигенетик Лысенко в науке, нарком Микоян в колбасном деле (мясокомбинат имени Микояна) и т. д. Не было своего культа лишь у детей. Морозов стал таким культником. Подсчет показывает, что в 1932—34 гг. имя Морозова встречается в «Пионерской правде» чаще, чем имя Сталина.

Однако, возвеличивая Морозова, авторы, разумеется, восхваляли Сталина, соединяя оба имени кратчайшей прямой. В поэме «Павлик Морозов» Степана Щипачева отобранный у родных и соседей хлеб герой везет с красным знаменем в руках и с мыслью о вожде: «Сталин за это, чего же бояться мне! А тронуть меня попробуют, им не сойдет это так...» Предвывая отца, Павлик, по замыслу поэта, понимает, что отец у него теперь будет другой:

Отец — дорогое слово!

В нем нежность, в нем и суровость.

Сталину, совершая

Всю жизнь своей поворот,

Любовь свою выражает

Этим словом народ.

Если есть новый отец, Сталин, зачем, с точки зрения Щипачева, Павлу старый отец, который его наказывал? И мальчик выбирает из двух отцов того, который ведет в светлое будущее, а не в хлев — вывозить навоз. Старого же отца следует «пустить в расход», как тогда говорили, не сомневаясь, ведь Сталин освобождает

⁴ Жена и сын Постышева были расстреляны, жена Косарева провела треть жизни в лагерях. Когда арестовали жену Поскребышева, он сказал: «НКВД всегда прав». Позже, по распоряжению Сталина, Постышеву привезли новую жену — красивую казачку. Свадьбу сыграли на сталинской даче. А первую жену замуровали в лагере. Сам Поскребышев благополучно пережил не только Сталина, но и постсталинскую чистку. Он умер в 1965 году и с почетом похоронен на элитарном Новодевичьем кладбище. Говорят, лежа в Кремлевской больнице, он писал мемуары. Уцелел и сподвижник Косарева Золотухин. Он стал генералом, заведующим отделом ЦК и при Хрущеве занимался реабилитацией вышедших из лагерей.

⁵ Цитируется по журналу «Страна и мир», 1985, № 8.

человека от предрассудков и всю моральную ответственность берет на себя. И Павел —

Стоит, как под знаменем, прямо,
Не скрыв от суда ничего.

С простенка, из тоненькой рамы
Сталин глядит на него.

Морозов и уполномоченный ОГПУ мыслят в унисон. У уполномоченного своя программа вырасти: ему надо сообщить о доносе Павла в Москву.

Тоненький медный провод
Бежит до Москвы, до Кремля.

И низовой работник мечтает, что в случае удачного доноса его жизнь переменится:

И, может, из мест лесистых
Дойдет до трибуны в Кремле,
Товарища Сталина, может,
Увидит...

Отца заменили на вождя, а вождь уже подготовил замену и для матери: «... Будьте достойными сыновьями и дочерьми нашей матери — Всесоюзной коммунистической партии», — писал Сталин («Правда», 9 июля 1932 г.). Он призывал подымать ярость миллионов масс. В стране по его инициативе активизируется деятельность государственного учреждения для сбора доносов: Бюро жалоб — своеобразного общесоюзного уха. Фактически, сведениями, поступившими в Бюро жалоб, пользовались прокуратура и ОГПУ.

В биографической хронике собрания сочинений Сталина говорится, что законы в это время гениальный вождь сочинял сам. По ним местные власти начали осуществлять план уничтожения кулачества. В разгаре этой кампании был поднят на щит Павлик Морозов.

Многие биографы Сталина отмечали его способность приписывать врагам собственные криминальные намерения и рассчитывать политические интриги на ряд ходов вперед. В НКВД работал особый центр, фабриковавший дела типа дела Павлика Морозова. Начиная коллективизацию, вождь уже замыслил последующие массовые акции, для которых система массового доносительства была необходима. Там, в кабинетах, загодя моделировали детали показательных процессов над оппонентами, которые якобы хотели убить Сталина. Герой-доносчик в этой программе выполнял поистине историческую миссию.

Через год поле Первого съезда советских писателей Горький писал в отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК партии Алексею Стецкому и Александру Щербакову (последнего Сталин назначил секретарем в Союз писателей): «Обращаю внимание Ваше на тот факт, что до сей поры еще ничего не сделано по вопросу о памятнике Морозову». Одновременно Горький ратовал за памятник Пушкину в Ленинграде, но с меньшей настойчивостью. В речи на совещании писателей, композиторов, художников и кинорежиссеров Горький опять

напоминал, что в книгах недостаточно пионеров, которые разоблачают врагов партии. Присутствовавший в президиуме Щербаков вставлял реплики, свидетельствуя, что тема одобрена наверху. Щербаков был «умерщвлен путем вредительского лечения», как сообщила «Правда» 3 января 1953 года. Эта формула применялась, когда жертва была отравлена по личному указанию Сталина.

В январе 1934 года председатель Центрального бюро юных пионеров Золотухин заявил в «Пионерской правде», что вопрос о постройке памятника в Москве разрешен. Он не сказал, кем разрешен, но пояснил, что деньги надо не просить у партии и правительства, а собирать. Не знала, кем разрешен вопрос, и Крупская, относясь к памятнику без энтузиазма. В письме редактору газеты «Колхозные ребята» Крупская писала: «Уважаемый товарищ, возвращаю альбом деткоровских проектов памятника Павлику Морозову. Вся кампания, которая проводилась в связи с убийством Павлика, имела очень большое значение, обостряя вопрос о необходимости повышать политическую активность ребят. Но по части памятников я не спец, больше придаю значения живым памятникам». Письмо это опубликовано в собрании сочинений Крупской (т. 11, с. 513). Редактор газеты «Колхозные ребята» Татьяна Наумова была одним из энергичных исполнителей кампании, связанной с детскими доносами, в том числе с помпезной выставкой проектов памятника герою 001. Наумова арестована по доносу, погибла в лагерях.

В 1936 году вышла книга поэта Валентина Боровина, в предисловии к которой сообщалось, что имя Морозова «носят тысячи отрядов, звеньев, клубов и домов колхозных ребят недаром, и недаром ему при входе на Красную площадь в Москве воздвигается памятник». МонуMENT еще не соорудался, но бумажки по канцеляриям ползли.

Тот факт, что памятник мальчику было разрешено поставить у Кремлевской стены, устраняет сомнения в решении этого вопроса лично Сталиным, ибо даже крупнейших деятелей партии и государства замуровывали в стене без памятников. Таким образом, завершилось бы идеальное архитектурное триединство центра страны: мавзолей основателю, монуMENT доносчику и лобное место, где по доносам в средние века рубили головы диссидентам. Книга о Морозове корреспондента «Пионерской правды» Смирнова, вышедшая в 1938 году, заканчивается так: «Помнит о нем и тот, кто неустанно заботится о счастье народов, — любимый вождь и отец всех ребят товарищ Сталин. (Итак, он один заменил всех отцов страны. — Ю. Д.). Год тому назад товарищ Сталин предложил Московскому совету поставить у Красной

площади памятник Павлику Морозову. Лучшие скульпторы, художники, а также сотни пионеров думали над проектом памятника. Теперь проект утвержден. Скоро у Александровского сада, при входе на Красную площадь, будет поставлен памятник. В дни революционных праздников мимо памятника будут проходить тысячи радостных и веселых детей — пионеров и школьников. Они отдадут салют Павлику Морозову и будут петь песни о счастливой жизни, которую создали нам родная большевистская партия и наш дорогой вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин».

Такие слова не могли быть опубликованы без согласований. Цензура зорко следила за каждым упоминанием в печати имени Сталина. Однако неясности остаются. Памятник поставили спустя еще десять лет, и не у Красной площади. До самого последнего момента было неясно, где он окажется. Говорят, у Сталина просто боялись спросить. Комсомольский работник и журналист Гусев в книге «Юные пионеры» писал, что открытие памятника состоится недалеко от городского Дома пионеров, у Кировских, бывших Мясницких, ворот. А появился монумент в неухоженном сквере одного из самых грязных и бедных районов Москвы, не отстроенном до конца и теперь, на Красной Пресне, появился там, где Ново-ваганьковский переулок, неподалеку от старого кладбища, еще в 30-е годы переименовали в переулок Павлика Морозова.

Почему бронзовый герой был установлен с таким опозданием? В связи с чем Сталин передумал и отправил Морозова с Красной площади на задворки?

Установка монумента затянулась сначала как будто бы по финансовым, затем по художественным причинам и, наконец, в связи с войной. Но более существенно то, что изменилась позиция самого Сталина, иначе он мог бы попросить автора проекта скульптора Иосифа Рабиновича поработать сверхурочно. Не исключено, что дряхлеющий вождь уже готовил место рядом с Лениным для себя. Но имелась и более веская причина.

Ритуал открытия памятника усугубляет подозрения, что отношение Сталина к Морозову изменилось. На открытии присутствовали лица второстепенные. Рассказывая об открытии монумента в декабре 1948 года, газета «Вечерняя Москва» даже не упомянула великого вождя всех народов и заявила: «Мечта Горького осуществлена». Собравшиеся на митинг послали в конце приветствия Сталину. Но то была рутинная. По Москве поползла шутка, что в ней теперь два монумента первым людям: первопечатнику и первоносчику. Первопечатником в России считается Иван Федоров (16-й век).

Группа писателей в связи с откры-

тием памятника выразила верно-подданнические чувства, призвав в «Пионерской правде» всех детей страны продолжать делать то, что делал Морозов. Коллективное обращение подписали самые известные писатели, драматурги, поэты того времени: Александр Фадеев, Леонид Леонов, Самуил Маршак, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Всеволод Вишневский, Сергей Михалков, Лев Кассиль, Анатолий Софронов, Михаил Пришвин, Агния Барто, Сергей Григорьев, Борис Емельянов, Лазарь Лагин. Авторы обращения недвусмысленно говорили, что те дети, которые будут следовать путем Павлика Морозова, станут героями, учеными и маршалами.

За письмом, как ни странно, не последовали обычные отклики прессы. Многие газеты вообще не упомянули о монументе. Такое в Советском Союзе случайно не случается. Мы видели памятник вскоре после его открытия. На цоколе был текст: «Павлику Морозову от московских писателей». Потом эту дарственную соскоблили. Старая волна доносительства 30-х годов прошла, а новая волна 40-х — начала 50-х, связанная с антисемитизмом и делом врачей, вынесла новую, образованную героиню-осведомительницу — врача Лидию Тимашук, доносчицу на своих коллег, имя которой, как писала в «Правде» журналистка Ольга Четчикина, «стало символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины». За две недели до смерти Сталина газета называла Тимашук «дочкой нашей Родины», и ее наградили орденом Ленина за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения так называемых «врачей-убийц».

Оглядывая волны доносительства с исторического расстояния, заметим, что первая волна, разгоревшись в

1932-м году, в 1938-м пошла на убыль. Вторая волна (1948—1953) оказалась не столь массовой, и наиболее известные доносчики этих лет были в основном люди взрослые.

Ситуация изменилась, но про нашего героя Сталин не забыл. Через четыре года после установки памятника Павлику Морозову в Москве вождь разрешил построить монумент в Зауралье на родине доносчика. В найденном нами в архиве Соломеина письме заведующий Тавдинским районным отделом культуры Г. Фомин сообщал: «Состоялось постановление Совета Министров СССР, подписанное лично тов. Сталиным И. В., о предоставлении льгот колхозу. Выделено на 1953 год 220 тысяч рублей на строительство сельского клуба им. П. Морозова и 80 тысяч рублей на строительство памятника П. Морозову...» Как видим, собрать деньги на добровольных началах так и не удалось.

Монументы Морозову возводились, но доносительство в стране временно перестало восхваляться. Что вынудило Сталина прекратить кампанию? Доносительство стало неуправляемым. Эпидемия эта просто мешала нормальной деятельности охранительных организаций. Возможно, были приняты в расчет и сообщения ставших взрослыми павликов — партийных чиновников третьего поколения. Они уже занимали посты и не хотели, чтобы на них доносило четвертое. Кампания массовых доносов в какой-то степени затронула семью самого Сталина. Вторая жена его Надежда Аллилуева покончила с собой как раз в разгар кампании, призывающей расстрелять родственников Морозова. Существует предположение, что самоубийство произошло от ужаса женщины перед кровавым террором, развязанным ее мужем. Когда Сталину донесли на сына Якова, что он что-то не то сказал, Сталин, чтобы наказать Якова, поса-

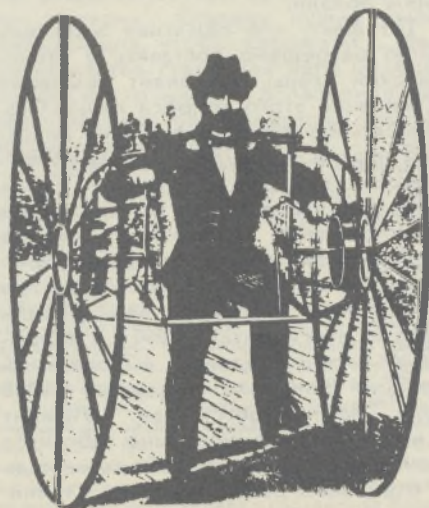
дил его жену. Другой сын, генерал Василий Сталин, донес на своего начальника маршала авиации Новикова, за что тот был предан суду, а оправдан лишь после смерти Сталина. Но, конечно, главная причина отказа от детей-доносчиков — сокращение репрессий, начиная с 1938 года. Приближающаяся война требовала выдвинуть на первое место тип героя, готового пролить кровь в боях за Сталина на фронте, а не в драке с родственниками. Старый герой отошел на второй план.

Как же все-таки сам Сталин относился к Павлику Морозову?

Выдвижение и уничтожение людей было для генсека будничной и обязательной работой. Обязательной потому, что без нее он не удержался бы долго у власти и сам. Досье на тысячи Морозовых готовили аппараты всех учреждений и, прежде всего, ЦК партии, ОГПУ, комсомол и их местные органы. Вождю подавались предложения, наиболее выгодные в данный момент не только для него самого, но и для руководителей данного ведомства. Видимо, так был создан и утвержден Морозов — доносчик 001.

Судя по отношению Сталина к другим людям, безраздельно ему преданным, которых он отправил на смерть, этот мизантроп презирал всех без исключения, а приближал и выдвигал тех, в ком в данный период нуждался. Так вождю понадобился и Морозов. Известно, что Сталин легко переводил людей из категории живых в мертвецов. В данном случае был совершен перевод полезного вождю человека из мертвых в живые. Приходится признать, что Сталину и его мафии удалось создать армию подражателей Морозова. Миф стал реальностью советской жизни.

(Окончание следует)



ПАЦИФИСТСКИЕ СЕКТЫ, БОЛЬШЕВИКИ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ*

В конце 1918 г. «Объединенный совет религиозных общин и групп», находившийся в Москве, передал Совнаркому (Совету народных комиссаров) ходатайство, которое содержало требование освобождения от воинской службы по религиозным основаниям. Назначенная Совнаркомом комиссия отклонила эту просьбу 5 декабря 1918 года. Но Совнарком отдал распоряжение заново изучить этот вопрос. В качестве экспертов к делу были привлечены В. Д. Бонч-Бруевич, возглавлявший секретариат Совнаркома, и представители военного ведомства. Эта комиссия высказалась за введение гражданской службы, заменяющей военную. 4 января 1919 года Совнарком издал декрет о праве на отказ от воинской службы. Декрет имел следующий текст:

ДЕКРЕТ

Совета Народных Комиссаров от 4 января 1919 г. об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям.

1. Лицу, не могущему по своим религиозным убеждениям принимать участие в военной службе, предоставить право по решению Народного Суда заменить такую на определенный срок призыва его сверстников санитарной службой, преимущественно в заразных госпиталях, или иной соответствующей общепользующей работой, по выбору самого призываемого.

2. Народный Суд, при постановлении своего решения о замене воинской повинности другой гражданской обязанностью, запрашивает экспертизу «Московского Объединенного Совета Религиозных Общин и Групп» по каждому отдельному делу. Экспертиза должна простираться как на то, что определенное религиозное убеждение исключает участие в военной службе, так и то, что данное лицо действует искренно и добросовестно.

3. В виде изъятия «Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп» по согласованному своему решению, вправе возбуждать особые ходатайства перед Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о полном освобождении от военной службы, без всякой замены ее другой гражданской обязанностью, если может быть специально доказана недопустимость такой замены с точки зрения не только религиозного убеждения вообще, но и сектантской литературы, а равно и личной жизни соответствующего лица.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возбуждение и ведение дела об освобождении определенного лица от военной службы предоставляется как самому призываемому, так и «Объеди-

ненному Совету Религиозных Общин и Групп», причем Совету предоставляется право ходатайствовать о рассмотрении дела в Московском Народном Суде. Председатель Совета Народн. Комис. В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар Юстиции Курский Управляющий делами Совета Нар. Ком. В. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева

4 января 1919 г. Москва, Кремль.

Наряду с Великобританией (1916) и Данией (1917), Советская Россия принадлежала к самым первым государствам, признавшим в XX в. право на отказ от воинской службы. Право на гражданскую службу, заменяющую военную, было важным успехом пацифистских течений. С этой точки зрения история декрета от 4 января 1919 г. проливает свет на отношение большевиков к пацифизму и к демократическим правам пацифистски настроенных граждан.

ПАЦИФИСТСКИЕ СЕКТЫ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Декрет от 4 января 1919 г. ограничивал законные основания для отказа от воинской службы религиозными убеждениями. Это ограничение коренится в мотивах отказа от воинской службы в дореволюционной России, где пацифизм носил по преимуществу религиозный характер. Статистика осужденных отказников от воинской службы за период от начала первой мировой войны до апреля 1917 г. дает основательное представление об их церковной принадлежности: из 837 осужденных 256 были евангелисты, 114 — баптисты и штундисты, 70 — адвентисты седьмого дня, 28 — молокане, 27 — малеванцы, 18 — толстовцы, 16 — духоворы и 59 — другие религиозные общины. Из остальных 249 осужденных никто не указал свою религиозную принадлежность. Единственный известный мне отказник от военной службы, ссылавшийся до 1917 г. исключительно на политические мотивы, был большевик — журналист Н. Ф. Назимович-Чужак, сторонник большевистского крыла РСДРП, был арестован в 1904 г. из-за отказа от воинской службы.

Чтобы избежать недоразумений, следует вкратце разъяснить дальнейшее употребление понятия «секта». В современном языке оно имеет негативное значение в смысле отрыва от реальности, авторитаризма и т. д., и относится к религиозным или поли-

тическим группам. Религиозные общины, о которых здесь пойдет речь, считают себя в связи с этим не сектами, а церквями. В этой статье, как и в политической и научной литературе начала XX в., понятие «секта» будет употребляться без всяких негативных нюансов. Пацифисты, например, В. де Лигт и В. Чертков, или большевики, например Бонч-Бруевич, симпатизировавшие идеалам пацифистских религиозных общин, употребляли понятие «секта» в позитивном смысле. И даже ведущие толстовцы называли собственное движение «сектой».

Макс Вебер в своей социологии религии предпринял понятийное разграничение между «церковью» и «сектой». Церковь в соответствии с этим означает такую организационную форму, которая охватывает всех верующих, праведных и неправедных, иногда ради умножения славы Божьей (кальвинизм), иногда ради спасения душ человеческих (католицизм, лютеранство). «Секта», напротив, связана с волонтаристским религиозным представлением: в сектах должны объединяться исключительно те, кто уверовал лично и кто убежден в своем новом рождении в вере. Эту религиозную концепцию во многих протестантских течениях символизирует крещение взрослых.

Веберовское понятие секты, подчеркивающее волонтаристское начало, пригодно для изучения религиозно-пацифистских традиций в России. У пацифистских сект, например у меннонитов или духоворов, оппозиционное отношение к государству не являлось составной частью верования. Русские меннониты, к примеру, рассматривали государство как необходимого носителя общественного порядка. Тем не менее, их воззрения исключали участие членов их религиозной общины в государственных функциях и исполнении некоторых гражданских обязанностей, например, военной службы. Это предписание базировалось на строгом разделении «церкви» и «мира». Пацифистские секты считали себя союзом верующих, ненасильственная позиция которых должна способствовать обретению ими Божественной благодати. Но, поскольку царское правительство не придерживалось принципа отделения Церкви от государства, пацифистские секты рассматривались как политическая оппозиция и преследовались.

* Статья впервые опубликована в сб. издательства «Зуркамп» (1990), посвященном проблемам антивоенного движения.

Секты, к которым принадлежали в большинстве осужденные во время первой мировой войны отказники от военной службы, нельзя назвать пацифистскими. Ни баптистам, ни евангельским христианам религиозные правила не предписывают отказ от воинской службы. У меня нет надежной информации относительно индивидуальных мотивов и требований вероучения в этих религиозных общностях. Относительно таких пацифистских сект, как молокане или новоизраильтяне, я смог найти лишь немногочисленные данные, находящиеся в прямой связи с историей возникновения декрета. По этой причине я ограничу свое изложение тремя сектами со специфически пацифистскими традициями: меннонитами, духоборами и адвентистами, а также группой пацифистски настроенных последователей Толстого.

МЕННОНИТЫ

Религиозная община меннонитов возникла в Нидерландах под руководством Мено Симонса (1496—1561). Их отказ от насилия был реакцией на попытку радикальных анабаптистов насильственно основать в Мюнстере в 1534—1535 годах «царство перекрещенцев». Меннониты основывали свои пацифистские воззрения на новозаветных предписаниях и на Нагорной проповеди. Так как государственная служба вынуждает к применению власти, то она не совместима с христианским вероучением. Согласно анабаптистской традиции, меннониты отвергали власть государства в вопросах совести, в том числе и в вопросе о применении насилия. Высшим законом для участников этой секты был христианский Завет, а высшим судьей — личная совесть.

Обособление от мира с его интересами, религиозный образ жизни и предпочтение активного действия пассивному, чувственному наслаждению в ценностной иерархии сект формировали характерные добродетели, которые, согласно Максус Веберу, переходили в сферу профессиональной деятельности. Образ жизни протестантской секты, такой, как меннониты, соответствовал, согласно Веберу, условиям капиталистического хозяйствования, ибо строгая регламентация жизни создала предпосылки для новой трудовой этики, деловых качеств и экономической рациональности. Меннонитский принцип строгого разделения церкви и государства проложил путь для переноса основных черт религиозного образа жизни в русло неполитизированной профессиональной деятельности. Согласно Максус Веберу, меннониты сыграли ту же роль в формировании «капиталистического духа» в Нидерландах и в Германии, что и квакеры в Великобритании и Соединенных Штатах.

В Нидерландах, начиная с 16-го века, меннониты были освобождены от воинской службы. Ту же самую привилегию им пообещал и Фридрих Великий, в надежде, что переселение меннонитов будет способствовать развитию промышленности в Германии. Французские якобинцы Эро, Сен-Жюст и Робеспьер даже объявили о своих симпатиях к этой религиозной общине.

Екатерина II гарантировала прусским меннонитам освобождение от воинской службы «на вечные времена», чтобы таким образом добиться прироста населения и заселить пустующие земли. Осенью 1788 года меннониты основали свои первые поселения на Днестре, в южной части России. В середине XIX в. возникли колонии и в других частях страны, например, на Волге. Меннонитская община охватывала в 1917 г. от 100.000 до 120.000 душ. Они проживали примерно в 365 деревнях, имея собственные земельные участки. Около 75.000 меннонитов жили в европейской части России, остальные — в азиатской.

Экономические и культурные успехи меннонитов были впечатляющими. К началу XX в. они, например, сами производили сельскохозяйственные машины. Уровень образования среди меннонитов был выше среднего: для всех детей в возрасте от 6 до 14 лет было введено обязательное посещение школы. Для дальнейшего образования община располагала собственной школьной системой, куда входили женская гимназия, торговое училище и два педагогических учебных заведения. Имелись собственная система здравоохранения и благотворительности. Богатство русской меннонитской общины не уступало богатству их собратьев по вере в Западной Европе и Соединенных Штатах. Но экономический успех был связан с глубокими социальными противоречиями. Так, например, в 1865 году около двух третей членов секты, проживавших на реке Молочная, не имели собственного земельного участка. Безземельные работали в качестве торговцев, арендаторов или батраков для своих же единоверцев. Заселение новых областей лишь отчасти могло ослабить классовые противоречия.

В меннонитских поселках действовало независимое самоуправление для регулирования всех местных проблем. По поручению центрального правительства эта деятельность лишь контролировалась определенными чиновниками. Это обособление от внешнего мира, усиленное сохранением немецкого языка, вело к тому, что внутри общины складывалось единство политической, религиозной и экономической жизни. Так как религиозные лидеры брали на себя еще и политические задачи, из них сформировалась своего рода теократия. Такая политическая структура приобрела существенное значение для

развития пацифистских позиций меннонитов. В противоположность меннонитской общности в Западной Европе, которая постепенно, в течение всего XIX в. отходила от отказа исполнять некоторые виды государственных обязанностей, в том числе и воинской, в России процесс политической интеграции не имел места. Все попытки государственной власти привлечь меннонитов к прохождению воинской службы остались безрезультатными. Когда в 1870 году меннонитская община узнала о намеченном введении всеобщей воинской повинности, которое устранило гарантированные Екатериной II особые права, и когда все попытки добиться отказа от данного законопроекта не увенчались успехом, примерно 15.000 меннонитов, начиная с 1874 года, эмигрировали в Канаду и в США. Многие надеялись найти там лучшие политические и экономические условия. Царские советники боялись экономических последствий этой массовой эмиграции и настаивали на компромиссном решении. Поэтому в конце 70-х годов для меннонитов была введена замена воинской службы. Они отбывали ее в качестве лесников, занимаясь закладкой лесонасаждений, причем меннонитская община брала на себя все расходы по содержанию, а государство оплачивало жалованье служащим. Начиная с 1881 года сначала 400, а накануне первой мировой войны уже 1.000 военнообязанных меннонитов ежегодно пользовались этим своим правом.

Во время первой мировой войны около 12.000 военнообязанных меннонитов отбывали санитарную службу либо работали в лесничествах. Тем не менее правительство и широкие круги общественности рассматривали этих говорящих по-немецки переселенцев, перебравшихся в Россию из Пруссии более ста лет назад, как возможных союзников врага. Меннониты даже опасались, что их поселки будут экспропрированы царским правительством, а сами они будут насильственно депортированы в незаселенные области. По этой причине меннонитская община приветствовала переход власти к правительству Керенского и попыталась избрать своих представителей в Учредительное собрание. В некоторых поселках в это время были созданы местные Советы.

После Октябрьской революции 1917 года Советское правительство сначала лишь на короткий срок установило свой контроль в районе украинских поселений. В апреле 1918 г. Красная Армия вынуждена была отступить перед немецкими частями. Беззащитные меннонитские поселки стали жертвами гражданской войны. После того как их деревни были разграблены отрядами анархиста Махно, часть членов общины отказалась от своих пацифистских принципов и стала проходить военную подготовку

в немецких или белогвардейских войсках. Эта так называемая «самозащита» не подвергалась решительному осуждению со стороны меннонитских вождей.

Некоторые причины свидетельствуют о том, что Совнарком, признавая исторические права меннонитов в качестве общих прав всех религиозных пацифистов, имел в виду различные цели. Этим надеялись добиться доверия меннонитов к новому правительству, роспуска «групп самозащиты» и прекращения их связей с контрреволюционерами, а также нейтральной позиции меннонитов в гражданской войне. Далее, Совнарком смог бы использовать большой экономический потенциал меннонитской общины для восстановления страны после разрухи: Ленин, один из авторов декрета, восхищался экономическими успехами меннонитов. В конечном счете, это могло дать толчок к возвращению тех членов секты, которые эмигрировали за границу. К этому времени сотни меннонитов были арестованы в США из-за отказа от воинской службы, так что общине отчасти пришлось вновь эмигрировать в другие страны.

АДВЕНТИСТЫ

Секта адвентистов седьмого дня существовала в России с 80-х годов XIX века. К ее религиозным предписаниям относятся запрет на работу по субботам и отказ от воинской службы. Особенно широкое распространение ее пацифистское учение приобрело во время русско-японской войны 1905 года. Во время первой мировой войны царское правительство с неприязнью следило за адвентистами немецкого происхождения. Оно закрыло несколько принадлежавших им издательств и изгнало в Сибирь ряд проповедников. Из 500 военнообязанных адвентистов большинство служило во время войны в невооруженных частях, около 70 человек получили сроки тюремного заключения от 2 до 16 лет. Другие военнообязанные объявили о своей лояльности по отношению к русскому царю и несли воинскую службу. К этому времени внутри адвентистской секты велись споры по вопросу о том, должен ли отказ от воинской службы и впредь считаться религиозным долгом.

ТОЛСТОВЦЫ

Толстой связывал свое религиозно-пацифистское учение с требованием изменения общественных отношений. Согласно его воззрениям, Нагорная проповедь содержит не только завет любви к ближнему, но и требование держаться подальше от цивилизации, в которой принцип частной собственности постоянно порождает коррупцию и насилие. В соответствии с этой социальной критикой, «богатые» по-

гублены цивилизацией морально и политически, в то время как «бедные» могут спасти свою душу. Толстой отвергал любое участие в политике и в государственной деятельности, в том числе и гражданскую службу: максима тотального личного отказа, став всеобщим законом, должна была сделать излишней государственную власть. Сам Толстой не считал себя ни реформатором, ни революционером. Он отвергал революционную классовую борьбу, так как она разжигала ненависть. Но и реформа существующих институтов не могла бы способствовать истинной человеческой любви и свободному сотрудничеству индивидов.

Вокруг секретаря Толстого Чертова возник круг убежденных последователей. Они основали несколько общин, в которых претворяли в практику учение Толстого. Во время первой мировой войны группа приверженцев Толстого, собиравшая подписи против войны, была предана военному суду по обвинению в государственной измене. Но так как они выступали не только против участия в войне России, но и против государств противника, суд оправдал их, веря в их христианско-пацифистские мотивы. Но другие толстовцы, наоборот, были осуждены из-за отказа от воинской службы во время войны.

Влияние этого учения на беднейших крестьян, с которыми Толстой связывал все свои надежды, было незначительным. Только крестьянская секта духоборов следовала похожим идеалам.

ДУХОБОРЫ

Секта духоборов появилась в южной России во второй половине XVIII-го века. Ее членами были свободные крестьяне. В противовес протестантским течениям, опиравшимся в первую очередь на письменное предание Библии, религиозные представления духоборов основывались на вере в возможность непосредственного созерцания Бога. В духе люди едины с Богом, и «внутренний свет» Божьего духа являлся для верующих высшим авторитетом. Письменное предание Библии служило для них только побудительным импульсом. Внешним формам — таким, как религиозная символика, литургия или крещение, они придавали мало значения. Посредническую функцию священнослужителей, церковной иерархии они радикально отвергали. Считая себя «избранным родом», они попытались уклониться от подчинения государственной власти. Духовные вожди секты выступили с претензией на то же достоинство, которое было у Христа. Поэтому структура власти у духоборов, как и у меннонитов, может быть названа теократической.

Представление о наличии Бога в каждом человеке создавало основу

как для принципа ненасилия, так и для идеи «коммунизма любви». Так как Бог создал всех людей равными, то и земные блага должны распределяться поровну. Духоборы ввели свое хозяйство согласно этому религиозному принципу. Сочетание коллективной организации сельского хозяйства со строгостью нравов вело в течение многих десятилетий к экономическому процветанию общины. Но в 1816 г. от этой христианско-коммунистической позиции пришлось полностью отказаться.

Способ производства и пацифистские убеждения духоборов в обществе, где лишь в 1861 году было отменено крепостное право, постоянно вели к конфликтам с государственной властью. Вся история секты отмечена арестами, ссылками, принудительными переселениями. Между 1841 и 1845 годами более 4.000 духоборов были насильственно переселены на Кавказ. Их села, в которых отчасти существовала коллективная собственность, были экономически эффективными и привлекали новых поселенцев. До 1890 года число членов общины возросло почти в пять раз.

В обязанность духоборов входило обеспечение царской армии транспортными средствами и продовольствием, но в течение первых десятилетий их пацифизм смог прочно утвердиться. В некоторых случаях они привлекали для собственной защиты вооруженных наемников. Только в конце 80-х годов многие духоборы отказались от своих пацифистских убеждений и позволили привлечь себя к воинской службе. Но меньшинство продолжало сопротивляться. От ранних коммунистических принципов к этому времени мало что осталось. В последнее десятилетие XIX-го века вождь секты П. В. Веригин стал инициатором движения за обновление. Он выдвинул программу моральных реформ, в которой содержались требования уничтожения частной собственности на землю, аскетизма и антимилицаризма. Несмотря на сопротивление реформе части общины, высказывавшейся за налаживание хороших отношений с царской властью, программа была осуществлена: в 1895 г. духоборы уничтожили свое оружие, отказались от воинской службы, а те, кто уже отслужил, отослали назад свои военные билеты. Последовала новая волна государственных репрессий. Чтобы уберечься от дальнейших преследований, большинство духоборов решило эмигрировать. За них вступился Толстой, выхлопотал финансовую помощь для эмигрантов и сам пожертвовал суммы из своих литературных гонораров. После того как одной из групп не удалось обосноваться на Кипре, около 7.400 человек из 20.000 духоборов выехали в 1899 г. в Канаду.

Во время первой мировой войны некоторые из оставшихся в России

духоборов отказались от воинской службы.

АВТОРЫ ДЕКРЕТА ОТ 4 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА

Ленин неоднократно критиковал учение Толстого. В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции», написанной в 1908 г., Ленин описывает Толстого как беспощадного критика капиталистической эксплуатации, и в то же время как юридического, который проповедует ненасилие и моральное обновление. Учение Толстого отражало не пролетарскую, а крестьянскую классовую точку зрения, ее, согласно Ленину, следовало рассматривать как зеркало всех противоречий, присущих этому классу. С одной стороны, Толстой протестует против того, что освобождение от крепостной зависимости привело к новой зависимости от помещиков и государства. С другой стороны, он создает чуждую реальности утопию мелких крестьянских общин, в которых якобы должен восторжествовать принцип равенства. Такое непонимание политической перспективы всегда вело к поражению крестьянских восстаний в России. В более позднем сочинении «Лев Толстой и его эпоха» Ленин подчеркивает тезис Маркса о том, что чем более развито общество, тем больше утрачивают свою критическую ценность социалистические утопии.

По мнению Ленина, учение Толстого имело ценность примерно до 1885 г., но в период после революционных событий 1905 г. оно, наоборот, стало вредным для формирования сознания угнетенных классов, так как не учитывало уже достигнутого к этому времени в России общественного прогресса.

Применяя таким образом теорию отражения к учению Толстого о ненасилии, Ленин смог оправдать в 1919 г. политику терпимости по отношению к пацифистским движениям: их убеждения отражали остальные общественные отношения и не могли быть преодолены методами государственного принуждения. Посредством культурной реорганизации общества «реакционные» учения, в том числе и о неприменении насилия, с необходимостью должны исчезнуть. В январе 1919 г. Ленин ходатайствовал перед Совнаркомом о введении декрета, дающего право отказываться от воинской службы, ссылаясь в том числе и на аргумент о том, что декрет этот будет действовать недолго, ибо под властью большевиков пацифизм сам по себе исчезнет.

После того, как разразилась первая мировая война, Ленин усилил свою критику пацифизма. При капитализме войны неизбежны, утверждал он. Пацифистская пропаганда мира, не видящая реальные общественные причины военной опасности, лишь

мистифицирует отношения капиталистического господства. В статье 1916 г. Ленин выступает с позиций, полностью противоположных тем, на которых стояли отказники от воинской повинности: «Теперь милитаризация проникает собой всю общественную жизнь... Что же будут делать против этого пролетарские женщины? Только проклинать всякую войну и все военное, только требовать разоружения? Никогда женщины угнетенного класса, который действительно революционен, не помирятся с такой позорной ролью. Они будут говорить своим сыновьям:

«Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против своих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добрых пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее» (В. И. Ленин. ПСС, т. 30, с. 155—156). В 1915 г. на Циммервальдской конференции противников войны встретились пацифисты, отвергавшие любую войну, и революционеры, которые хотели превратить войну в революцию. Ленин здесь жестко придерживался своей прежней критики пацифизма. Он хоть и подписал выработанный конференцией манифест, но с оговорками насчет того, что в нем отсутствуют революционные требования.

Острые споры Ленина с инакомыслящими левыми часто скрывали частичное совпадение политических целей как таковых. Он достаточно ясно выразил это в работе «Государство и революция» в связи с анархистской утопией отмирания государства. Мы можем исходить из того, что и в отношении пацифизма Ленин имел примерно такую же позицию: согласно сообщению пацифиста П. Бирюкова, Ленин принял после революции делегацию религиозных пацифистов со словами: Советское правительство является в основе своей антимилитаристским и поэтому не может преследовать отказников от воинской службы. В ходе дискуссий в Совнарком в январе 1919 г. о праве на отказ от воинской службы Ленин выразил свои симпатии к религиозным пацифистам, подвергавшимся преследованиям при царизме: тех, кто так ужасно пострадал перед революцией, большевистская власть должна оставить в покое.

ВЫСТУПЛЕНИЯ БОНЧ-БРУЕВИЧА В ПОЛЬЗУ ДУХОБОРОВ

После Октябрьской революции Владимир Д. Бонч-Бруевич возглавил

секретариат Совнаркома. На этом посту он подписал декрет от 4 января 1919 г. Но, по всей видимости, его вклад не ограничивался только подписью, ибо он в течение многих лет был связан с толстовцами и с духоборами.

Толстой и В. Чертков организовали эмиграцию духоборов в Канаду. В 1898 г. они избрали В. Д. Бонч-Бруевича руководителем одной из партий переселенцев. Последний уже давно интересовался русским сектантством и особенно хорошо был знаком с образом жизни и воззрениями духоборов. В Канаде он, наряду с другими, был ответственен за организацию коллективной жизни духоборов. Он выступал за организационную модель сельскохозяйственного производства, в основе которой должна была быть коллективная собственность, но большинство духоборов вскоре отказались от нее.

В 1903 г. В. Д. Бонч-Бруевич был делегатом второго съезда РСДРП, проходившего в Брюсселе и в Лондоне. Партийное руководство, в котором большинство получили сторонники Ленина, возложило на него необычную задачу. Разработанная Лениным резолюция указывала: «Принимая во внимание, что сектантское движение в России является во многих его проявлениях одним из демократических течений в России, II съезд обращает внимание всех членов партии на работу среди сектантства в целях привлечения его к социал-демократии. В виде опыта съезд разрешает тов. В. Бонч-Бруевичу издавать, под контролем редакции ЦО, популярную газетку «Среди сектантов» и поручает ЦК и редакции ЦО принять необходимые меры к осуществлению этого издания и его успеху и к определению всех условий его правильного функционирования» (В. И. Ленин. ПСС, т. 7, с. 310).

С этой целью в издававшемся в Женеве на русском языке журнале («Рассвет») Бонч-Бруевич опубликовал воззвание к преследовавшимся при царизме старообрядцам и сектантам: «Русские цари не считаются со старообрядцами и сектантами. Они их пытали, мучили, допрашивали и топили, приковывали к позорному столбу, бросали в тюрьмы и в крепости и безжалостно пили их кровь. И все это осталось без изменений поныне, в то время как нравы, законы и обычаи стали мягче... Но настанет время — и оно уже близко, — когда все получат полное право верить во что они хотят, иметь такую религию, которая им нравится. Наступит время, когда церковь полностью будет отделена от государства. Все получат право на свободу собраний, на свободу слова и проповеди везде, где хотят. Каждый получит право свободно печатать и распространять по всей земле все, что он хочет... Сектанты!

Время свободы не далеко. Оно приближается».

Кроме того, В. Д. Бонч-Бруевич критиковал политическую незрелость сект:

«Мы часто читаем у некоторых сектантов: «Все люди братья». Но мы видим, что происходит прямо противоположное. Мы видим, что все люди далеки от того, чтобы быть братьями. Сектанты должны в конце концов перестать верить в дружелюбие царских правительственных волков (...), и вместо этого полагаться на свои собственные силы и на союзников — угнетенных рабочих предприятий и городов».

После того, как часть духоборов в 1899 г. эмигрировала в Канаду, радикальная русская интеллигенция не проявляла особого интереса к оставшимся на Кавказе членам секты. **Иначе вел себя Бонч-Бруевич. Он объехал их поселения, и с восторгом писал об их сельскохозяйственных успехах (39).**

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПОЛИТИКА В ЯНВАРЕ 1919 ГОДА

Военный комиссар Троцкий при создании Красной Армии в 1918 г. вынужден был бороться с политическими трудностями, связанными с тем, что новая военная политика противоречила антимиитаризму, который проповедовался большевиками до революции. Как пишет И. Дойчер, милитаризация революции натолкнулась на сильное сопротивление: «Настроение масс складывалось из разных элементов: из пацифистского отвращения к войне; их убеждения, что революция может опираться на Красную Гвардию и на партизан, а регулярная армия ей не нужна; из веры, что неотъемлемым правом солдат является право самостоятельно выбирать своих командиров и солдатские комитеты. Когда Троцкий впервые заявил, что солдатские комитеты не могут посылать в бой полки, и что армия должна основываться на централизации и формальной дисциплине, это прозвучало как нарушение революционного табу».

Для построения Красной Армии Троцкий хотел привлечь в первую очередь добровольцев. Убежденные члены партии и Советов, которые не сомневались в необходимости железной дисциплины для защиты революции, образовали ядро новой армии. Во второй фазе, в конце лета 1918 г., Троцкий привлек промышленных рабочих. После того, как в Красной Армии сложилось прочное пролетарское ядро, стали призываться сначала бедные, а затем средние крестьяне. Богатые крестьяне и члены буржуазных классов несли невооруженную военную службу.

Декрет от 4 января 1919 г. соответствовал этой концепции. Пацифисты не привлекались из военных

соображений, так как солдаты, которые несли службу против собственной воли, могли ослабить боевой дух. В ходе упоминавшейся дискуссии в Совнарком, где Ленин выступал в поддержку декрета, он говорил о необходимости «исключить из Красной Армии чуждый элемент». Следует добавить, что к весне 1919 г. Красная Армия состояла из более чем полумиллиона солдат. Во время гражданской войны эта цифра выросла еще на несколько миллионов. При таких размерах военного значения нескольких тысяч пацифистов было несущественным. Внутриполитическое положение не позволяло Совнаркому проводить политику терпимости по отношению к оппозиции различных левых партий. Тяжелое экономическое положение, Брест-Литовский договор, признававший германскую оккупацию большей части Советской России, и соотношение сил в ходе гражданской войны, обострили напряженность в отношениях между большевиками, меньшевиками, анархистами и социалистами-революционерами. В этот год большевики развернули так называемый «красный террор» против всех «контрреволюционных» течений.

В конце 1918 г. политическое и военное положение изменилось в пользу революции. С поражением немецких и австро-венгерских войск стал недействительным невыгодный для Советской России Брест-Литовский договор. Хотя наступление белых частей сдерживалось лишь отчасти и несмотря на интервенцию союзников в гражданскую войну, окончание германского военного давления на Восточном фронте привело к ослаблению контрреволюционных сил Финляндии, Украины и прибалтийских стран. Установление Советов в Берлине и в Будапеште заставило большевиков поверить в повсеместную победу прогрессивных сил. Основание коммунистической партии в Германии и подготовка к созданию Третьего Интернационала давали основание питать надежду, что революция не ограничится одной только Советской Россией. К этому времени большевики осуществляли поворот своей политики в вопросе демократических прав.

С помощью политики терпимости вся оппозиция должна была получить импульс к лояльному отношению к правительству. Далее посредством этой же политики можно было завоевать на свою сторону «буржуазных» специалистов в области экономики, управления и военного руководства. Ленин создал идеологические основания для политики примирения. С этой целью он ввел существенное различие между «рабочим авангардом» и «мелкобуржуазными слоями». Авангард, организованный в большевистскую партию, должен был получить государственную власть и

жить в «добром соседстве» с мелкобуржуазными партиями и группами, прежде всего социалистами-революционерами и меньшевиками. В речи перед московским партактивом в ноябре 1918 г. Ленин в общих чертах описал эту политику: «Когда нам случается встретить заявление группы мелкобуржуазной демократии, что она хочет быть нейтральной по отношению к Советской власти, — мы должны сказать: «нейтральность» и добрососедские отношения — это старый хлам, который никуда не годится с точки зрения коммунизма. Это старый хлам и больше ничего, но мы должны обсудить этот хлам с точки зрения дела... Вот почему, если мы смотрим на дело с точки зрения представителей класса, осуществляющего диктатуру, мы говорим: мы на большее никогда не рассчитываем со стороны мелкобуржуазной демократии. С нас этого достаточно. Вы будете с нами в добрососедских отношениях, а у нас будет государственная власть» (В. И. Ленин. ПСС, т. 37, с. 219—220).

В конце 1918 г. большевики выразили свою волю к примирению. 30 ноября 1918 г. Центральный исполнительный комитет отменил исключение меньшевиков из Советов, а 25 февраля 1919 г. — социалистов-революционеров. Декретом от 4 января 1919 г. большевики изменили курс своей политики также и по отношению к пацифистским сектам.

Пацифистские секты не ставили под сомнение право большевиков на власть. Кроме признания права на отказ от воинской повинности по религиозным основаниям, пацифистские секты не претендовали ни на какие другие политические права. «Добрососедские отношения» были таким принципом, на основе которого большевики могли прийти к согласию с пацифистскими сектами.

Большевики занимали дифференцированную позицию по отношению к различным религиозным общинам. Между ними и Православной церковью, призывавшей к крестовому походу против большевиков, царяла открытая война. Различные секты, напротив, еще до революции рассматривались как возможные союзники.

Большевистская пропаганда против войны нашла позитивный отклик у различных религиозных меньшинств еще с 1914 года. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и первая советская конституция отменили в 1918 г. все привилегии Православной Церкви и объявили равенство всех религий основой политики по отношению к церкви. Это соответствовало требованиям многочисленных религиозных меньшинств. В некоторых случаях, например у менонитов и адвентистов, принцип разделения мирской и церковной сферы был ядром их пацифистской теологии.

Тем самым декрет от 4 января 1919 г. соответствовал как государственным представлениям большевиков, так и теологическим представлениям пацифистских сект.

После свержения царского режима Временное правительство во главе с Керенским отдало указ об освобождении всех заключенных отказников от воинской службы и подготовило проект закона по вопросу об отказе от воинской службы. Но еще до того, как этот закон был провозглашен, Советы свергли правительство Керенского. Проблема законодательных основ оставалась после Октябрьской революции сначала нерешенной. Судьбу отказников от воинской службы решали по преимуществу местные власти, которые либо расстреливали их, либо бросали в тюрьму, либо назначали им гражданскую службу, либо отпускали на свободу. Для Москвы, например, было достаточно свидетельства Черткова, подтверждавшего действительность религиозно-пацифистских убеждений новобранца для освобождения последнего от воинской службы. В течение первых десяти месяцев 1918 г. были освобождены благодаря вмешательству Черткова от 300 до 400 отказников от воинской службы.

В октябре 1918 г. военные власти издали первый приказ, согласно которому все отказники от воинской службы должны были исполнять взамен обязанности санитаров. Истинность заявлений должна была проверять специально созданная комиссия. Некоторые пацифистские группировки воспротивились прохождению гражданской службы в военных госпиталях и требовали замены за пределами любых военных институтов. Многие толстовцы отвергали замену в любой форме. Религиозные общины и группы, такие, как баптисты, меннониты, адвентисты, «Московское объединение «Лев Толстой» и «Московское объединение воздержавшихся», образовали «Объединенный совет религиозных общин и групп». Их целью было добиться и защитить право на отказ от воинской службы, в том числе и на тотальный отказ. На В. Черткова, председателя этого совета, была возложена обязанность защищать права отказников, не принадлежащих ни к какой религиозной общине. В ходатайстве, адресованном Советскому правительству, которое мы упоминали во введении к данной статье, Объединенный совет ставил вопрос о том, может ли он функционировать как комиссия, упоминавшаяся в распоряжении от октября 1918 г. Далее в ходатайстве перечислялись цели Объединенного совета и сообщалось о намерении создать подобные советы по всей Советской России.

В соответствии с декретом от 4 января 1919 г. оказывалась возможной замена воинской службы гражданской

вне военных учреждений, а также освобождение от службы в армии без всякой замены. Это соответствовало выставленным требованиям. Тем самым Советское правительство благоприятно решило политическую и юридическую проблему, которая уже много десятилетий требовала своего решения.

ОТКАЗ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ

С целью эффективного проведения в жизнь декрета от 4 января 1919 г. Совет народных комиссаров поручил Комиссариату юстиции «чрезвычайное внимание в служебных предписаниях и быстрое составление отчета. Е. Склянский, вице-председатель Реввоенсовета, издал 29 апреля 1919 г. приказ о том, что все призывники, подавшие письменное заявление по декрету от 4 января 1919 г., не могут быть помещены в предварительное заключение и не должны назначаться на службу во вспомогательные войска.

Однако дезорганизация советской правовой системы мешала проведению большевистской политики по отношению к отказникам от военной службы по религиозным причинам, и многочисленные нарушения декрета в первые годы Советской власти объясняются именно этим. Многочисленные военные власти на местах так ничего и не узнали о декрете, либо же просто его игнорировали. Имелись случаи бесчеловечного обращения, вплоть до пыток. Зачастую отказников предавали не гражданскому суду, а военному, и они получали даже смертные приговоры. Несмотря на протесты Объединенного совета религиозных общин и групп и даже на приказ об освобождении, изданный московскими властями, в 1919 г. в Смоленске были казнены семеро отказников от воинской службы. Но несмотря на эти перегибы Объединенному совету удалось в 1919 и 1920 годах освободить от воинской повинности около 8 000 новобранцев. На международном антимилитаристском конгрессе в Гааге в 1921 г. был прочитан доклад В. Черткова, сына председателя Объединенного совета религиозных общин и групп, о положении отказников от воинской службы в Советской России. В нем сообщалось о расстрелах, предпринятых по приказам местных властей. Большевистское руководство, к которому с успехом обращался в конфликтных случаях его отец, не несло, по его мнению, за это никакой ответственности.

Деятельность Объединенного совета строго контролировалась властями. Для наблюдения за заседаниями Совета был назначен наблюдатель, который должен был утверждать экспертизу, предназначенную для народных судов. 5 июля 1919 г. прави-

тельство опубликовало новые принципы правовой процедуры, которые предъявляли высокие требования к экспертизе Объединенного совета и обязывали народные суды тщательно проверять все дела. Заявители, чья искренность веры и убеждений не доказана, не должны были получать освобождение от воинской службы.

Начиная с 1920 г. между Советом народных комиссаров и Объединенным советом религиозных общин и групп возник все углубляющийся конфликт. Объединенному совету было предъявлено обвинение в том, что он якобы способствует отказничеству, и 11 ноября 1920 г. Ленин поручил Контрольной комиссии расследовать нарушения декрета от 4 января 1919 г. Объединенным советом. 14 декабря 1920 г. Совнарком издал поправку к декрету об освобождении от воинской службы, в которой содержалось требование представить свидетельские показания и другие доказательства принадлежности заявителя к пацифистской секте или относительно его личных воззрений по вопросу ненасилия. Возможность освобождения от воинской службы без всякой замены все еще сохранялась. Но Объединенный совет был исключен из процедуры и принял решение о поддержке тех отказников, которые не принадлежали ни к какой секте: Совет помогал им собирать свидетельства и другие материалы. Корреспондент «War Resisters' International» пытается следующим образом объяснить этот конфликт: «Через объединенный совет проходило все больше и больше дел. В 1921 г. поступило уже более 30 000 заявлений. Нарастание антимилитаристского движения вне пацифистских сект беспокоило правительство. Чтобы сдержать эту динамику, власти обвинили Объединенный совет в нарушении декрета. В 1922 г. Объединенный совет был распущен.

Распоряжение Народного комиссариата юстиции и Верховного суда от 5 ноября 1923 г. устанавливало, какие пацифистские секты и движения имеют право претендовать на освобождение своих членов от воинской службы. Применение декрета от 4 января 1919 года вследствие этого ограничивалось лишь теми группами, которые и при царском режиме имели право на отказ от воинской службы. Право на замену воинской службы гражданской тем самым утратило свой характер всеобщего права каждого гражданина-пацифиста.

(Окончание следует)

ЗИНОВИЙ ЗИНИК

РУССКАЯ СЛУЖБА

И вот сейчас от него требовали слов. Его собственных слов требовала от него Вал, с первого же налета в китайский ресторан, после которого у него вместо слов был сом во рту и сон в мозгах. «Кто вы, господин Набоков», говорила Вал, заталкивая его в черное такси после первого урока китайской мудрости. Видно, после этих самых сказ она путала фамилию Наратора, называя его каким-то Набоковым. «Я спрашиваю, кто вы, господин Набоков?» Наратор молчал. «Мы тут изворачиваемся, скрывая свои мелкие подлости и мизерные злодеяния, а Набоков — барин и дворянин, ему скрывать нечего. Если у него и есть тайна, то эта тайна для него — он сам: ему всякий раз интересно разгадывать, как он дошел до такой жизни. Так?» тараторила она по-английски, залезая в такси, и хотя и путала фамилию Наратора: ему все равно было приятно, что о нем говорят в третьем лице, как будто он не человек, а статья из большой антисоветской энциклопедии. «Счелся», бросила она через стекло водителю, или так послышался Наратору неведомый адрес Челси. «Набоков — барин», продолжала тараторить нетрезвая Вал. «Он слишком много себе запрещает. И мне тоже: я должна любить и презирать все, что любит и презирает он. С какой стати? Ясно ведь, что всю жизнь мучался тем, что слишком много себе запрещал. То есть все время сверлила такая мысль: как бы мог жить, дурак, а все вот долг и совесть, совесть и долг! То есть периодически он, конечно, гордился собственным подвигом, но к чему нам этот подвиг без развратной Лолиты?»

«Ее звали Зина. Проектировщица», уточнил Наратор автобиографическую подробность. Но Вал его замечания игнорировала, только переспросила: «Разве? Из какого романа?» Наратор хотел было уточнить, что не из романа, а из министерства у Красных ворот, но промолчал, потому что черное такси переносило его из жизни в явный роман: хотя он романов и не читал, но все вокруг перестало напоминать Красные ворота в Москве настолько, что уже никакого отношения к заранее известному (то есть, по разумению Наратора, к жизни) решительно не имело. Все доказывало необыкновенность путешествия в направлении непонятого места под названием Счелся: даже огромное такси, в котором ему никогда не приходилось сидеть, поскольку всегда есть «публичный транспорт», а даже если транспорт бастует, все равно каждый опаздывает. Сиденье, обитое мягкой черной кожей, упруго пружинило на каждом повороте, а за стеклом, отделяющим кабинку, задорно мелькала фуражка водителя, как будто вез он не по означенному адресу, а в светлое будущее. И действительно, свету на вечерних улицах все прибавлялось: после знакомого, то ли однооручного, то ли одноглазого Нельсона на колонне, касавшегося головой темных низких небес, освещение витрин и других общественных мест не только не снижалось, но наоборот, разгоралось с новой силой, как будто позволяя Наратору, вместе с Нельсоном на колонне, разглядывать толпы народа, становившегося все веселее и пестрее, с клоунскими штанами и цветными волосами с лакеями, которые носят виски дамам в соболях. Наратор, живший в районе, где после семи вечера тускло светились лишь окна прачечной с автоматами стиральных машин, сейчас как будто принимал парад, сидя генералом в просторном таксомоторе, и как на параде вырастали дивизионы домов, приветствуя его салютом из подсвеченных порталов с

двумя выстрелами белых колонн. И название города забило в ушах колоколом: «Лон-дон! Лон-дон!», с готической башни Большого Бена, Большого Бега.

«Конец Света», — объявила его проводница и переводчица его бессловесности на собственную болтовню, Вал, расплачиваясь с таксистом и отпирая ключом дверь. Слова про конец света означали не апокалипсис, а перевод названия той части Счелся, куда они прибыли: «Ворлдс Энд». Из ее объяснений выходило, что на Конце Света кончается свинговый Лондон и на другой стороне улицы живет уже не свет, а рабочий класс. Рабочий класс ненавидит свет и поэтому встает засветло и возвращается затемно. И, лишнее тому подтверждение, рабочий класс живет на теневой стороне улицы. «Пока я не переехала в Конец Света, я считала себя на стороне рабочего класса, а сейчас я живу на солнечной стороне. Рабочий класс отворачивается от меня, с тех пор как я повернулась лицом к диссидентам. Когда я им объясняю, что у советской власти свои мрачные стороны, рабочий класс мне указывает на теневую сторону нашей улицы и говорит: вынь, сука, сливу изо рта. Это им не нравится мое оксфордское произношение». Она слышала о гениальной стратегии Наратора: «Правильное произношение и орфография — залог демократии и мира во всем мире, и к Англии это тоже вполне приложимо, хотя и несколько дифференциально», — сказала Вал. «Мода на кокни давно превратилась в репрессию оксфордского акцента», сказала она. Революцию начинают люди с оксфордским произношением, которых потом шпыняют зонтиками дорвавшиеся до власти кокни. Она его, Наратора, хорошо понимает, и скоро они будут разговаривать на одном языке. Пока Скотланд Ярд подыскивает ему новую собесовскую флатеру, Вал предоставляет ему «политический асимиум», чтобы вместе разрабатывать апрельские тезисы вышесказанного. Она, как феминистка, должна проинформировать Наратора о заговоре некоторых экстремисток феминизма по разворачиванию фе-мини-революции, не от слова «мини», а от слова «фемина», цель которой — насильственное введение в английский язык женских окончаний по образцу русского языка. Ничем хорошим подобное обезьянничанье никогда не кончалось. Она прекрасно понимает, что значит быть диссидентом, поскольку сама была отлучена от католической церкви за то, что отказалась исповедываться о своих внебрачных связях с носителями революции. «К чему исповедываться, когда все эти связи были опубликованы в исключительных интервью с диссидентами для моего феминистского органа?» пожимала она плечами. А внебрачными эти связи были потому, что она находится со своим бывшим мужем вне брака, а муж находится в психиатрическом асимиуме», поскольку в состоянии брака они вдвоем обьелись кастрюлей наркотика. Мужа увезли в больницу, а Вал решила сама уехать в деревню и пахать землю, как Толстой. Пока она пахала землю, козы поселились в доме, разбив рогами окна, вместо того, чтобы давать молоко, из которого Вал собиралась делать сыр для своего натурального хозяйства. Поскольку в полу не успела прорасти кормовая трава (год был неурожайный), голодные козы, поселившиеся в доме, стали жрать обои. Когда и эта еда кончилась, голодная Вал вернулась в родные пенаты в Конце Света. В доме Вал, как выяснилось, было три этажа, шесть комнат и один переносной камин на керосине. Его переносит из одной комнаты в другую, и вместе с этим камином уходит жизнь, а за ней и

революции. При этом уходящие за жизнью оставляют за собой пепельницы, чайные чашки и штаны. И за ними приходится подыматься, снова спускаться и, вспомнив, что забыл наверху спички, снова подыматься: английский дом состоит, по существу, из лестницы, чтобы человек помнил, что он постоянно что-то забывает. К концу дня Вал настолько устаёт, что ей хочется отравиться газом. Чтобы включить газ, надо всякий раз засунуть монету в щель копилки-счетчика. Как раз к тому моменту, когда она готова отравиться, у нее кончаются монеты. Поэтому она до сих пор жива. Наконец-то Наратор понял гуманную целенаправленность этих копилочек 19 века: предотвратить самоубийство, к которому склонны англичане, спускающиеся и поднимающиеся по лестнице для того, чтобы помнить о грехе забывания пепельниц и пепелищ души на разных этажах дома.

«Вы, надеюсь, пьете без соды с тоником? и безо льда? Я пью безо льда: и так холод собачий». Из-за керосинового камина в доме пахло дачей. Они пили виски на странных огромных подушках в комнате, которую Вал отвела Наратору в качестве «приятного асимиума». Поскольку комната выходит во двор, можно будет ходить по комнате, соблюдая инкогнито.

«Матросский бушлат скоро перебьёт по моде панк», сказала Вал, после длинной паузы поглядывая на Наратора. Но для «презервации инкогнито», сказала она, ей придется вторгнуться в его «приватный мир» и сменить бушлат и матросские штаны на «джинсы и анорак» британского люмпен-пролетариата, оставшиеся после очередного диссидента революционных идей, искавшего «политический асимиум» в ее доме.

«А галстук?», спросил Наратор. «Я без галстука не выйду на публику с газетной страницы».

«С анораком галстук не носят», сказала Вал, стаскивая с него бушлат, а что касается фотографий, то она его уже достаточно наснимала в бушлате. И придвинула свою подушку к Наратору.

«Что такое анорак?» спрашивал Наратор, отодвигаясь от Вал, которая к нему подвигалась, не отвечая на его вопрос. Кунак. Чувяк. Арак. Лапсерпанически переспрашивал Наратор. «От да я да, от да я да? от да я да?» заголосил вдруг с нарастающим повизгиванием голос за окном. Наратор застыл в своей ретировке, пытаясь понять, что означают по-английски эти по-русски звучащие всхлипы. «Мои соседи с пролетарской стороны», с непонятной игривостью поясняла Вал, задергивая шторы. «Сын с матерью-одиночкой. Мама кричит благим матом: что же ты, сыночек, со своей мамой делаешь? Это они дерутся. Они совокупаются. Это все от разобченности, вы понимаете, что инцст — самая доступная форма близости. Я не против инцста, но зачем так кричать? Да еще с таким вульгарным произношением!» и делают при этом вид, что деторождение ничем не отличается от выращивания рододендронов и аспидистр. Ее в детстве мама учила, что англичане размножаются почкованием. На зеленой лужайке. Каждый день, идя в школу, она проходила мимо зеленого поля. По полю бегают соотечественники, все в белом, занимаются странным делом: один побежал, ударил, отошел, побежал, побежал кругами, другой отбил, все куда-то побежали, стоят, потом поменялись местами, подбежал другой, ударил, отбил, опять побежали, местами поменялись, пошли пить чай. А когда возвращаешься из школы, видишь — их стало в два раза больше. Размножаются».

«Это называется крикет», сказал Наратор.

«Это называется демократия: здесь мужчины боятся трогать женщин, поскольку по законам демократии надо беречь прайвиси и не вторгаться в интим. Но если ее, женщины, интима никто касаться не будет, как она может пожелать распрощаться со своим прайвиси?» запутывала Вал англицизмами, загоняя при этом Наратора в вольер из странных огромных подушек на полу. По виду они ничем не отличались от обычных постельных, которые кладут под голову, но только это были не постельные, а

напольные, и таких гигантских размеров, как будто по ночам тут находят «асилиум» революционеры, дефектировавшие с острова циклопов. Наратор же метался среди этих гигантских валунов, как лилипут, пока не споткнулся и попал в ищущие руки Вал. «Если мы так долго будем снимать штаны, мы не успеем к утреннему выпуску моего феминистского органа», сказала она, и, не давая Наратору вывернуться, развязала сзади узел, на котором держались эти брюки из театрального гардероба. Штаны свалились, как убитый командир.

Лишенный бушлата, он стоял в синих советских трусах и майке, и только бескозырка, сбившаяся на макушку, гордо свидетельствовала о революционном прошлом. Обычно человек, сюрпризом лишившийся брюк, с женской беспомощностью скрепящая руки у колен. Наратор же стал странно поворачиваться боком, как будто кокетливо, а на самом деле пытаясь скрыть некую позорную деталь своего тела, точнее, бедра. Там сияла татуировка в виде чайки, летящей над девятым валом, в аккуратном кружочке, как торговый ярлычок. Татуировка была наколота опытной рукой за семь ночей соседом по палате в Суворовском училище. Когда наколка была завершена одним опытным суворовцем, другой опытный суворовец донес об этом завпедчастью. На следующее утро, во время переключки, командир приказал суворовцу, имеющему на теле татуировку, сделать шаг вперед. Когда никто шага вперед не сделал, командир сказал, что на счет раз-два-три подозреваемый суворовец имеет шанс сделать шаг вперед, а если не сделает, он прикажет всему отделению снять штаны и сам узнает позорные отметины. У Наратора, при взгляде на него всех опытных суворовцев, не оставалось выбора. После разрядки командир распустил отделение, но Наратору приказал следовать за ним в кабинет. «Снимай штаны», сказал командир, закрыв дверь, и долго разглядывал наколку. Потом сказал: «И не стыдно? Сын Наратора, друг Доватора, не стыдно? Разве ж это татуировка? Это не татуировка, а наклейка с боржомом! Ты кто, суворовец или бутылка боржомная?» И так был обиден этот вопрос, что всю последующую жизнь Наратор пытался смыть с себя это пятно позора на бедре, перепробовал все — от пемзы до серной кислоты, но чайка все так же неизгладимо парила над девятым валом, неподвластная никакой химической отраве. Он даже на пляж всю жизнь стыдился глядел на щеголявших в шортах пижонов. «Какая большая родинка», охнула Вал, отведя стыдлившую руку Наратора, и вода по татуировке пальцем.

«Говорят, в Лондоне есть такие конторы, где можно ложки посеребрить», сказал Наратор. «Чтобы стальные ложки выглядели как серебряные».

«Ложки? Стальные? Зачем их серебрить? Это мещанство», сказала Вал по-русски, потому что по-английски слова «мещанство» не существует.

«Да я не про ложки», сказал Наратор. «Я от сослуживцев слыхал, что можно в Лондоне ложки посеребрить. И вот я думаю: если ложки можно посеребрить, может, есть и такая контора, где эту татуировку свести могут? Или, на крайний случай, могут раскрасить эту боржомную наклейку по современной моде, чтобы можно было в жаркую погоду на Западе в шортах ходить или ездить в сезон к берегу моря».

Но Вал сказала, что выводить татуировки такое же мещанство, как и серебрить ложки. Ей татуировка Наратора напоминает о волнующей эпохе 60-х, «свингующем Лондоне», когда она общалась не с диссидентами, а с хиппи, они тоже ходили все наколотые. Тогда было весело, и люмпен-пролетариат сидел и не чирикал, хотя все говорили и пели о том, как станет всем, кто был ничем. И курили марихуану, говоря о Марии Ивановне. России. «Эка татуировка, как родинка. Как печать родины. Печать России. Советское, значит, отличное», сказала она и, сняв с головы Наратора бескозырку, взгромоздила ее на свою копну кудряшек. «Ты так похож на русского», сказала Вал.



Иллюстрация ИНГРИДЫ ЗАБЕРЕ

«Я русский», сказал Наратор.

«Родина. Татуировка. Такая большая родинка», говорила Вал, продолжая кружить пальцем по кружочку чайки над девятым валом, как будто правя в открытое море, где волны бушуют у скал. «Я хочу, чтобы ты тоже знал все мои родинки: родимые пятна капитализма. Мы будем делать детант», сказала она и стала раздеваться. Продолжая говорить про Россию и за что она ее любит: может быть, большевики и устроили тюрьму народов, но в результате все друг к другу ходят, навещают друг друга в камере предварительного заключения и едят друг за другом в сылку. Там от жен уходят к подругам, а жены уходят к друзьям, которые ушли в тюрьму. Особенно ее восхищала жизнь и творчество поэтессы Анны Ахматовой: «Писала стихи с утра до вечера, вокруг поклонники, мужа расстреляли — поэму пишет, сын в тюрьме — еще поэма», слово не отделено от дела, как у Льва Толстого, постель от тюрьмы, душа от общества, а здесь 50 лет подряд все промывают косточки некой Вирджинии Вульф, которая бисексуально спала с кем хотела и сошла с ума, а шуму столько, как будто она Джозеф Сталин. На Западе разводятся аспидистру и инцест от разобщенности, а в Москве таких Вирджиний больше, чем английских безработных при правительстве консерваторов, и Солженицын неправ. Только непонятно одно: почему русские мужчины считают, что у женщин только одна дырка? Как только познакомишься с русским, он выпивает водки и сразу валит на кровать, задирает юбку и тут же хочет пролезть в эту дырку между ног. А грудь? А уши? А разные другие места, рот, в конце концов? Вот этого она в русских не понимает. Почему обязательно между ног, когда нос — тоже ничем не хуже? В этом, видно, и дает знать себя однопартийная система и генеральная линия КПСС, и тут она не может не согласиться с диссидентами. И переходя от слов к делу плюрализации, она подступала к Наратору, который пытался выбраться из завала огромных подушек, как будто из объятий еще одной гигантессы. Как первокласснику букварь, Вал старалась продемонстрировать все возможные позиции, с которых открывается путь к демократизации однопартийной системы, и он старательно, как школьник, долгие часы повторял ее указания, отыскивая эти самые «дырки любви», как орфографические ошибки на уроках правописания; пальцы, и губы, и нос, и уши, и глаза его стали напряженными, пристальными, как перед сдачей ответственной правки в министерстве, лицо его заострилось, и спина гудела. Но когда Наратор очнулся на мгновение и встретился с ней взглядом, он увидел раздражение и упрек, как будто он отказывал ей в нечто таком, что мог дать только он, как русский, и именно в этом ей отказывал. «Ты не похож на русского», сказала она. «Я постараюсь», сказал он, но когда приник снова к груди, то понял, что ему не догнать этот частый перестук под соском и не согласовать его с пустым перезвоном своего сердца, который служил эхом, ухом приникая к чужому телу. «Это у тебя пройдет», сказала Вал, криво улыбнувшись.

День за днем он проверял, прошло это или не прошло, прижимаясь ухом к ее телу, чтобы через него услышать эхо собственного сердца и убедиться, что оно безнадежно отстает. Вся жизнь до этого представлялась мутной и неразборчивой, как грязная пена в ванной, а сейчас, из-за поднявшегося водоворота, вдруг выросло пролетарское государство с отравленным зонтиком и метило ему в татуированное клеймо суворовских времен. За сутки до этого он уже, казалось, забыл, откуда родом и кто он, свыкнувшись с холодом и сыростью внутри себя, со всем тем, что делает английскую жизнь такой тянущейся и тоскующей по креслу у камелька, как склоны к этому домашние животные. И вдруг у него за спиной выросла некая Россия, смысла которой он не понимал, но знал, что теперь он за нее в ответе. Он стал сразу и пролетариатом и его авангардом, и компартией и кучкой диссидентов, далеких от народа, и

крестьянством и интеллигенцией, моссветом и комитетом по слежению за выполнением хельсинкских отношений, и славянофилом и жидолюбом, и мелиорацией целинных земель, и справедливым гневом трудящихся, и мясоедовым и грибоедовым, и солью, и потом, и сахаровым, и солженицыным, и женщиной в русских селеньях, и правом евреев на самоотделение, и русификацией восточных республик, всем без исключения из правил; только он не знал, как все это пишется и с какими ударениями произносится, и ему казалось, что если перестук его и ее сердца совпадут на мгновение, то все разъяснится, и он умрет, став, наконец, тем, чего требовала от него Вал. День ото дня она становилась все нетерпеливее, а Наратор все тверже убеждался, что ничего он ей дать не может: она ждала от него мемуаров о тюрьме и суме или еще чего-то третьего про психбольницы, а Наратор в который-раз рассказывал о побеге из пионерского лагеря. Да и рассказа тут никакого, собственно, и не было: как он, от такой же тоски, какая началась позже по зарубежным «голосам», натаскал из лагерной кухни сухарей черного хлеба и ночью выбрался с территории через дыру в заборе, бежал лунной тропой через лес, выбрался на опушку и с нее увидел блестящую во тьме речку и черную деревню на том берегу, и когда оттуда донесся лай собаки, он понял, что бежать ему куда; так же тихонок вернулся он в палату, залез под одеяло и долго плакал. Вал, слушая про эти изломанные жесты на ломаном языке, прижимала его к себе, стараясь выжать из его сердца ту силу, которой ей самой не хватало, и сердце его начинало стучать быстрее, и тело горело, как будто ихлестанное ветками и исцарапанное кустами, и, забываясь, он снова бежал прочь через дыру в заборе к ночной деревне сквозь чащобу. А под утро, под сонными веками, кошмаром мерещились и бились и кричали чайки, штормовое море на пароходе «Витязь», и чайки метались за кормой. Однажды на рассвете он босыми ногами прошлепал к окну, как сомнамбула, отодвинул шторы и над крышами, замоченными туманом, увидел белых птиц с расставленными крыльями, плавающих по небу, как кукурузные хлопья в молоке, которые ела за завтраком Вал. «Откуда мусор?» в полусне пробормотал Наратор, и до него дошло, что он не знает, где очутился. Иногда этот приснившийся крик чаек был настолько невыносим, что он вскакивал и, завернувшись в одеяло, шел в комнату к Вал, тряс ее за плечо. Она просыпалась и зло глядела, как он сидит, скорчившись, на краю постели. «Я хочу забыть, забыть», повторял он, затыкая самому себе уши. «Что забыть?» бормотала она спроне, чиркая зажигалкой. «Не помню», отвечал он и глядел на нее отчаянными глазами. И она поворачивалась на другой бок.

Чем больше она ждала от него роли посланника российской идеи жертвы и мученичества, тем больше он старался завоевать ее расположение доказательствами растущего интереса к его персоне. Хотя феминистский орган, с которым сотрудничала Вал, отказался публиковать ее репортаж об «Орфографе Нараторе в тени отравленного зонтика» (поскольку Наратор — мужчина), ей удалось толкнуть в лондонскую вечерку его фотографию в матросском бушлате за решеткой (городского сквера, а не тюрьмы, но кто тут поймет разницу), и вслед за этим фото на имя Наратора посыпалась почта, по форме и содержанию состоящая исключительно из деклараций, написанных по-русски. Один писал, к примеру, чтобы он, Наратор, «погибая от отравленного двойного жала советского большевизма и западного гнилого рационализма, вспомнил убиенного нашего самодержца Николая и его чад и вознес десницей своей знамя прославленного андреевского флага над волнующейся российской нивой, истоптанной сапогом присосавшихся к нему (телу России) паразитов-чужестранцев». Другой адресат требовал, чтобы Наратор немедленно составил завещание, где, пока не поздно, «дал бы резкую отповедь всем прихлебателям, сующим свое рыло в корыто русской революционно-инакомыслящей мысли, переполненное до

краев кровью жертв защитников прав человека не быть конформистским скотом, в то время как эти свиньи хари кормились у советской кормушки, и, выехав своим сестным местом на козлах отпущения в страны Запада, неизвестно на кого служат, подставляя обратную сторону своей медали членам просоветских группировок, потворствуя детанту». Третий прямо говорил, что «в разгул зоологического жидоморства пора ему, кто, судя по фамилии, пуповиной приторочен к избранному племени, со времен хазар выведшему Россию на столбовую дорогу цивилизации, заявить, не картавя, что не в первый раз варяги из юдофобски настроенной эмигрантщины готовы направить отравленный кончик дырявого зонтика красного патриотизма». Четвертый же звал Наратора, «сына славного красноармейского комбрига, поскорее отречься от фальшивых всхлипов кучки безродных космополитов, раздувающих антисоветскую шумиху, пытаюсь заглушить гром славных дней победы над фашистским захватчиком народа-освободителя Европы, реакционные круги которой порой втыкают жало антисоветской клеветы таким славным сынам своей родины-матери, как вы, товарищ». Зато пятый утверждал, что «правые задирают голову ради торжества фашизма во всем мире и в союзе с ЦРУ готовы погубить невинного жителя эмигранта для фабрикации ложных обвинений против прогрессивного фронта советской власти, давая, тем самым, зеленый свет ястребам из Политбюро». Некоторые из конвертов содержали нечто вроде телеграмм: «Как потенциальной жертве опрессии предлагаю присутствовать на выставке художников-нонконформистов в галерее Пэл-Мэнь. 8.00. Просьба не опаздывать». Было и коллективное послание из редакции эмигрантского вестника: «Заранее скорбим о Вашей предстоящей гибели. Интеллигенция при любых обстоятельствах становится жертвой тоталитаризма разных мастей и разведок».

Эти послания всегда зачитывались Наратором за завтраком, но Вал, завидев снова кириллицу, выхватывала очередную эмигрантскую буллу из его рук и кидала ее в помойное ведро. Это не доказательства растущего общественного интереса к его сенсационной гибели, а эмигрантские склоки, говорила Вал, хрустя корнфлексами с молоком. Ей же нужны трагические факты прошлого и будущего, а фактов Наратор представить не может, поскольку уклоняется от своего долга. Наратор, считая, что она говорит про долг совпадения сердечного стука, старался побыстрее уйти в свою комнату, а когда слышал, что Вал начала бултыхаться в ванной, забегал снова на кухню и выуживал почтовое отправление из помойного ведра. Садился в своей комнате на подушки по-турецки и под вопли с пролетарской стороны «от да я да, от да я да» вчитывался в гордое сочетание родительных с винительными падежей, которые обращались к нему как к жертве «нашего общего дела», то есть дела того, кто в данном эмигрантском отпадении к нему, Наратору, обращался, что было несколько нелогично, чтобы столько человек сразу выступали от имени России: у России имя одно, а у человек этих разные фамилии, и называться одним именем они никак не хотят; если же они, от правители, думали, что Россией много, то как же они могут обращаться к нему, Наратору, если у него никакой другой фамилии нет и он на эти разные России один, так что получается, что у всех Россией одна фамилия Наратор. В результате этих логических секвенций Наратор на призывы «общего дела» никак ответить не мог, а только исправлял орфографические ошибки, придя к выводу, что всем этим отпадителям страшно на свете одиноко, потому что нет у них никаких собеседников, кроме неких врагов ихней страны, да еще Наратора, а какой он собеседник, если вдуматься, что для Наратора было делом непривычным. Он просто в один прекрасный пасмурный день уселся за пишущую машинку, вставил туда сразу двадцать экземпляров папиросной бумаги и напечатал под копирку десятипальцевой системой один и тот же ответ всем и каждому: «Согласно гениальной стратегии вождя сорокамиллионного корейского народа,

на стратегию американского империализма, направленную на разгром малых стран по отдельности, следует ответить отрывом по отдельности повсюду в мире рук и ног у янки-агрессоров, а затем отрезать у них голову. Точно так же нужно поступать и с реакционными кругами России». Потом подумал и приписал: «Бедная она, бедная». Прочел написанное от начала и до конца и медленно разорвал на мелкие кусочки. Больше о стратегии борьбы он не думал. Да ему и перестали напоминать. Давно прекратились таксомоторные выезды с Вал в колониальные рестораны, не давал о себе знать ни Скотланд Ярд, ни начальство Иновещания, и в ожидании новой советской жилплощади Наратор встречался с Вал лишь за завтраком, как постоялец, живущий в долг, с хозяйкой пансиона. По привычке он не выходил из дома, соблюдая инкогнито, в этом якобы убежище, тайнике, асилуме, малине, явочной квартире посреди Лондона, целые дни глядя то в одно окошко на двор, то на улицу в другое окошко. Ему постепенно стало нравиться вылезать по утрам из-под горячего одеяла на очищенный за ночь воздух просторной комнаты, ступать босыми ногами по ковру, чувствуя, что его тело несет тепло в этот остывший за ночь мир; напрягая мускулы в плечах, приоткрывать окно — не раскрывать настежь створки рамы, не тянуться к форточке, а рывком приподымать английскую раму на канатиках и глядеть на просыпающийся переулочек, как с борта парохода, каким и был, собственно, великобританский остров и все дома на нем. Другой мир, для которого тоже не было слов. Предыдущие улицы его жизни тоже были бессловесны, потому что были настолько безлики и депрессивны, что и слов не требовалось. Новый переулочек дразнил память своей привлекательностью, вызывал ревность у тех, стоявших в памяти, подробностей коммуналок над помойками, про которые было известно столько ругательств. А для этой разудалой отточности деталей не было названий: улица воспринималась глазами, как ушами невнимательного человека путаная речь — в одно ухо вошло, в другое вышло. Как запомнить словами этот вернисаж: дом как дом, подъезд как подъезд. Но не тот дом, и не такой подъезд. Как назвать этот граненый выступ больших окон на первых этажах, выступ, похожий на гигантский фонарь или графин с виски, пятнающий тротуар перед окном по вечерам рыжими подсохшими лужицами света? Или эти глазурные двери с медными молотами с мордой льва и почтовыми циклопическими щелями: двери настолько выделялись на фасадах, что похожи были на картины, развешанные по стенам галереи, в которую превращалась улица. Или эти аккуратные квадратики окон, похожие на почтовые марки, наклеенные рукой исправного отправителя. Эти белые колонны, приклеенные к дверным рамам, напоминающие эскиммо, старательно облизанное первоклассницей и подтаивающее по вечерам в оранжевом соке фонарей. Вместе с экзотическими зимними цветами в палисадниках эти дома гляделись как экзотическое кулинарное блюдо в одном из колониальных ресторанов, меню которых Наратор так и не научился разбирать. И чугунные решетки, сливающиеся с черными прутьями веток, переставляли планы так, что непонятно было, где улочный поворот, а где ступени к дому. И красный двухэтажный автобус въезжал в переулочек, как божья коровка, которая вот-вот взлетит на небо и принесет нам хлеба, черного и белого, только не горелого. И кувшинные трубы на крышах, соседствуя одна с другой, как будто указывали на существование еще одной жизни на первом этаже неба. Погода не менялась и оставалась все той же пасмурной дымкой, но уже не гнетущей, а наоборот — гарантирующей отсутствие перемен: как гарантировал то же в одно и то же время подъезжающий молочник и почтальон в черной форменной фуражке с медной бляшкой, с черной сумкой на ремне. Если все это и запоминалось глазом, то как нечто разрозненное, без смысла и общей идеи, как в голове у ребенка, не способного связать размер предмета с расстоянием от глаз, рисующего себя в том же масштабе, что и дом,

где он живет. История тут потеряла перспективу и вместе с ней зловещность перелома от прошлого к будущему: день кормился ото дня, как голубь с ладони, всегда возвращающийся на тот же скверик с деревом посреди. Но в этой островной тишине, не нарушаемой грохочущей поступью истории, отчетливо, хоть и негромко, как писк комара, звенела боевая труба долга — единственное, что было слышно человеку, и больше никому. И если Наратор, как человек нездешний, был глух к этому единственному свидетельству, что история продолжается, ему напоминала об этом Вал. Все чаще между ним и Вал возникал странный разговор человека, уже забывшего русский язык, с человеком, который этот язык так и не доучил:

«Так нет смысла дальше сидеть просто так. Ты стар-туешь забывать свою миссию», начинала разговор Вал.

«А зачем?» удивлялся Наратор. «Мне ведь и так не могло бы быть лучше. Я счастлив и без».

«Но если без, все было бы быть как и было — клерк на Иновещании. Если не хочешь, надо стартовать что-либо кое-как».

«Мало ли что могло было быть», недоумевал Наратор. «Ведь уже стало то, к чему привело то самое, что могло быть. Зачем еще?»

«Но если не будешь жертва, снова будешь будучи быть никем, что затем?» раздражалась Вал.

«Как же я буду никем, если со мной уже случилось то, что без меня никогда не было бы происходящим. И значит уже произошло, и я не буду больше тем никем, кем был. Я уже не то, а то самое, что уже со мной произошло».

«Но другим это широко не знакомо. Другим неизвестно, что стало будучи быть известным только тебе. Они ждут», втолковывала Вал.

«Что ждут? Другие должны думать около самих себя, и тогда мне не нужно будет быть мыслью для других», упорно оправдывался Наратор и уходил обратно в комнату. Вал больше не пускала его к себе отогреться по ночам, и сама больше не приходила к нему, как бывало, чтобы уйти со словами «это пройдет». Все чаще и чаще она приглашала к себе гостей со стороны, а Наратора отправляла в его комнату, чтобы он соблюдал инкогнито в «политическом асилиуме». Что это были за люди, он не знал, может быть, они были тоже будущие жертвы минувших революций, и Наратор занимал их место на полпути к героическому пьедесталу. Вслушиваясь в ворожбу голосов наверху и топот ног под недружелюбную колотьбу грампластинки, которая никак не кончалась, Наратор ложился затем, долго ворочался и снова, как и прежде, никак не мог подобрать одеяло под ноги конвертом, залезал ухом под подушку, как будто пытаясь отгородиться от наступающего в который раз холода и неуют чужого места. Никаких видимых перемен не происходило, никто ему не говорил ни слова, но в который раз как будто сбивались пальцы машинистки его службы, и по все той же десятипальцевой системе на листе бумаги выходила абракадабра. Он уже знал, что и эта версия его пребывания оказалась негодной: надо было вытаскивать испорченный лист из машинки, выбрасывать его в мусорную корзину и вставлять новый.

* * *

Так было и в пионерлагере, так было и в Суворовском училище, так было и в министерстве, и всякий раз, натягивая одеяло, он перебирал рецидивы этой нарастающей тревоги за допущенную непоправимую ошибку, которая вводила в одно короткое слово «уход». Как верно здравый смысл народа звучанье слов переменял: недаром, видно, от ухода он вывел слово «уходил». Он никак не мог припомнить, отчего и чья рука толкала на уход: рука Москвы, судьбы или еще кого? Но сейчас, по крайней мере, он догадался, что для разгадки надо вспомнить, и в одну из подобных ночей, когда наверху ворожба голосов прерывалась визгливым хохотом, он, наконец, припомнил, что вот точно так же лежал в холодной

палате, натянув до подбородка простыню, а вокруг была ржачка и шлепанье босых ног, тогда в лагерь (то ли пионерский, а может, это был летний лагерь суворовцев) привезли новеньких, и не было места, и его переселили из своего отряда в палату к старшим, и как он боялся, что его задразнят, как младшую козьяку. Но старшие на него не обращали никакого внимания, занятые странным занятием: откинув одеяла стянув с себя трусы, разглядывали свои пенисы — совершенно бесполезное, по мнению Наратора, занятие, поскольку этот крантик между ног был нужен только в уборной, но старшие мочиться не собирались. Время от времени один из них орал на всю палату: «Встаю на вахту!», и крантик у его между ног, поднятый непонятной силой, вырастал, выпрямлялся и застывал, гордо покачиваясь в воздухе. С другого конца палаты орал другой: «Смена караула!» и все глядели, как его пенис валится на боковую. Все громко ржали, разглядывая это «вставание на вахту» и «смену караула», и восхищенно тыкали в сторону здорового дылды с бритой под машинку головой переростка, который громче всех рыгал в столовке и дальше всех умел плюнуть: у него «стоял на вахте» бессмертно, не сгибаясь, как почетный караул у Мавзолея. Только Наратор не принимал участия в этом параде и все выше натягивал простыню; когда же ржание стало стихать и всем обрыдло глядеть на бессменный караул у дылды между ног, глаза, насмешливые и наглые на прыщавых лицах, стали блуждать по палате и остановились на Нараторе, уж слишком похож он был со своей простыней на труп, прикрытый саваном. Его глаза и нос пугливо глядели из-под краешка, когда дылда поднялся и направился к нему, с приспущенными трусами и с торчащим над резинкой трусов членом. «Ты чего залупляешься?» процедил дылда и, сорвав простыню, стал стягивать с Наратора трусы. «Не надо», захныкал Наратор, сжав свое худое тельце в калач и прижимая ладошками крантик между ног. «Проверка на боевую готовность», заржал дылда, и уже кто-то заламывал ему руки, другой защемил уши, третий сел на ноги, пока руки дылды, стянув с него трусы, шарили между ног. Руки жали и дергали, и терли его крантик, больно оттягивая его вверх и вниз, пока это место не стало у него гореть, как от ожога, жгучей болью. В коридоре послышались шаги ночного дежурного, и его насильники бросились врассыпную, оставив Наратора плакать от боли и унижения, завернувшись головой в простыню. В ту ночь ему мерещилось, что его крантик между ног еле держится и вот-вот отвалится, и тогда он никогда не сможет ходить в уборную, как все остальные на свете; этот лихорадочный страх сменился, наконец, отупением, и он забился, и во сне ему стало казаться, что живот раздувает, потому что не из чего слить, и вот сейчас лопнет, и вдруг он с облегчением почувствовал, что от напора крантик открылся сам, и он, наконец, облегчился и страшно рад, что у него все с этим делом в порядке. Проснувшись на рассвете, он обнаружил, что описался, обмочился, обоссался, совершил преступление, страшнее которого нет в суворовско-лагерной жизни советских пионеров. Оставшиеся несколько часов до подъема он провел, пытаясь замести следы своего грязного преступления: подворачивал мокрые простыни под себя, высушивал их своим телом и байковым одеялом. Но утром сосед потянул носом и заорал на всю палату: «Саками воняет!», и с тех пор Наратора стали дразнить всю смену не иначе как «Насратор», хотя он всего лишь обмочился, а вовсе не то, как его обзывали, и даже то, что случилось, больше у него не повторялось. Тогда он и задумал бежать из лагеря и стал копить сухари из столовки. Оттого и стал он страшиться годами позже своего учреждения: после того как однажды из кабинета начальника вышел новый секретарь парткома; знакомясь с сотрудниками и пожимая каждому руку, секретарь осклабился, услышав фамилию Наратора; он потрепал Наратора по плечу и нагнулся к его уху: «Ну как, Наратор, драть научился?», и Наратор узнал в этом мордатом хаме дылду из лагеря. Всякий раз, встречая Наратора в коридоре или столовке учре-

дения, дылда хлопал его по плечу: «Ну как, дрочить научился?» и сам же ржал, считая, что Наратору так же весело вспоминать вольные проделки детства. Всякий раз после такого похлопыванья по плечу Наратор возвращался к себе сам не свой и, ворочаясь под одеялом ночью, снова чувствовал унижительную боль и жжение под грубой рукой, пытающейся оторвать у него отросток нормальности между ног, и никак не мог заснуть, боясь обмочиться снова, как в суворовском лагере.

Ворочаясь сейчас под одеялом в своем «политическом асилиуме», он снова вспомнил это унижительное подергивание чужих рук; но от самого этого воспоминания, от этой догадки о схожести прошлого ухода под чужой нахальный окрик с нынешней никчемностью под ворожбу и топот наверху, он вдруг ощутил благодарность: благодарность за разгадку им самим забытого унижения. Благодарность ведь и есть обретенная вновь потеря, возвращенная пропавшая, нечто, без чего трудно было дальше жить, и обретенное вновь благодаря поступку другого; и если поступок уходит в прошлое, то связь между дающим и обретающим все равно остается, потому что связь эта — нечто вспомнившееся про себя самого, а то, что однажды вспомнилось, уже не забывается. И вместе с памятью о той издевательской руке под ржание всей лагерной коды он вспомнил осторожную руку Вал, долгие ночи пытавшуюся загладить жгучую оскорбительную боль, как будто она догадывалась, как его однажды унизили. И вместе с этой догадкой он познал стыд, не трусливое желание спрятаться от унижения, а стыд от тщеславного сознания того, что самая унижительная часть его тела может доставить радость другому, радостный стыд собственника, не способного скрыть гордость от полученного по рождению дара. И вместе с этим стыдом и гордостью стала зреть у него там, внизу, теплота и сила, и, как завороченный, он стал глядеть вдоль своего пупка на выпрямляющийся и утверждающий восклицательный знак собственного окончательного пробуждения. «Встал на вахту», вспомнил Наратор уже безо всякой горечи и презрения к самому себе. Он выбрался из завала подушек, боясь, что произойдет «смена караула» и он не успеет доказать Вал свою готовность к выполнению долга, надеясь, что отныне и навеки веков его сердечный стук уже не будет отставать от своего эха у нее под соском, и этот двойной стук заглушит, наконец, все «голоса», твердящие об уходе, и рука Москвы больше не будет терзать под простыней советских пионеров-суворовцев. «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастья ключи», стал напевать Наратор, «вздыхаю выше, наш крепкий молот, в стальную грудь сильней стучи. Стучи. Стучи». И тут услышал за стеной грохот, как будто переворачивали вверх дном мебель; и Наратор, со здоровым народным смыслом меняя значенье слов, вывел из «стука» слово «настучал» и решил, что на него настучали, его инкогнито раскрыто, за ним пришли. И его спасительница Вал отбивается там, за стеной, от руки Москвы, защищая его, вставшего, наконец, на вахту; за стеной стали нарастать гортанные стоны, и с очередным нарастанием грохота стон взвизывался, как будто голоса о помощи, но одновременно было в этом стоне нечто победное, нечто от крика бунтовщика, гордо реющего над седой равниной моря. Караул устал ждать, и Наратор стал дергать ручку двери; дверь оказалась запертой, защелкнулся, видно, английский замок изнутри, а ключ куда-то запропастился, может, завалился между половицами под продравшимся ковром. Недолго думая, Наратор вылез через окно и стал пробираться к окнам соседней комнаты по темному дворику, как будто густо спрыснутому одеколоном, настоенному на кипарисе и жасмине и другой южной живности этого северного острова. «Уот ду ю ду, вот да я да», кричала тропическим попугаем соседка из дома напротив, занимаясь половым воспитанием своего сына. И не менее тропические звуки издавала Вал, когда Наратор пробрался через кусты и приник к окну соседней комнаты. И тут же отшатнулся: она каталась по полу совершенно голая вкупе с совершенно голым неизвестным мужчиной, и понять можно было, где он, а где она, только тогда, когда сверху возникала не кудрявая

женская копна, а курчавая мужская спина, поскольку каждый пытался оседлать друг друга, в гиканье и хрипе наездника и скаковой лошади, вырвавшейся из-под узды и подминавшей под себя наездника, делибаш уже на пике, а казак без головы, и уже непонятно, кто конь, а кто комбриг и кто вы, хлопцы, будете и кто вас в бой ведет, а кто под красным знаменем раненый идет. Наратор уже готов был выбить стекло локтем, чтобы выступить подкреплением в рукопашной схватке с рукой Москвы за лучший мир, за иную свободу, когда хрип и визг перешли в странное всхлипывание и кентавр распался надвое. «Я спасен», отстранился Наратор, дрожа, от окна, глядя, как устало, но с ленивым спокойствием поднялась на ноги Вал. «Мне надо подмыться», вдруг обратилась она к трупу врага на ковре. «А ты пока достань виски на кухню, в кладовке. И не ошибись дверьми, а то разбудишь моего постояльца. Связалась, идиотка. Кретин и импотент», лениво ругалась она, натягивая трусики. «Целый день торчит в доме. Если бы еще шатался по городу, может быть, его и пырнули бы, наконец, зонтиком, была б сенсация. Не понимаю, с чего это Россия стала такой модной страной? В Белфасте тоже с зонтиком не походишь: могут принять за вооруженного террориста и расстрелять без предупреждения. Россия! Я думала — тюрьма, свобода, равенство и братство, — он — будущая жертва, осточертело, и не знаю, как его выгнать. Как только ему дадут новую квартиру — следа его здесь не будет». Труп на ковре зевнул, она наклонилась и поцеловала его в губы.

Наратор стал осторожно пробираться к своему окну. Отыскав заброшенный в стенной шкаф помятый матросский бушлат и бескозырку, он оделся и тем же путем, через окно, выбрался на улицу. Дело, видно, шло к рассвету. Снова кричали чайки, непонятно откуда взявшиеся среди города, а, может быть, это звучали эхом в голове все те же повизгивания из окна дома, который он оставлял у себя за спиной. Он сворачивал в те улочки, по которым было легче идти, то есть по тем, что шли вниз и откуда тянуло свежестью, и сквозь стволы деревьев подмигивало нечто отблесками праздника или серебряистой рыбьей чешуей. Переулки оборвались разом, и перед ним в ночном сиянии, как в полярную ночь, открылась набережная. Река была настоящая, с каменными берегами, с баркасом у причала, с черными трубами фабрики в отсветах города, с рябью и плеском воды у обросших тиной и нефтью краев; фонари плыли не столько по парапету, сколько по самой реке отраженьем, и от того маслянистая вода светилась сама и освещала все вокруг как будто накопленным за день светом, и как мотыльки над лампой, над этой неоновой трубкой реки носились настоящие чайки. У чаек была крутая и хищная осанка, и садились они на парапет и по краям воды, выискивали несуществующую рыбу, четко, продуманно и бессмысленно. Прохрипела гудком баржа, засвидетельствовав окончательно, что перед ним не музейная диорама, а тяжелая и старая, но все еще живая река, Темза, наверное, как же иначе, если это город Лондон, и глядя на суетливых, беспокойно кружащих, садящихся на воду и снова взлетающих чаек, он убедился, что жил не в лабиринте уходов с собственным кошмаром в центре, а всего лишь на берегу, где идет своя жизнь с людьми, кидающими окурки и плюющими в воду с парапета, жующими бутерброды и отшвыривающими объедки в сточные воды реки, уносящей весь мусор в открытое море под круженьем чаек. И вместе с открытием, что крик чаек — не бред и не предрассветный кошмар, не искаженный человеческий голос за стеной и не «голоса» за железным занавесом, вместе с этим открытием исчез и мифический Лондон-не-город, а некая подмена Москвы в бреде дефектора, примерещившийся кошмар откуда не уезжавшего московского служащего; и вместе с этим отошедшим городом-привидением стали вырисовываться деревья и дома настоящего Лондона, где предстоит еще прожить жизнь, под крики жадных чаек вспоминая то время, когда эти крики казались бредом. Сверху стали падать крупные капли нарастающего дождя, и Наратор свернул под кроны деревьев, начинавших набухать, как будто на глазах рас-

пуская первые листочки. Капли дождя щекотали нос, щеки, шею, и хотя ветви лишь только-только опушились зеленью и не создавали крышу листьев, их, ветвей, было достаточно, чтобы служить прикрытием и защитой от первых порывов дождя. Наратор надвинул на лоб бескозырку, поднял воротник бушлата и припустился, удлинняя шаг с нарастанием ливня, вниз по аллее. И когда уже не спасали ветви, и дождь лился за шиворот, не отличая дерева от человека, и надо было или выбраться из этого коридора стволов или махнуть рукой и стать одним из них, враспи в землю и распускать бессмысленные листочки, его, неотличимого, благодаря дождю, от природы, задело что-то по лицу, как будто летучая мышь крылом. Он остановился и увидел нечто, что действительно оказалось ему гигантской летучей мышью, свисавшей с ветки на вытянутой острой лапе. Преодолевав страх, Наратор обогнул это странное существо, повисшее на ветке, и тут заметил, что оно мертвяком покачивается от ветра; и он тронул лапу пальцем и отдернул руку — уже не от испуга, а от удивления: на ветке висел обыкновенный зонт. Осторожно, как будто боясь, что это все же иллюзия предрассветных потемок, игра света в городе, где предметы отбрасывают тени лишь от фонарей, он потянул ручку-лапу на себя. В руках его был зонт: может быть, на этом участке набережной, где дуют мощные сквозняки Темзы, ветер вырвал зонт из рук прохожего, и этот зонтик, несомый ветром по воздуху, не отличимому от вод земных, выловила рыболовная сеть ветвей. Освобожденный зонтик был изрядно потрепан непогодой: видно, он провисел здесь не одни сутки. Но хотя одна из спиц зонта была сломана и материя в этом месте трепалась огромной дырой, зонт мог бы еще послужить. Зонт еще хранил черты своего хозяина: материя была когда-то розового цвета, зонтик был явно женский. Дождь стал стихать, и Наратор, придвинувшись к ближайшему фонарю, поднес дрожащими руками ручку зонта к свету, но ожидаемых слов «Мне голос был» на источенной непогодой ручке зонта не различил. Может, они там и были когда-то, да вот только стерлись. Наратор стоял, побелевший с головы до ног в свете фонаря. Ливень прекратился, и распустившиеся почки издавали резкий, знакомый запах. Он вспомнил этот запах, он был тот же, что источали намокшие деревья в саду Баумана, когда звукоподражатель исчез с эстрады, опустели лавочки, стихло в ушах хитрое догадливое хихиканье, и пустая раковина эстрады под брызгами дождя стала похожа на отпихнутую ногой гигантскую поганку. А Наратор все стоял тогда с зонтиком перед этой эстрадой, как грибник-неудачник, окруженный строем огромных тополей. Или лип. Ливень рухнул и прошел, как будто ушел в песок, и деревья стояли в испарине, подрагивая, как после душа, роняя капли и источая резкий запах, как размороженное тело после ванны, запах разбухшей коры, почеч, свежей листвы — резкий запах лип. И на мокром песке валялись сбитые ветром сережки. Хотя, если сережки, то деревья должны были быть из породы тополей, а не лип, какая может быть липа, если он точно помнил тополиные багровые сережки, прибитые дождем в песок майскими дождевыми червячками. Или у липы тоже есть сережки? Только не багровые, а зеленые, и когда они срезаются ножницами дождя, ветки источают резкий, странный запах. Тополиный. Или все-таки липовый. И дело вообще было осенью, и сережек быть не могло. А сейчас, возможно, это был запах старого женского зонта, а вовсе не намокших вокруг английских деревьев, названия которых он никогда не знал и никогда, видимо, не узнает. Запах женского зонта, долгие годы впитывавшего духи владелицы? Может быть, это и был запах духов Вал, который он никак не мог угадать по памяти с первого дня их встречи, и, может быть, не деревья и не зонт, а его бушлат пропах ее запахом, или он сам, намокший от дождя, источал запах той нереальной жизни, которую только что оставил, как оставил он эту эстраду со звукоподражателем и запахом тополей. Или все-таки лип? И чем чаще он повторял это слово «липа», тем крепче закреплялись за этим словом кавычки: «липа» все это, а не тополя, даже если это были тополя, и Вал,

и вся жизнь до этого. «Липа», повторил Наратор и, приблизившись к парапету, размахнулся хорошенько и зашвырнул розовый зонтик в Темзу. Зонтик поплыл по воде розовой колбасной шкуркой, и над этим тонушим огрызком закружились крикливые чайки.

«Сори», вдруг услышал у себя над ухом Наратор и тут же почувствовал короткий обжигающий укол в бедро, как раз туда, где скрывалась татуировка суворовских времен в виде чайки над волной. «Не сори», глупо по созвучию перевел английское «извините» Наратор и дернулся, думая, что нарвался на полицейского. Свет одного фонаря метался под ветром, пересекаемый светом другого фонаря, отбрасывающего смутную предрассветную тень от кроны липовых тополей, и вместо полицейского в этом переполохе потемок мелькнул черный котелок то ли доктора, то ли работника министерства, и блеснули черные лакированные ботинки, цокающие прямо по лужам; джентльмен удалялся, помахивая и постукивая по асфальту черным зонтом, сложенным в тросточку.

«Это все, что осталось от изящной скульптуры Давида с пращой, отлитой в бронзе скульптором Давидсоном для городского совета Челси и впоследствии неправомерно разрушенной вандалами», гласила надпись золотыми буквами на пьедестале перед лавочкой, до которой добрался, как будто ужаленный, Наратор. На пьедестале выступали одни бронзовые пятки. Рядом, на точно таком же пьедестале, возвышалась тоненькая скульптура из гипса, и надпись под ней гласила, что это копия того бронзового Давида, отлитого из бронзы Давидсоном, от которого остались после вандалов одни пятки. Но Наратор копии не верил, а все пытался восстановить по бронзовым пяткам исчезнувшего Давида Давидсона, разбитого вандалами, догадываясь, что дважды как ни старайся, жизнь прожить не удастся, а на гипсовую копию он не согласен. И на гипсовый подвиг с гипсовой пращой тоже не согласен. Перед ним маскарадной гирляндой светился мост: замороженным фейерверком уходили от одного опорного столба до другого цепи освещенных арок, приглашая и дразня перешагнуть на ту сторону. Как будто от этой подсветки моста засветлело небо, над всем городом сразу, и над этой стороной реки, где он находился, и над той, куда его приглашал шагнуть мост. И небо это было одним и тем же и на той, и на другой стороне, и он решил не ступать на мост, потому что небо это было везде и так же хорошо видно — как отсюда, так и оттуда. Небо, которого он раньше не видел, как будто жил под крышкой под названием Россия, и эта крышка была у него на мозгах, где бы он ни был и что бы ни делал, как тот сурок, что всегда с тобой, и под этой крышкой, что ни кричи, услышишь только эхо собственного голоса, даже если это голос Иновещания. Или это не крышка, а зонтик, зловещая тень которого ходит за солнцем, за которым ходишь ты. И вот этот зонтик унес, цокая башмаками в темноту, непонятно откуда взявшийся джентльмен, и глазам открылось небо. По краям оно было охвачено багровым отсветом, но этот багрянец не был зловещим: это раздувался жар дня, чтобы согреть остывший за ночь мир. А Наратора лихорадило: в горле запершило, и грудь хрипела, сдавленная бушлатом: он испугался, что простудился от ливня и сквозняков набережной. Рука машинально шарилась в кармане бушлата, пытаясь дотянуться до ужаленного зонтиком бедра, и обнаружила дольку чеснока: того самого, которым снабдила его Цилия Хароновна Бляфер, предохраняться от революционной заразы, когда он отправлялся на десять дней, которые потрясли мир. Он вспомнил тот дом со слониками, где его впервые приняли за того, кем он так и не стал, как бы ни оправдывались произнесенные госпожой Бляфер пророчества про отравленный зонтик. Они не были ложью, они были правдой для ее России, для его прошлого, к которому он уже не имел никакого отношения. Лоб его покрылся испариной, и ему казалось, что от его пылающего тела с каждой минутой теплел воздух вокруг, торопя приход весны. Когда его душа стала отлетать от падающего на английский газон тела, к ней тут же подскочил ангел, а может быть, это был доктор Лидин, протягивая раскрытый зонт: «На том свете

во второй половине дня возможны кратковременные осадки». Душа Наратора направила зонтик, как парус, под вертикальный бриз и устремилась вверх, вслед за душой отца, тоже летящего в рай, в который ни отец, ни сын не верили, но стремились. И вот, казалось бы, уже догоняет душа Наратора отцовскую, то есть взрослеет он и мужает и приближается к тому самому статусу отца, когда тот умер. «Подвиг не совершил, а сравняться хочешь?» говорит отец, не поворачиваясь, и снова опережает, становясь еще авторитетнее и недоступнее пониманию. И когда в третий раз поравнялся Наратор плечами с отцом, тот развернулся, и видит Наратор: вместо отцовского лица — физиономия Джона Рида, вся от злости перекошенная. «Сколько раз повторял: убитых в кадр не брать!» зашипел Джон Рид и ткнул Наратора кончиком зонтика прямо в суворовскую татуировку. «Это опечатка!» закричал Наратор. «Оче-пятка», раздельно повторили его губы, причем «пятка» прозвучала неразборчиво, а «оче» вышли как «Отче», и он понял, что удар в родимое пятно на бедре вовсе не случайная, а грамматически верная точка, поставленная на его жизни.

* * *

Посмертное вскрытие никаких следов насильственной смерти не обнаружило и констатировало летальный исход ввиду сердечной недостаточности. Освободившаяся штатная единица на Иновещании была заполнена неким Копелевичем, недавним дефектором и бывшим звукоподражателем херсонской эстрады.

Лондон, 1981

ЭПИЛОГ

Старинный приятель доктора Лидина (с лицом из сафьяновой кожи, отороченной, как тяжелый книжный переплет, серебром безупречного пробора) сообщил сногшибательную новость о загадочной кончине Наратора не сразу, предваив ее, по-английски, размеренным обменом мнений о погоде. В обшито дубовыми панелями и кожей комфортабельной утробе Рефрен-клуба разговор о погоде был вдвойне формальностью; тут, в надежно изолированном от всего остального мира помещении, царствовал вечный и бесменный сезон старинных английских клубов — микроклимат, обусловленный количеством поленьев в камине и больше ничем, если не считать дополнительного подогрева в виде виски, с содовой или без нее. За виски последовал ранний ленч в пустынной столовой на галерее, где крахмальные, с желтизной пятен, скатерти сливались с кожей старческих рук, обедающих в одиночестве крахмальных воротничков. За исключением, пожалуй, дыни на закуску, меню было ностальгической реминисценцией суровых частных гимназий: томатный суп, камбала под мучным соусом, бисквит с ванильным желе-кастард на десерт — доктору Лидину нравилось элегантно кулинарное убожество этих привилегированных заведений, сочетание изысканности столового убранства и бездарной неприхотливости желудочных утех.

Во всем этом было нечто аристократическое и имперское: добровольное самоограничение, сервированное с демонстративной роскошью: стоицизм в соблюдении обязанностей вассала, верного присяге и долгу, с подразумеваемой со стороны феодала гарантией защиты, опеки, патронажа. В этом — ясная артикулированность общественного договора, когда, еще с феодальных времен, власть подразумевает в первую очередь ответственность за своих подданных. Этого никогда не понять русскому человеку, с его тоталитарной автократией, где надо быть или «хорошим человеком» или сдохнуть в канаве, и где единственная поощряемая форма общественного долга — готовность к самопожертвованию, готовность к закланию самого себя на алтаре идеи или бюрократического молоха. Доктору Лидину импонировало, что

сам-то он прекрасно понимает монархически-феодальный механизм английской парламентской демократии, столь же амбивалентной, что и английская идея комфорта, созданного не ради наслаждения комфортом как таковым, а скорее как постоянное напоминание об отсутствии комфорта в иной ситуации, в иную эпоху, в другой стране. Именно поэтому его и приглашают, в отличие от некоторых, в такие привилегированные места, как Рефрен-клуб. Именно поэтому они такие близкие приятели с этим сафьяном и серебром из Скотланд-Ярда. Обостренное чувство долга и умение ненавязчиво выразить свою признательность за опеку и патронаж, талант в артикулировании своих мыслей, в сочетании с легким эксцентризмом — вот какие качества ценятся на этих островах. И еще та великая ирония, подчеркивающая относительность земного существования, с которой не может смириться тяжеловатый российский ум, пытающийся отыскать всему сущему (сущему? ха!) моральное и историческое оправдание, своего рода генеральную линию партии. Из подобных российских тяжелодумов был явно и этот Наратор. Именно из-за подобных типов у русских за границей такая до униительности анекдотическая репутация тугодумов и придурков.

Доктор Лидин и ветеран Скотланд-Ярда, сдерживаясь друг перед другом в припадках издевательского хихиканья, ловко и с наслаждением подсказывали друг другу забытые или упущенные собеседником подробности этой абсурдной, хотя и печальной, чрезвычайно поучительной, хотя и до коликов смехотворной трагедии очередного, как говорят англичане, «дефектора», — политбеженца из тех, кто бежит, скорее, от самого себя, отождествившись бессознательно с политическим режимом. Подчиств с удовольствием с блюдца мокрую вату малосъедобного, хотя, впрочем, вполне безвредного суфле, доктор Лидин отметил про себя один любопытнейший аспект всей этой истории с незадачливым корректором — претворение, так сказать, желаемого в действительное: все ижицы и яти, словарь ударений и отравлений? эфир, подменный зонтик и рука Москвы и тому подобный эмигрантский бред — все это обернулось, в конечном счете, реальностью именно тогда, когда о Нараторе все и думать забыли. Любопытно. Крайне занимательно. И поучительно. Впрочем, вполне в российском духе, когда слова диктуют поступки. Слова диктуют поступки? Кто что диктует? Проблемы всегда с этой русской грамматикой!

То есть, Наратор, конечно же, скончался не от укула отравленным зонтиком — все это домысел и вымысел, детективная дешевка, в духе маниакальных бзиков Цили с ее идеями конспирации и всемирного заговора. Красноватое пятно рядом с вульгарной татуировкой на бедре могло быть и результатом случайного или пьяного столкновения с чем-то острым, вроде угла письменного стола в учреждении, или жала комара, и — что совершенно не исключено — страстным поцелуем этой левачки-газетчицы с острым язычком (отравленное жало журнализма? Ха!), пытавшейся сделать на нем карьеру политической журналистки. Много было возможностей уколотиться в этой жизни и без всяких отравленных зонтиков — спровоцировать летальную перегрузку сердечной мышцы, и тью-тью. Вообразил, что он — жертва. Это в наше время нетрудно. Доктор Лидин с удовольствием принял обсуждать тему самовнушения индийских факиров и легендарные случаи появления сигмат на теле человека верующего. Он сам, собственно говоря, в детстве был способен напряжением воли вызвать у себя на щеках появление двух красных равнобедренных треугольников. Впрочем, с годами он напрочь разучился краснеть. Он промокнул влажные губы салфеткой.

От клубной клубящейся ароматом сигары доктор Лидин никогда не отказывался, а вот от кофе решил уклониться: следует несколько сдерживать в себе энтузиазм по поводу местной экзотики — иначе любопытные местные обычаи очень быстро утратят прелесть оригинальности. Как не стоит слишком сливаться с местным населением: иначе потеряешь статус иностранца, которому прощаются нару-

шения занудного ритуала, непростительные человеку местному. Патриотизм доктора Лидина в отношении английской кухни кончался на кофе. Кофе доктор предпочитал пить не в английских клубах, где эта бурая жидкость отдавала уникальнейшим привкусом грязной тряпки, а в дешевеньких итальянских забегаловках, разбросанных по всему Лондону. Он бы, впрочем, не отказался от рюмки ликера или арманьяка, но ветеран Скотланд-Ярда не собирался на этот раз расслаживаться. Они расстались на углу Пэл-Мэл и Трафальгарской площади.

Заворачивая под Адмиралтейскую арку к главной аллее парка Сент Джеймс, доктор Лидин в который раз усмехнулся, с грустной иронией припоминая проклятия и чертыхания, с какими Циля обычно сопровождала свои вылазки в незнакомую часть города. Названия и указатели лишь в начале и в конце улицы, тянущейся, порой, километрами; никогда не знаешь, где находишься; дома или вообще без номера безнадежно перепутаны; каждый район — своя деревня, где все устроено так загадочно, что иностранцу и постороннему — смерть: заблудится и пропадет без следа. Ее паранойя в отношении топографического эксцентризма Лондона была бы комична до умиления, если бы не распространялась и на другие аспекты английской жизни — например, язык: ей все время кажется, что над ней подсмеиваются. Не говоря уже о том, что Циля в последнее время стала явно глуховата. Он давно советовал ей купить слуховой аппарат. Она тут же посоветовала ему сменить очки: это был намек на душевную слепоту. Старая чудачка!

Вначале милая чудаковатость, потом депрессивная угрюмость в общении, переходящая в параноидальную подозрительность. Эта глуховатость есть, в действительности, диссимуляция: эмигрант притворяется глухим, чтобы скрыть плохое понимание английского. Поразительно: Циля Бляфер живет в стране больше полувека и до сих пор толком не понимает разговорной речи — что, несомненно, ведет к подозрительности: тебе начинает казаться — или ты сам что-то недопонял, но боишься переспросить, или же тебя откровенно надуют, морочат голову, издеваются над тобой? Если Циля до сих пор не способна правильно выговорить название своей станции метрополитена, чего тут удивляться ее шизофантазмам?

И этот самый Наратор был явно из тех же, два башмака (или все-таки сапога? или же зонтика?) пара. Из тех мрачных апологетов свободы слова, кто потерял эту свободу в буквальном смысле, поскольку не может изложить на здешнем языке свою проникновенную и сверхоригинальную мысль об отсутствии свободы слова у себя на родине. Отсюда и легко предсказуемая метафора: вначале косноязычие, затем замыкание в себе, в конце концов враждебность и подозрительность к окружающим. А главное, оправдывают свое незнание иностранных языков якобы любовью к России и простому русскому народу. Чего они, в таком случае, прутся на Запад? Неужели не ясно, что свое, близкое можно понять лишь через чуждое, не-родное: или, как сказал Ломоносов, поэзия (она же — истина) есть сближение далековатостей. Именно поэтому добрый приятель доктора Лидина по эмигрантскому Парижу, Владимир Владимирович Н-в, открыл в американской нимфетке Лолите всю надрывность своей неспособности понастоящему слиться с Россией. Голая правда ностальгии. *Emigration as a soft pornographu, indeed.* Неплохое название предстоящего юбилейного доклада Лидина в славянском клубе им. Курбского.

Взглянув на красную телефонную будку, Лидин подумал было позвонить Циле: по идее, ей стоило бы сообщить о неожиданной кончине ее протеже. Впрочем, пусть события развиваются сами по себе. Лидин уже достаточно набегался, проявляя себя в этом деле. Для них обоих лучше будет, если Циля узнает о трагическом исходе не от него, а из официальных источников, по сводке новостей Иновещания, скажем, услышь она новость из уст Лидина, она тут же начнет обвинять лично его в гибели этого недоумка. Он представил себе ее сморщенный гневом носик со сползающим пенсне, ее насупленные прокурор-

ской стрелой, не седеющие брови, и как она будет махать крыльями оренбургского платка, терзая его совестливую большую печень. Он предвидел логику обвинений: мол, поднял гвалт по всему Лондону, наплел черт знает чего своим приятелям в Скотланд-Ярде, и в результате всех этих пертурбаций и впрямь навел руку Москвы на Наратора. Но кто, спрашивается, требовал немедленного вмешательства в судьбу этого несчастного? разве не Циля? Лидин лишь быстро и эффективно претворил в жизнь все, что бередило истерзанную душу Циля Хароновны Бляфер. Снял трубку, поговорил с кем надо, и судьба человека была устроена в два счета. То есть, кто бы мог подумать, что ходатайство обернется столь непредсказуемым образом? Впрочем, объяснения и оправдания бесполезны: наш брат, русский эмигрант непременно найдет всему свои маниакально-конспиративные резоны. Не желает он тратить столь чудесный лондонский день на споры с выжившей из ума старухой.

Доктор остановился на мостике, перекинутом через озеро и стал кормить лебедей ломтиками сэндвича, припасенного на случай срочного ленча в клинике. Лебеди плавали в озере королевского парка с показной невозмутимостью белых эмигрантов. Кроме того, — размышлял Лидин, продолжая свой воображаемый спор с Цилей и подобными ей соотечественниками, — кроме того надо уметь относиться к прошлому творчески, видеть его как отражение настоящего (а не наоборот: настоящее как отражение прошлого) — как зеркальную рефлексию наших сегодняшних амбиций, и потому надо переадресовывать эти упущенные шансы из прошлого в планы на будущее. Короче, не стоит прижиматься к прошлому, как в танце к старой любовнице, которая давно променяла тебя на гастролирующего актера. Чтобы освежить в памяти старую любовь, надо отыскать новую. «Губы обновляются поцелуем», гласит восточная поговорка. «Но пока губы обновляются, сердце треплется», заметил в свое время в ответ на эту восточную мудрость добрый приятель Лидина по эмигрантскому Берлину, Виктор Ш-й. С той берлинской поры их пути разошлись: Виктор решил вернуться в Совдепию. Наивный человек. До Лидина успели дойти слухи, что Виктор даже накопал некую книжечку мемуарного характера об эмигрантском Берлине, где даже Лидин упоминается под нелепым в своей вымышленности именем проф. Пятигорского. Об интеллекте автора говорил тот факт, что он сравнил в своей книжке мысль Ленина с острой, как нож, складкой хорошо отутюженных брюк.

Впрочем, его идея сопоставлять несопоставимое не так уж глупа. Как, скажем, воспринять скульптурный ансамбль из мужчины с молотом и женщины с серпом, глядящих на Букингемский дворец? Рука ли это Москвы, с серпом и молотом ломящаяся в чугунные ворота английской короны из викторианского прошлого? Или же эта викторианская мораль с апологетикой труда и коллективизма перекрывается сейчас в свете прожектора стройки коммунизма? Любопытно, кстати, подумать о лицемерии, свойственном этим двум общественным системам. Эмиграция может стать лечущим, в своем роде, средством по избавлению от ощущения тоталитарности советской системы. Эмиграция как медицинский прием. Не говоря уже о фрейдистской точке зрения на Россию как утробу: эмиграция в таком случае есть менструация. Он представил себе реакцию публики в клубе им. Курбского, искаженное от возмущения этим богохульством лицо Циля с расширенными базедовыми глазами. Скандал. Будет скандал. Горячие дебаты. Полезный для психического здоровья обмен оскорбительными репликами. Терапевтический прием. Возбужденный собственными мыслями, Лидин бессознательно прибавил шагу.

В клинику на Харли-стрит возвращаться не имело смысла: до начала вечернего приема оставалось добрых два часа, и доктор Лидин поднялся через парк на весенние лондонские улицы, которые выплеснулись перед ним, как утреннее молоко из бутылок перед дверью, — белозной фасадов, с алой редиской вымытых автобусов и луковой зеленью подстриженных газонов. Все это вместе — мо-

локо, редиска, лук — вдруг напомнили о детских годах в белорусском арендованном поместье деда так же, как Адмиралтейская арка, оставшаяся далеко за спиной, с прилегающей к ней лепными закопченными фронтонами административных зданий, гвардии и конюшен, уводила обратно в Петербург. В этом воскрешении, инкарнации, рессурекции забытого через чужое, сквозь чужое, из чужого Лидин находил не только особую дешевую прелесть и интеллектуальный изыск, но и парадоксальное доказательство гуманности этого мира: не такие уж, значит, мы особенные, не так уж ни на что не похожи наши города, не такие уж, стало быть, мы варвары.

Скажем, Шанхай неизменно напоминал ему Москву. И в Шанхае, и в Париже, и в Лондоне Лидин чувствовал себя как дома. Что такое, в самом деле, дом как не место, где все тебе обо всем напоминает? Для этого «домашнего» умонастроения необходимо, конечно же, неустанно работать: сближать, по Ломоносову, далековатости, — порой, с угрозой ломки не только носа. Это нынешнее поколение эмигрантов, эта, так называемая, третья волна — они считают, что их русский язык, их страдательный залог обязаны знать все на свете. Приезжают в Европу, как будто это им лично выданная собеседованная квартира — и, разочаровавшись в новых жилищных условиях, тут же объявляют прежнюю свою коммуналку утерянным раем земным. Бросить бы их на произвол судьбы в Сиднее — как шанхайских эмигрантов, или же в Маракеше — как православных парижан предыдущего эмигрантского призыва! К китайцам бы их, к арабской шухере!

Как много, в действительности, полезных мыслей возникает вот так вот, случайно, неосознанно и незаметно, можно сказать, на ходу, в такой чудный лондонский весенний день. Именно так — неосознанно и незаметно постороннему глазу — приходит на эти острова весна. Разве русский человек, привыкший узнавать о наступлении весны благодаря сосулке, вдаряющей ему по макушке под грохот ледохода, способен заметить, как неувольимо увеличиваются, вроде детских железок от простуды, почки на деревьях, как меняется серая полосатая тройка зимы на пастельные курортные колера экзотических представителей лондонской флоры. С годами Англия заостряет взгляд, постепенно улавливающий незаметные прежде детали и подробности, заставляющий мыслить переходом от частного к общему, а не наоборот.

Он шел через парк, на содержание которого английский налогоплательщик, с его абсурдистской расчетливостью, тратил чуть ли не больше, чем на оборонный бюджет страны. Но в этой нелогичности всей системы расходов и в полном отсутствии, казалось бы, иерархии величин — прелесть децентрализованного мышления этих островитян, где отношения с Абсолютом, Великой идеей, Богом происходят без всяких посредников, будь то Церковь или Партия, и является делом сугубо личным. Только надо уметь этой децентрализацией пользоваться. Надо, так сказать, всегда знать конкретный адрес. Вот все, скажем, жалуются на безобразный кофе в Англии. Да не пей ты кофе в английских заведениях. А заверни за угол, как доктор Лидин, пройдишь вдоль Пиккадилли, и, супротив Королевской академии художеств, загляни в итальянскую кофейню с парижскими мраморными столиками и гнутыми венскими стульями.

Доктор заказал двойной кофе-эспрессо и с наслаждением обжег губы прикосновением к глянцевиному кофейному зеркальцу в фарфоровой чашке. На мгновение мелькнуло в чашечке отражение его блестящего зрачка и орлиных ноздрей. Кофе не хуже, чем в Париже. Или в Риме. Как, скажем, лондонское солнце: хотя погода тут меняется ежеминутно и безоблачное небо — редкость, по количеству солнечного света — если подсчитать в часах, как валовой продукт за год, — Лондон не уступает Москве. Однако солнце этой статистики напрочь заслоняется мифом о дождливом и туманном Лондоне. Миф сильнее фактов. И миф надо поддерживать. Останься он в Париже, Лидин несомненно открыл бы салон: потому что салон — это форма мышления парижского общества, парижская

мифология — это салонная сплетня. Но в Лондоне он не тоскует по изящной салонной болтовне и светской толкучке. Отличие парижского кафе от лондонского паба в том, что в парижском кафе все сидят лицом к улице, чтобы себя показать и на других посмотреть, в то время, как лондонский паб закрыт от остального мира плотными шторами, и сидят тут друг напротив друга: жизнь тут ориентирована вовнутрь. Здесь надо получать удовольствие от шерри-бренди на лужайке, от ничего не значащего обмена мнениями о погоде за сигарой в кресле и с газетой в клубе: лошадиные скачки, секс, парламентские дебаты о публичной свободе слова и цензурные запреты и табу в личных отношениях, бесконечные забастовки вместо мгновенной кровавой революции — вот прелести жизни на этих островах. Русский человек гибнет в эмиграции в первую очередь оттого, что не утруждает себя самими элементарными знаниями обычаев того народа, среди которого он поселился. И эти люди еще осмеливаются обвинять российских евреев в безразличии к судьбам России! В его бытность в Турции, в Истамбуле (он же — наш Константинополь), сколько ему пришлось насмотреться на случаи дизентерии, с корчами, зачастую смертельными исходами. По той простой причине, что наш брат, русский эмигрант, отказывался упреждать в еду турецкие перцы и специи, закаляющие желудок, выращенный на кислых щах, от заразы, «Эмиграция как кулинарный рецепт». Неплохо. Весьма.

Надо как-нибудь набраться терпения и записать, в конце концов, все мысли, навеянные этими грустными эпизодами эмигрантской хроники. Справочник эмигранта. Впрочем, он по принципиальным соображениям отказывался считать себя эмигрантом. Он не разделял мессианских иллюзий «белой» эмиграции с ее идеями возвращения на родину. Не понимал он и шизофренической раздвоенности беженцев «второй волны», с их зоологическим антисоветизмом и одновременно военно-парадным патриотизмом. Чуждо ему было и чувство вины за участие в большевистских преступлениях, столь свойственное диссидентским активистам «третьей волны», с их обсессивным обессыванием эмигрантских ужасов и ностальгическим распеванием под водку сталинских песен. В конце концов, Россия для него давно превратилась в паспортную границу — с какой стати он будет причислять себя к ее гражданам, а тем более к духовным сыновьям? в конечном счете, твое гражданство — это память о людях и народах, среди которых ты жил, и если эта память не признается Россией, он не нуждается в ее паспорте. У него и без советского паспорта двойное гражданство. Не случайно гражданство, как и совесть, может быть двойным, даже тройным. Его Россия существует исключительно в его памяти и больше нигде, мирно соседствуя с Константинополем и Берлином, Шанхаем и Парижем.

Он замедлил шаг при звуках Интернационала, доносящегося из фойе кинотеатра на развороте Пикали с амуром посреди. Здесьний амур назывался Эросом, и самое удивительное, что в руках у него не было стрелы — точнее, стрела была невидимой, и этой невидимости никто не замечал, все были уверены, что стрела есть: настолько убедительно была отведена назад рука, согнутая в локте. Стрела эта в любом случае пролетела бы мимо героически целеустремленных физиономий революционера и революционерки, глядящих на прохожих с кричаще-вульгарной рекламы кинофильма. Толпа проплывала мимо, совершенно безразличная к высшей справедливости революционной идеи. Впрочем, безразличие к революционным идеям не исключает восхищения энергией, излучаемой участниками революции, а в отсутствии реальных революционеров — актерами на их роль: от окошка кассы на улицу тянулась довольно приличная очередь. Русская революция и вообще Россия нынче в моде. Как в свое время Испания. А потом Куба, Китай. Желательно — что-нибудь поэкзотичнее. И предпочтительно, чтобы политический режим — поприжимистей, посуровой, пототалитарней. Впрочем, иногда приятно причислить себя к русским — исключительно, правда, во время салонной светской болтовни.

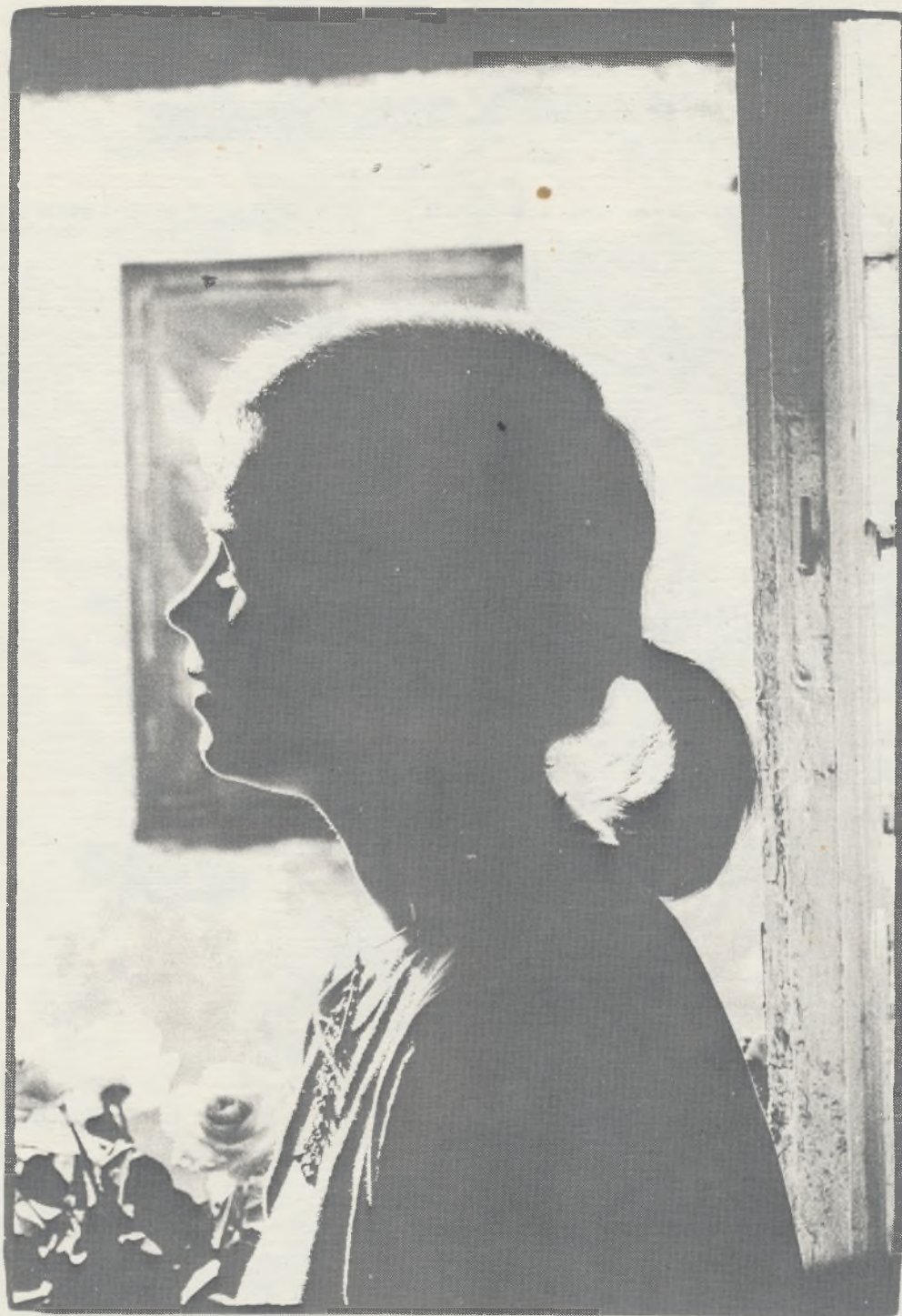
Достав карманные часы, Лидин убедился, что до начала приема в клинике остается добрых два часа, и прошел под арку кинематографа к окошечку кассы. Название фильма звучало лихо, броско, и потому тут же забывалось: что-то про десять красных дней. Сеанс, оказывается, уже начался, и когда, с помощью билетерши с фонариком, он, наконец, комфортабельно устроился в полупустом зале на левой стороне для некурящих, на экране уже куда-то бежал, размахивая красным знаменем, матрос. Революционный матрос, судя по цвету знамени. Бежал, судя по сему, на защиту революционных идеалов. А может быть — от них защищаясь. Может быть, это был контрреволюционный матрос: бежал с красным знаменем, чтобы выкинуть его в канаву. Трудно было судить о его настроениях, потому что лица его не было видно: лишь сутулая спина в бушлате, шокирующая своей жалкостью и убожеством — отнюдь не матросская, далеко не революционная спина. Чисто меди-

цинская, анатомическая память доктора Лидина подсказывала ему, что он уже однажды видел подобную спину. Когда это было: в прошлом, или совсем недавно? а может быть, в далеком прошлом, но переадресованном недавними страхами в будущее? Он подумал было напрямь память, восстановить возможные обстоятельства места и времени — но поленился: день был достаточно напряженный, переизбыток впечатлений, впереди вереница пациентов . . .

Раздался сухой оружейный залп, и матрос на экране упал лицом вперед, в грязный мокрый снег, в слякоть, так и не дав возможности доктору Лидину уловить знакомые черты. Он лишь подумал, что правильно он, в принципе, еще юношей решил мотануть раз и навсегда из этой варварской, претенциозной и безжалостной страны по имени Россия. Он вдруг разнервничался и стал шарить у себя по карманам в поисках сердечных таблеток.



ЖУРНАЛ «РОДНИК» В 1991 ГОДУ:
ИНДЕКС ПРЕЖНИЙ: 77110, СТОИМОСТЬ НОМЕ-
РА — 1 РУБЛЬ; ПОДПИСЧИКИ, КРОМЕ ТОГО,
ОПЛАЧИВАЮТ ДОСТАВКУ ПО ПОЧТОВОМУ ТА-
РИФУ.



9.

ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ . . .»

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

